

ГРАНИ

GRANI

74

1970

Postverlagsort: Frankfurt/Main, Januar 1970

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПОСЕВ“

Александр Солженицын

Собрание сочинений

В ШЕСТИ ТОМАХ

С приложением критических статей о творчестве автора, а также документов по так называемому «делу Солженицына»

Все тексты тщательно проверены с целью максимального устранения разночтений.

Цветная художественная суперобложка, твердый переплет, тисненый золотом, работы художника А. Русака.

Фотография автора и его портрет работы московского художника В. Сидура.

формат книг 13,5 на 20,3 см.

вышел из печати

ТОМ ПЯТЫЙ

ПЬЕСЫ · РАССКАЗЫ · СТАТЬИ

Олень и шалашовка · Свеча на ветру · Правая кисть · Крохотки
· Пасхальный крестный ход · Как читают Ивана Денисовича · Не
обычай детям щи белить, на то сметана · Ответ трем студентам.
300 страниц

Цена в твердом переплете 15. — нем. мар. В США и Канаде 5 ам. дол.

Цена в мягком переплете 12. — нем. мар. В США и Канаде 4 ам. дол.

выходит из печати

ТОМ ВТОРОЙ

РАКОВЫЙ КОРПУС

600 страниц

Цена в твердом переплете 24. — нем. мар. В США и Канаде 8 ам. дол.

Цена в мягком переплете 12. — нем. мар. В США и Канаде 7 ам. дол.

Заказы шлите по адресу:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M. 80, Flurscheideweg 15
Germany

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XXV

№ 74

1970 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА — Осень. Биографическая справка. Снегопад.	
Стихи	3
ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН — Старушки. Рассказ	7
ВИКТОР НЕКРАСОВ — О вулканах, отшельниках и прочем	25

ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

ОЛЕГ СОХАНЕВИЧ — Только невозможное	87
ВЛАДИМИР САМАРИН — Памяти выдающегося человека.	
Памяти Сергея Максимова	157

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ИВАНОВА — Мир Геннадия Айги — тишина	165
ГЕННАДИЙ АЙГИ — Без названия. Любимое в августе. К утру в детстве.	
Второй мадригал. Распределение сада. К распределению сада.	
Стихи	171

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. А. ЛАГОРИО — Была ли революция неизбежной?	175
---	-----

О ЗАПАДНОЙ КУЛЬТУРЕ

Д. ОРЛЕНИН — Маршалл Мак-Луан — исследователь электронной среды	190
---	-----

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Неймирок. — Знаменосец новизны. А. Больто. Мысли на воле. —	
О. Можайская. Озноб. — М. Балмашев. Письма в Голливуд	203
Список книг, поступивших в редакцию	218
Содержание номеров 52-74 журнала «Г р а н и»	220

© 1970 Copyright by Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt am Main

ОСЕНЬ

Не действуя и не дыша,
все слаще обмирает улей.
Всё глубже осень, и душа
все опытнее и округлей.

Она вовлечена в отлив
плода, из пустяка пустого
отлитого. Как кропотлив
труд осенью, как тяжело слово.

Значительнее, что ни день,
природа ум обременяет.
Похожая на мудрость лень
уста молчаньем осеняет.

Даже дитя, велосипед
влекущее,
вертя педалью,
вдруг поглядит на белый свет
с какой-то ясною печалью.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Всё началось далекою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха — непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире нелюбимо.

Да и за что любить ее, кому?
Полюбит ли мышинный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочет искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока еще ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее — меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты знал ее как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но всё же был лишь захолустьем крыш,
провинцией ее державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойденным бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,
тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточьи мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге пред прочею землею.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлею.

Всего-то было — горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час — не больше, чем строка,
все тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Огибая прядь,
поглядывать зрачком — красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты — сильное чудовище, Марина.

СНЕГОПАД

Снегопад свое действие начал
и еще до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул, и вытер с доски,
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма дерев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пенья возник,
и уже не селá, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,
пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но пока в снегопаданьи строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опрометчиво медлит душа.

СТАРУШКИ

Рассказ

Ощипанная курица лежала на липкой газете, и старушка в прозрачном хлорвиниловом дождевике, надетом поверх халата, пыталась вскрыть эту курицу ножом.

— Мама, — сердито позвала старушка, — Господи, я же просила поддержать...

На кухню вошла другая старушка, ниже и суше, в белом длинном платье и вязаных тапочках.

— Зачем ты надела белое платье, — крикнула старушка-дочь, — специально, чтобы меня позлить, да?

Старушка-мать молча улыбнулась, подошла к кухонному столу и положила ладони на курицу.

— Не здесь, — крикнула старушка-дочь, — видишь, ведь с горла капает кровь... Ты вся вымазана. Господи, шея, руки, лицо... Как ребенок...

Она вздохнула, положила нож, подошла к крану и долго мыла руки. Старушка-мать стала у раскрытого окна, глядя на шелестящее под окном дерево и на раскалённую булыжную мостовую.

Мать и дочь были до того похожи на первый взгляд, что, лишь приглядевшись, можно было обнаружить: глаза у них разные — у матери бледно-голубые, у дочери — темно-коричневые.

Фридрих Горенштейн — молодой талантливый писатель. По профессии горный инженер. После аварии на шахте вынужден был переквалифицироваться. В настоящее время заканчивает сценический факультет в Москве. Впервые обратил на себя внимание своим рассказом «Дом с башенкой», опубликованном в «Юности» № 6 за 1964 год.

Пишет рассказы и сценарии, которые размножаются в Самиздате, но не могут пробиться на страницы официальных журналов. — Р е д.

Под глазами у дочери кожа набрякла, повисала мешочками. Кожа у матери, наоборот, выглядела чище, более тугой, может, потому, что, в отличие от дочери, была совсем лишена жира, и от этого лицо ее казалось даже моложе.

Старушка-дочь взяла синюю губку, подставила под кран, подождала, пока губка напитается водой, и провела ею по намыленным щекам матери. Матери, видно, было щекотно, она хмыкнула и попробовала оттолкнуть губку, но дочь еще ниже пригнула мать над раковиной. Кончив умывать, она насухо вытерла мать ворсистым полотенцем, усадила ее на табуретку у подоконника, поставила на подоконник блюдечко, высыпала туда из кулька сливы, вновь натянула облепленный перьями дождевик и принялась кромсать кухонным ножом курицу. Ей удалось сделать надрез, она всунула в надрез руку, и в этот момент трижды постучали в дверь, затем, наверно, разглядели звонок и позвонили, тоже трижды. Старушка-дочь пожалала плечами, крикнула матери:

— Только не глотай сливы с косточками, — и пошла отпирать. Она приоткрыла дверь на цепочку и увидала в просвете какого-то молодого человека.

— Вам чего? — спросила она, — если вы из коммунхоза, готовьтесь к скандалу.

— Здравствуйте, — сказал молодой человек. — Я не из коммунхоза. Мне нужна, — он расстегнул молнию на кожаной папке, вынул оттуда бумажку, — мне нужна Конькова Клавдия Петровна.

— Это моя мать, — растерянно сказала старушка-дочь, — странно... А кто вы?

Молодой человек вынул из бокового кармана удостоверение и показал.

— Странно, — повторяла все время старушка-дочь, — здесь какая-то ошибка... Мама, — позвала она, — к тебе из органов.

— Вы не волнуйтесь, — сказал молодой человек, — это по поводу заявления вашего внука... Вернее, внука гражданки Коньковой... В связи с реабилитацией сына гражданки Коньковой.

— Ах, да, да, — обрадованно засуетилась старушка-дочь, — Болодя писал... Господи, да что же я двери не отпираю... Мама, к тебе по поводу Васи... Вы проходите, извините... — она захлопнула дверь, откинула цепочку и снова открыла дверь. — Сюда, сюда, — сказала она, — в комнату... У нас не убрано... Мама...

Молодой человек был рыжеват, щеки, лоб, руки, даже уши

в веснушках. Он вошел слегка сутулясь, на нем был белый костюм из шелкового полотна, импортные босоножки, несмотря на жару, рубашка под галстуком. В комнате стояли две кровати, одна у открытых балконных дверей, двуспальная, никелированная, вторая у противоположной стенки, железная, узенькая. Между кроватями стол, какой обычно устанавливают в гостиной, овальный, на гнутых фигурных ножках. Полировка с него полностью слезла, остались лишь кое-где островки. Стол был близко придвинут к стене, а у стены стояло некое подобие скамьи-дивана, тоже очень старое, со спинкой из плетеной грязной соломы. Стояло также два стула с круглыми спинками, какие теперь не изготавливают, причем оба в беспорядке, один посреди комнаты, а второй у зеркального шкафа. Шкаф был сравнительно новым, поблескивал. Посреди стола помещалось пластмассовое коричневое блюдо, очень пыльное, и в нем лежали, громко тикая, карманные кировские часы в стальном корпусе и несколько монет. Рядом с блюдцем в тарелке лежал искромсанный, облепленный мухами арбуз. Мухи ползали также в лужицах вокруг тарелки.

— Полно мух, — сказала старушка-дочь, — тут рядом бойня.

Она прогнала мух, взяла арбуз левой рукой, понесла его к полубуфету, но правая рука была липкая, и она остановилась в нерешительности, видно, боялась испачкать дверцы.

Молодой человек положил папку на край стола, подальше от луж, подошел и открыл дверцы. Несмотря на жару, изнутри полубуфета пахло сыростью, гнилым погребом. На полках вплотную стояли банки засахаренного варенья, мешочки, один был весь в мучной пыли, возле второго, видно, высыпавшись из дырки, лежала куча риса. Старушка-дочь взгромодила арбуз на верхнюю полку, рядом с кусками хозяйственного мыла, прикрыла дверцы, придвинула стул, стоящий посреди комнаты, к столу, сказала:

— Садитесь, пожалуйста, — и ушла на кухню.

Молодой человек опасливо посмотрел на стул, уселся, поерзал, взял со стола папку и упер ее ребром в колени. Вошла старушка в белом платье с блюдечком слив.

— Вы гражданка Конькова, Клавдия Петровна? — спросил молодой человек, расстегнув молнию на папке и начал выкладывать на край стола бумаги. Сверху он положил несколько исписанных листков, а под низ целую пачку чистой бумаги.

— Присаживайтесь, — сказал молодой человек. — Я хотел задать вам ряд вопросов.

— Ешь сливы, — сказала старушка и поставила перед ним блюдечко.

Молодой человек вдруг страшно покраснел, засмутился, несколько секунд он сидел, как бы соображая, а потом осторожно взял крайнюю сливу, самую маленькую и даже на вид гнилую, съел ее, а косточку выплюнул в кулак.

— Спасибо, — сказал он.

Вошла старушка-дочь, уже без дождевика и с вымытыми руками, вытерла тряпкой лужу на столе, положила тряпку на балкон сохнуть и уселась напротив.

— Ваше как имя-отчество? — спросил молодой человек.

— Мария Даниловна, — сказала старушка-дочь.

— Значит, вы сестра Василия Даниловича Конькова?

— Да, сестра.

— Правильно, — сказал молодой человек, заглядывая в бумаги, — о вас тоже упоминается, — он откашлялся.

— Значит, так... Согласно постановлению Совета Министров, имущество реабилитированных, незаконно конфискованное в период культа личности, подлежит возврату, либо, в случае ненахождения его, — денежной компенсации.

Видно, ему было жарко в тугом галстуке, на висках и переносице дрожали капельки пота. Он вынул платок, вытер пот, потом в угол платка завернул сливовую косточку и спрятал в карман.

Старушки молча сидели перед ним: Марья Даниловна с вниманием на лице, а Клавдия Петровна с улыбкой.

— Поскольку реестр конфискованного у полковника Конькова имущества не сохранился, сын его, который был тогда несовершеннолетним и, естественно, не мог ничего помнить, указал вас в числе свидетелей... Возможно, удастся восстановить кое-что по памяти... Это поможет розыскам... Либо денежной компенсации...

— Конечно, — сказала Марья Даниловна, — я помню всю их мебель, они жили в трех комнатах. В первой комнате был кабинет Васи... Там стоял письменный стол, диван, кресло кожаное и несколько книжных шкафов... Кажется, три.

— Не торопитесь, — сказал молодой человек и начал что-то быстро писать.

— Ты о чем, Маша? — спросила Клавдия Петровна.

— Товарищ интересуется мебелью Васи... Вообще его вещами.

— Васи? — она наморщила лоб, — да, да... Вдруг он дает те-

леграмму — встречай. Я всю ночь глаз не закрыла. Жена у него артистка. А у нас клопы.

— Мама, — сердито сказала Марья Даниловна, — не рассказывай товарищу глупости.

Клавдия Петровна улыбнулась.

— Потом вы все приехали... Мужиков двадцать... В орденах... Я вам всем на полу постелила... Ничего... По-солдатски, — она засмеялась.

— Мама, — сказала Марья Даниловна, — товарищ не мог приехать тогда с Васей. Ты нарочно путаешь, чтоб меня позлить... У нее склероз, не обращайтесь внимания, — обернулась она к молодому человеку.

— Значит, шкафов книжных три, — тихо переспросил молодой человек, низко склонившись над бумагами.

— Три, — повторила Марья Даниловна.

— Телефон, — сказала вдруг Клавдия Петровна отчетливо и ясно.

Молодой человек быстро поднял голову. Клавдия Петровна серьезно и спокойно смотрела на него.

— В передней лежала шкура медведя, — добавила она.

— Верно, — удивленно подтвердила Марья Даниловна. — У них был телефон... И шкура медведя... Действительно, и я припоминаю.

— Все будет компенсировано, — сказал молодой человек. — Вы можете тоже требовать компенсации... Как мать...

— Мы в деньгах не нуждаемся, — сказала Марья Даниловна. — Володя, другое дело, он молодой.

— Володичка прислал карточку, — улыбаясь, сказала Клавдия Петровна, — жена у него артистка... Ребенок есть...

Марья Даниловна махнула рукой, подошла к полубуфету, наложила в блюдечко варенье — вишня была матовая, засахаренная. Она поставила это блюдечко перед матерью. Та улыбнулась, взяла сливу, выдавила из нее косточку, обмакнула мякоть в варенье и проглотила.

— Извините, — сказала Марья Даниловна молодому человеку. — Пойдемте дальше. В спальне у них висел ковер. Точно я не помню размер.

— Ничего, — сказал молодой человек. — Это пока предварительно. Вы вспомните, и мы еще с вами встретимся.

— А имущество жены тоже вспоминать? — спросила Марья Даниловна.

— Всё вспоминайте, — сказал молодой человек, — всё вам вернут.

Клавдия Петровна наклонила блюдечко, и варенье закапало, потекло на стол.

— Господи, — крикнула Марья Даниловна, — неужели ты без глаз! Господи, Господи... Извините, — снова сказала она молодому человеку, встала и пошла на кухню.

— Это я нарочно, — шепотом сказала Клавдия Петровна, — чтоб она вышла... Вытащи мне коробку за твоей спиной... Под кроватью.

Молодой человек опять густо покраснел, оглянулся на дверь, опустил на колени и начал шарить под кроватью. Старушка подошла и, кряхтя, хихикая, уселась рядом на стул. Молодой человек долго шарил, натываясь то на угол чемодана, то на какую-то обувь, потом пальцы его ударили по тазу, раздался звон.

— Тише, — шепотом сказала Клавдия Петровна, — Машка услышит... Она сейчас ищет тряпку на кухне, а сама недавно положила эту тряпку на балкон сушиться, — старушка хихикнула. — Ты дальше руку суй, не бойся, не укусит никто.

Наконец, молодой человек нащупал картонную коробку и вытащил ее. Коробка была довольно большая, из плотного двойного картона. Очевидно, в нее что-то упаковывали раньше, сохранились даже наклейки, впрочем, совершенно неясные, вылинявшие.

— Спасибо тебе, — сказала старушка и ласково провела пальцами по крышке, пять тонких ломаных бороздок осталось на густом слое пыли, — я уж ее месяцев пять не видала, — говорила старушка, нежно поглаживая коробку, прикасаясь к углам, подергивая крышку, — прошу Машку, она не вытаскивает... Машка у меня всегда была упрямая... Вася — тот добрый... И Павлик... А эта упрямая.

Старушка осторожно открыла коробку, верх растворялся в обе стороны, как створки, заглянула внутрь и улыбнулась. Коробка была туго набита какими-то вещами, вперемешку. Здесь были куски материи, растрепанные книжки, ежик для чистки стекла керосиновой лампы, новый, не бывший в употреблении, бусы, несколько разных ожерелий. Старушка сунула пальцы в угол коробки и вытащила кошелек, кожаный, засаленный. Она щелкнула замком. Кошелек был плотно набит красными тридцатками, упраздненными еще в реформу сорок седьмого года. Старушка закрыла кошелек, заткнула его назад в угол, сунула пальцы в

другой конец коробки, вытащила коробочку из-под мармелада.

— Внучек, — спросила она, — хочешь мармеладу?

— Нет, — сказал молодой человек, — спасибо.

Старушка открыла коробочку.

— Выкинула Машка мармелад, — сказала она грустно. — Года три назад... А может, и раньше... Теперь я припоминаю. Ничего, смотри, что здесь.

На дне коробочки лежал какой-то завернутый в слюду предмет.

— Смотри, — сказала старушка и развернула слюду.

Это была пожелтевшая, наклеенная на картон фотография девушки в длинном платье и перчатках по локоть. Девушка была очень тоненькая, нежная, с удивленным, даже немного испуганным лицом.

— Кто это? — спросил молодой человек.

Старушка хитро подмигнула, взяла бусы, сначала крупные кирпично-красные, потом мелкие бисерные и, наконец, остановилась на белых матовых, надела их себе на шею. Затем все так же хитро улыбаясь, подмигивая, она достала из коробки синюю атласную ленту, вытащила заколки из завязанного на затылке узелка и повязала седые волосы этой атласной лентой.

Молодой человек осторожно уселся на стул, отряхнул пыль с колен. Старушка подошла и посмотрела на себя в зеркало.

— Я помереть боюсь, — сказала она вдруг. — Маша все время болтает, что хочет помереть, а я боюсь... Он когда помирал, я помню... Три раза вздохнул — два раза громко, тяжело, а третий спокойно, чуть слышно. Это уже из себя.

Молодой человек не знал, о ком говорит старушка, но не стал уточнять. Старушка крутилась перед зеркалом, поправила ленту, прикоснулась к кораллам. Потом вошла Марья Даниловна и сразу начала кричать.

— Ты меня в гроб вгонишь! — кричала Марья Даниловна.

— Маша, — спокойно спросила Клавдия Петровна, — куда ты дела Васин мармелад?.. Внучек хочет мармелад...

Лицо Марьи Даниловны покрылось красными пятнами.

— Ты! — крикнула она, задохнулась, перевела дыхание, — ты знаешь, что это не твой внук... Ты притворяешься... Ты нарочно, ты нарочно... Ты здоровее меня... Признайся, знаешь, что не внук?..

— Знаю, — тихо сказала Клавдия Петровна, — а ты зачем кричишь на мать?.. Как не стыдно... Я тебя запру дома без сапог...

Марья Даниловна провела ладонью по лицу, тряхнула головой и сказала молодому человеку:

— Вы извините, иногда срываешься... Знаете, мне с ней приходится хуже, чем с ребенком... Я вас задержала?

— Ничего, — сказал молодой человек. — Я еще раз зайду... Вы вот что... Я вам оставлю телефон. Если вам понадобится, — мы поможем... Я имею в виду в бытовом смысле.

— Нет, — сказала Марья Даниловна, — мы ни в чем не нуждаемся.

Молодой человек встал, сложил бумаги в папку, застегнул молнию.

— Я хочу гулять, — сказала вдруг Клавдия Петровна.

— Новая песенка, — сердито откликнулась Марья Даниловна. — Накинь платок и выйди, посиди на балконе.

— Я хочу гулять, — упрямо повторила Клавдия Петровна. — Я в поле хочу... Или на реку.

— Глупая, — сказала Марья Даниловна. — Ну куда ты пойдешь, ты еле по комнате ходишь.

— Меня внучек проводит, — сказала Клавдия Петровна, — мне, главное, с лестницы.

— Товарищ не станет с тобой возиться, — сердито сказала Марья Даниловна, — товарищ на ответственной работе, работник органов... Он пришел по поводу Васи.

— Ничего, — неожиданно сказал молодой человек. — Я возьму такси. Мне все равно по делу надо. Я бы мог подвезти.

— Вот видишь, — обрадованно подхватила Клавдия Петровна.

Марья Даниловна посмотрела на молодого человека, на мать.

— Ладно, — вздохнула она. — Раз уж так — ладно. Только оденься потеплее... Накинь платок. Я сейчас тоже оденусь, вы посидите...

Марья Даниловна открыла шкаф, порылась там, взяла какие-то вещи, вышла на кухню. Потом вернулась, вытатила из-под двуспальной кровати туфли с перепонками, на лосевой подошве, и черные лакированные босоножки на венском каблуке, усадила мать, сняла с нее вязаные тапочки. Ступни у Клавдии Петровны были маленькие, аккуратные и, как ни странно — розовые, по-детски свежие. Когда Марья Даниловна прикоснулась к ним, Клавдия Петровна хихикнула, дернула ногами.

— Ты чего? — сердито спросила Марья Даниловна.

— Щекотно, — сказала Клавдия Петровна.

Марья Даниловна принялась застегивать перепонку, но Клавдия Петровна все дергала ногами и мешала попасть пуговицами в петлю.

— Ты чего? — снова крикнула Марья Даниловна, — мне ведь трудно стоять согнувшись, бессовестная.

Она выпрямилась, сжала руками свою поясницу. Рот ее был полуоткрыт, а цветные мешки под глазами приобрели какой-то черноватый оттенок.

— Извини меня, Маша, — сказала тихо Клавдия Петровна.

Марья Даниловна застегнула перепонку и, захватив босоножки, вышла. Клавдия Петровна сидела притихшая, лицо ее поблекло, выглядело усталым, как у дочери, хоть она абсолютно не двигалась.

— Я опять боюсь, — сказала она, — я месяца три назад ночью помирала... Машка не знает... Никто не знает... Ты не говори никому. Давай пока пойдем... Пока Машка одевается. Она догонит, она быстро ходит...

Клавдия Петровна поднялась со стула неожиданно легко и подала молодому человеку руку. Ладонь у нее была легкая и холодная. Они вышли в переднюю.

— Марья Даниловна, мы пока потихоньку с лестницы! — крикнул молодой человек, щелкнул замком и вывел Клавдию Петровну на лестничную площадку. Здесь было полутемно, солнце едва проникало сквозь пыльные окна.

— Отжила жизнь, — сказала Клавдия Петровна.

Молодой человек взял ее осторожно за локти и поставил на нижнюю ступеньку. Так постепенно они добрались до промежуточной лестничной площадки.

— Я здесь была, — сказала Клавдия Петровна, — в апреле меня сюда Маня выводила.

— Ты все-таки с лентами своими, — появляясь на верхней площадке, крикнула Марья Даниловна. На ней было черное суконное платье, застегнутое до горла, а на голове белая панамка.

— Я не пойду с твоими лентами, с твоими бусами... И платок не накинула... Господи, ты ведь все отлично понимаешь.

— Молчи, — неожиданно разозлившись, крикнула Клавдия Петровна. — Тебя не спрашивают... Ты мне никто... Ты мне не дочь.

Внизу и сверху открылись двери, выглянули любопытные. Клавдия Петровна ухватилась за перила, шагнула сама и едва не упала — молодой человек с трудом ее подхватил. Марья Данилов-

на торопливо спустилась, взяла мать под другую руку. Клавдия Петровна бормотала что-то сердито, дергала головой, но едва они вышли на солнечную улицу, остановились среди шелестящих в палисаднике деревьев, как лицо Клавдии Петровны моментально прояснилось, она запрокинула голову и счастливо рассмеялась.

— Я сейчас, — сказал молодой человек и пошел к перекрестку, к стоянке такси.

Клавдия Петровна некоторое время оглядывалась, затем увидела газетный щит, подошла, уперла палец в газету и, двигая им вдоль газетных строчек, зашевелила губами. Солнце било прямо в щит, и палец старушки отражался в газетной бумаге, правда, едва заметно, как в матовом металле. Подъехало такси. Клавдию Петровну усадили на заднее сиденье, она прижалась к окну и затихла.

— Вы извините, — сказала Марья Даниловна, — хлопоты с нами...

— Ничего, — сказал молодой человек. — Мне все равно по делу... Вам куда?

— К реке, — сказала Клавдия Петровна.

— Только подальше от центрального пляжа, — сказала Марья Даниловна.

Вначале Клавдия Петровна смотрела в окно, но потом отвернулась.

— Скучно мне, — сказала она.

— Сейчас, — словно обрадовавшись, подхватила Марья Даниловна, — сейчас я вызову оркестр.

Шофер беспрерывно оглядывался и хмыкал. Наконец, они остановились у какого-то крашеного в зеленый цвет павильона. За павильоном был кустарник, песчаные холмики и виднелся в промежутке между холмиками двуслойный плоский кусок: желтоватый и чуть дальше, вплотную серебристо-чешуйчатый.

— Ну, до свидания, — сказал молодой человек. — Так вы запишите все... Имущество, мебель. Вот телефон, — он протянул бумажку.

— Спасибо, — сказала Марья Даниловна.

В павильоне-кондитерской Марья Даниловна усадила мать за столик, купила ей размякшее от жары пирожное на картонной тарелке и сказала:

— Ты сиди. Я за лодкой пойду. Смотри, все на тебя оглядываются. С твоими лентами надо заплывать подальше от людей.

В павильоне пировала какая-то перепачканная краской бри-

гада маляров. Они громко хохотали, и кто-то беспрерывно повторял:

— Колбасу режь покрупней, Коля у нас зубастый.

Все они сидели босые, и Клавдия Петровна смотрела на их громадные ступни, глубоко погруженные в песок, вместо пола в павильоне был прибрежный желтый песок. Клавдии Петровне вдруг страшно захотелось тоже посидеть босой, и она начала искать, кого бы попросить расстегнуть ей перепонку на туфлях. Неподалеку возилась в песке девочка лет пяти в полосатом сарафанчике. Клавдия Петровна позвала:

— Детка, подойди ко мне.

Девочка подошла и, запрокинув голову, начала смотреть на Клавдию Петровну. У девочки были очень большие синие глаза, а губы перепачканы шоколадом.

— Детка, — сказала Клавдия Петровна, — расстегни мне пуговички на туфлях... Присядь, только аккуратненько, не помни сарафанчик.

Девочка присела, прикоснулась к пуговицам, но петли были очень тугие.

— Один пальчик подсунь под ремешок, а вторым нажимай на край пуговички, — говорила Клавдия Петровна.

Девочка пыхтела, наконец, ей удалось повернуть пуговицу и воткнуть ее в петлю, пуговица теперь торчала вдоль петли. Клавдия Петровна нажала носком другого туфля на задник, и пуговица отлетела.

— Молодец, — сказала Клавдия Петровна, — умница... Теперь этот... Ты, как Гришенька, хорошая... Возле меня живет мальчик Гришенька, он мне зимой снег в ведерке приносил...

С другим туфлем расправились уже быстрее. Клавдия Петровна сбросила туфли и погрузила ступни в горячий песок. От удовольствия лицо ее исказилось, рот приоткрылся, кожа на щеках натянулась, а на переносице сморщилась.

— Тебе ножки болят? — спросила девочка.

— Да, детка, — сказала Клавдия Петровна, — ох, какая ты умница... Кушай пирожное, — и дала ей липкое, растекающееся на картонной тарелке пирожное.

В это время появилась женщина в таком же, как у девочки, полосатом сарафане и с такими же голубыми глазами.

— Где ты взяла эту пакость? — крикнула она, вырвала у девочки пирожное и кинула его в песок. На песке пирожное имело действительно отвратительный вид, оно сразу покрылось пес-

чинками, точно сыпью, из лопнувшего теста вывалился белый крем, и по нему зашныряли муравьи.

Девочка заплакала, а женщина приподняла ей сзади сарафанчик и сильно хлопнула по розовым трусикам. Девочка вырвалась и побежала, плача, куда-то за павильон.

— Грызло собачье, — сказала вдруг Клавдия Петровна и посмотрела на женщину. Она сказала это грубым голосом, просто по-мужски, даже босые маляры заинтересовались.

— Я милиционера позову, — взвизгнула женщина, — вы не смеете... Старая ворона... Вернее, ведьма... Яга, яга...

Быстро подошла Марья Даниловна.

— Что случилось? — испуганно спросила она.

— Эта старушка с вами? — крикнула женщина. — Ваша знакомая, да? Я ее научу...

— Грызло собачье, — вновь повторила Клавдия Петровна, глядя прямо на женщину.

— Мама, — сказала Марья Даниловна. — Разве можно оскорблять людей... Вы извините, у нее склероз...

— Ты, Машка, молчи, — крикнула Клавдия Петровна, — тебя не спрашивают... Ты мне не дочь...

Женщина глянула на одну старушку, потом на другую и вдруг расхохоталась. Она смеялась, придерживая рукой грудь, а потом, так же хохоча, убежала за павильон.

— Я ее знаю, — сказала Клавдия Петровна, — это Надьки-американочки дочь... Они при Николае дом содержали с публичными девками.

— Какие глупости, — сказала Марья Даниловна. — Зачем ты выдумываешь?

— Ты еще сопливая, — сказала Клавдия Петровна. — Ничего ты не знаешь. Здесь реки не было, узенький ручей был. Огороды кругом. А там подальше купальня стояла.

Из-за павильона показались женщина и девочка. Женщина вела девочку за руку, и они не смотрели на старушек, но говорили между собой громко, чтоб старушки слышали.

— Бабка тебя заставляла ей туфли раздеть, — говорила женщина, — глупая бабка... Покажи бабке попку...

Женщина приподняла сарафан сзади, а девочка наклонилась, выставила зад в розовых трусиках. Потом девочка повернула голову, скорчила гримасу и высунула язык.

— Пойдем, — тихо сказала Марья Даниловна. — И зачем ты раздела туфли... Я только сейчас заметила, что ты босиком. —

Марья Даниловна опустилась на колени, надела туфли, поднялась и некоторое время сидела, тяжело дыша.

— Зачем ты пуговицы оборвала? — спросила она, но тоже тихо, без крика, скорее даже ласково, — туфли ведь слетать будут...

Они вышли из павильона и пошли вдоль берега обе усталые, сторбленные. Но едва они отошли шагов на двадцать-тридцать, как Клавдия Петровна рассеялась, а потом даже повеселела. Они подошли к серому из шлака забору и вышли за ворота. Здесь уже начиналось поле, все в рытвинах. Слева были огороды, впереди лодочный помост и дощатая будка какой-то небольшой лодочной станции. Марья Даниловна вошла в будку, а Клавдия Петровна уселась рядом на скамейку. Вдали виднелся противоположный берег, и там, вдоль частокола крошечных телеграфных столбиков, изредка поднимались желтоватые облака пыли, минуты через две к городскому берегу подкатывались волны, и лодки, причаленные к помосту, гремели цепями и стукались друг о друга. На помосте, у самого края, сидели две девушки, свесив ноги в воду. Клавдия Петровна поправила атласную ленту, посмотрела на девушек и улыбнулась. Подошел лодочник с веслами, босой, в закатанных по колени брюках и солдатской гимнастерке навыпуск, без пояса. Рядом с ним шла Марья Даниловна и сердито трясла головой.

— Не положено, — говорил лодочник.

— Я буду жаловаться, — говорила Марья Даниловна. — Вы принадлежите коммунхозу, ведь верно?

— Не положено, — повторил лодочник, — такса тридцать копеек в час. И все. Гребцами мы не обеспечиваем.

Марья Даниловна махнула рукой, повернулась и подошла к скамейке.

— Видишь, мама, — раздраженно сказала она. — Я ведь говорила... Ты меня уже сегодня замучила... Зачем тебе лодка... Всегда у тебя фантазия...

Клавдия Петровна молча улыбалась.

— Невеста, — сказал лодочник и хохотнул.

Темноволосая девушка встала с помоста, подошла к лодочнику.

— Я могу погрести, — сказала она.

— С ума сошла, — подбегая, шепнула ей подружка-блондинка, — она ненормальная, разве не видно... И на танцы опоздаем.

— Не опоздаем, — сказала темноволосая девушка. — Я погребу.

Лодочник снова хохотнул и принялся отвязывать лодку.

— Я вам очень благодарна, — засуетилась Марья Даниловна. — Мама, — крикнула она, — идем, девочка нашлась. Девочка погребет...

Она взяла Клавдию Петровну об руку и осторожно повела ее к воде.

— Минутку, — сказал лодочник. — Я сейчас ее посажу.

— Только не сделайте ей больно, — испуганно сказала Марья Даниловна.

— Порядок будет, — сказал лодочник, осторожно взял старушку одной рукой под колени, другой за спину и посадил в лодку на корму.

Марью Даниловну он тоже подсадил, ухватив под локти. При этом Марья Даниловна дернулась, едва не свалилась в воду, взмахнула сумочкой и взвизгнула.

— Ладно, — сказала блондинка. — Я с вами... Тебя, Алка, нельзя одну отпускать. Ты тоже ненормальная.

Темноволосая девушка начала грести. Гребла она хорошо, лодка шла ровно, без толчков. От жары вода позеленела, попахивала гнилью, а ветер сильно отдавал дымом. Но Клавдия Петровна старалась дышать поглубже.

— Воздух какой, — сказала она.

— Ты простудишься, — сердито сказала Марья Даниловна, — не дыши ртом.

— Хорошо жить, — улыбнулась Клавдия Петровна. — Эх, была бы я молодая, как Маша... Ты все время недовольна, Маша... Посмотри, небо какое. Поехать бы на тот берег, лечь на траву... Я уже лет пятнадцать не была на том берегу...

Она опустила ладонь в воду. В воде ладонь полнела, а когда она вытаскивала ее, ладонь сразу как бы усыхала, становилась похожей на лапку.

— Ты схватишь воспаление легких, — сказала Марья Даниловна.

Клавдия Петровна вдруг озорно улыбнулась и ляпнула в Марью Даниловну водой.

— Прекрати, — отряхивая брызги, крикнула Марья Даниловна, — прекрати, девушек стыдно...

Но Клавдия Петровна не ответила, она сидела уже совсем другая, чем мгновение назад, тихая, кроткая, покачиваясь, смот-

рела на воду и бормотала или пела что-то неразборчивое. Она сняла атласную ленту и, держа ее за конец, пустила вдоль ветра. Седые жидкие космы рассыпались по плечам, и сквозь них проглядывали залысины.

— Сколько ей? — спросила блондинка.

— Восемьдесят семь, — ответила Марья Даниловна, — совсем в детство впала.

Темноволосая девушка посмотрела на старушку в белом платье, а старушка посмотрела на девушку, они понимающе улыбнулись друг другу. Потом старушка посмотрела на блондинку, и та почему-то испуганно отвернулась. Мимо проплыла большая лодка с парнями. Белочубый красавец стоял на корме и смотрел в бинокль.

— Богадельня на отдыхе, — крикнул белочубый.

— Дурак, — сказала темноволосая девушка. — Вы не обращайтесь внимания, я этих дураков знаю, это моего братца приятели.

Слева была болотистая заводь, росли камыши, справа река поворачивала, виднелся пешеходный мост, а за ним слышен был шум плотины. Лодка ткнулась в пологое глинистое дно метра за два от берега. Блондинка босиком вошла в воду и потащила лодку волоком, уперла ее носом в поросший травой бугор. Девушки сделали «стульчик» — взяли наперехват друг друга за руки, но Клавдия Петровна не хотела сесть, чтобы ее перенесли, она сбросила туфли и тоже босиком хотела войти в воду.

— Не пускайте ее, девушки, — кричала Марья Даниловна. — Мама, это в последний раз. Дальше балкона ты у меня никуда.

Девушки стали с обеих концов лодки, раскинув руки, темноволосая молча, а блондинку душил смех, она каждый раз всплескивала и повторяла:

— Ой, я молчу.

Марья Даниловна стояла на корме, тоже раскинув руки, на правой руке ее висела клеенчатая сумочка.

Клавдия Петровна сердито металась внутри лодки, путаясь в подоле белого платья, неумело перелезая через лодочные скамейки. Атласную ленту она уронила, и та мокла в лужице илистой воды на дне лодки.

— Ты мне не дочь, — кричала она Марье Даниловне. — Убейся!

По прибрежному лугу ходили коровы, выскочила откуда-то собачонка и залаяла на лодку, на людей. Клавдия Петровна посмотрела на собачонку и вдруг затихла, уселась на скамейку.

— Зельма, — сказала Клавдия Петровна и добавила, обернувшись к темноволосой. — Она в комнате никогда не гадит.

Девушки взяли Клавдию Петровну, усадили на скрещенные руки и понесли к берегу. Потом они помогли перебраться Марье Даниловне.

Берег порос густой сочной травой, виднелась рощица, было очень тихо, собачонка куда-то исчезла, лишь слышен был сзади плеск воды, да под самым горизонтом изредка возникал гулкий металлический звук, там были карьеры белой глины.

Клавдия Петровна пошла вначале осторожно, потом все быстрее и быстрее, затем остановилась и легла, прикоснулась лицом к траве.

— Мама, встань! — крикнула Марья Даниловна. — Ты простудишься, земля сырая.

Клавдия Петровна не ответила. Она лежала, глядя в небо, улыбалась и осторожно перебирала бусы у себя на шее. Вновь появилась лодка с парнями. Лодка плыла вдоль берега, и белочубый что-то кричал, сложив ладони рупором. Очевидно, он острил. После каждого выкрика следовал взрыв хохота.

— Болваны, — сказала темноволосая девушка.

А блондинка незаметно вынула помаду и тронула губы, провела мизинцем у краев рта. Крики привлекли внимание Клавдии Петровны. Она села, посмотрела на реку, но лодка уже скрылась за поворотом. Тогда она посмотрела на блондинку.

— Покажите, — неожиданно сказала Клавдия Петровна, — это губы красить, да?

Блондинка поспешно зажала помаду в кулаке. Темноволосая девушка вынула из карманчика свою помаду и протянула Клавдии Петровне. Клавдия Петровна начала подниматься, вначале она стала на четвереньки, темноволосая девушка поспешно подошла, подхватила ее за плечи и выпрямила. Клавдия Петровна взяла помаду, повертела, понюхала.

— Пахнет хорошо, — сказала она.

— Мама, — сказала Марья Даниловна, — перестань, девушке, может, неприятно.

— Ничего, — тихо сказала темноволосая девушка. — Ничего, возьмите, если вам нравится.

Клавдия Петровна снова улыбнулась.

— Как я танцевала, — сказала она. — Ох, как я танцевала, девушки.

— Мама, — сказала Марья Даниловна, — прекрати, пожалуйста. Не надо смешить людей.

Клавдия Петровна мечтательно улыбнулась, сделала несколько шагов к воде и прикоснулась фиолетовым тюбиком к своим желтым костяным губам.

— Мама! — крикнула Марья Даниловна. — Мама, перестань, — и ляпнула Клавдию Петровну по руке.

Она хотела лишь выбить помаду, но концы пальцев ее скользнули по скуле Клавдии Петровны, а ребро ладони зацепило мать по подбородку так, что та дернула головой, пошатнулась и едва не упала.

Марья Даниловна была крупнее и тяжелее матери, и руки у нее были крупные, оплетенные жилами. Помада мазнула Клавдию Петровну вдоль щеки, покатилась по траве и упала в воду. Жирный фиолетовый зигзаг потянулся от края рта к подбородку, и на нем набухали две красные капельки, видно, металлический футляр помады разодрал кожу.

Клавдия Петровна стояла над самым берегом, тень ее переламывалась надвое: часть на траве, а часть среди пузырьков, поднимающихся с илистого дна.

— Ничего, — тихо сказала Клавдия Петровна и посмотрела на девушек, — это просто так... Маша всегда была хорошая девочка... Веселая... Как она танцевала у Павлика на свадьбе... Зина злилась, ревновала Павлика к родной сестре, — старушка засмеялась хитро и озорно, — такая глупая... Я всегда говорила Павлику, что она глупая... А Вася удачно женился. У него жена была докторша... Умная... Я ее любила... — старушка вдруг замолкла, осмотрелась вокруг, вздохнула и сказала просто и ясно:

— Девочки, не дай вам Бог пережить своих детей.

Марья Даниловна стояла в нескольких шагах от Клавдии Петровны, после удара она внимательно и даже удивленно посмотрела на мать, потом отошла назад, раскрыла сумочку, принялась рыться в ней. В открытую сумочку закапали слезы, линялая шелковая подкладка покрылась пятнами. Марья Даниловна закрыла сумочку и заплакала громко, вытирая глаза пальцами. Клавдия Петровна подошла к дочери, прикоснулась к ее плечу, и та покорно опустилась рядом с матерью на траву.

— Тише, детка, — говорила Клавдия Петровна, — тише, маленькая...

Марья Даниловна лежала в нелепой позе, раскинув ноги в босоножках, под горячим от солнца суконным платьем дряблый

жирный живот ее чесался, а лопатки упирались в острые колени сидящей над ней Клавдии Петровны.

— Налетели гуси, — бормотала Клавдия Петровна, покачиваясь, — Машеньку любили, Машеньку кормили...

У Марьи Даниловны из-за неестественного изгиба разболелся позвоночник, но она не переменила позы, лежа вынула из сумочки кружевной платок и начала осторожно вытирать жирный фиолетовый след со щеки матери, набухшие капельки крови подсохли, она осторожно очищала кожу вокруг них от помады.

— Налетели гуси, — путая мотив и слова, бормотала Клавдия Петровна, иногда она обнимала голову дочери сухими лапками и прикасалась ко лбу ее губами.

Девушки сидели на борту лодки, опустив босые ноги в воду, и молча смотрели, как старушка в белом платье покачивает, баюкает на коленях седую голову своей дочери.

О ВУЛКАНАХ, ОТШЕЛЬНИКАХ И ПРОЧЕМ

Читатель может удивиться, увидев в «Гранях» очерки В. Некрасова, которые были опубликованы в 1965 г. «Новым миром» № 12 под общим заглавием «За двенадцать тысяч километров».

Дело в том, что мы получили из России «самиздатовский» экземпляр тех же очерков. Сверка их с текстом, помещенным в «Новом мире», показала, что в последнем ряд мест был изъят или переделан цензорами. **Все пропущенные и измененные места восстановлены в «Гранях» и набраны курсивом.**

Главлит («Главное управление по охране военных и государственных тайн и печати», см. статью «Главлит» в «Посеве» № 7, 1968.) работал достаточно разнообразно: иногда мы имеем дело просто с нелепой маскировкой мнимых военных тайн (например, в очерке «Отшельник» слово «солдаты» заменяется то словом «геологи», то словами «добрые люди»). С замечательной последовательностью цензура вычеркивала все те места, которые могли бы произвести на читателя впечатление, что в Советском Союзе не всегда и не всё идет гладко и беспроблемно: в очерке «О всяких ужасах» (в «Новом мире» он озаглавлен «Цунами») катастрофа 1952 г., уничтожившая город Северо-Курильск, старательно сводится к минимуму, очерк «Вырывай сердце к черту» переименовывается в «Котики», в очерке «Глядя на чучело неведомой птицы» бывший особист, враг Солженицына, превращается в бывшего фронтовика.

Не менее постоянно цензоры преследуют и уничтожают мысли и эпизоды, несозвучные официальным взглядам, вопросы, заставляющие читателя задумываться о глубинных причинах отрицательных явлений советской действительности. Иногда цензурой производились купюры в нескольких страниц (например, о разрушениях еврейского кладбища в очерке «Спасая товарищей...») или изымался очерк целиком (например, «А этот?»), противопоставленный другому очерку «Правильный парень», в котором герой невольно напоминает газетных положительных людей.

Не пропустила цензура также и следующего замечания, характеризовавшего поступок чиновников министерства культуры, которые приказали заклеивать в музеях имя Сталина на подписанных им приказах. Это замечание отлично характеризует и самих цензоров:

«Страус — орел, по сравнению с деятелями, давшими такие указания».

Р е д.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВНУКОВЕ

Эта печальная история вспомнилась мне в самолете ЛИ-2 по пути из Козыревска в Петропавловск-на-Камчатке. Я сидел в пилотской кабине, смотрел на быстро приближавшуюся и поблескивавшую уже вдали Авачинскую губу, о которой говорят, что в ней может поместиться весь флот мира, и предвкушал сегодняшний вечер — мы условились с экипажем встретиться в девять часов в ресторане «Океан».

С ребятами из экипажа — Женей Федуловым и Лёней Риконвальдом (бывает же такая фамилия у истинно русского человека) — мы познакомились недели две тому назад, когда они вели свой арендованный тогда рыборазведкой самолет из Петропавловска на север, вдоль восточного побережья Камчатки, в бухту Корф. Хозяином самолета был Миша Несин — знаменитый летнаб, великий мастер поиска с воздуха косяков рыбы. Мы — я и мои друзья — были гостями Несина. Он показывал нам Камчатку с воздуха. Это было первое знакомство с ней. Часов в шесть вечера мы приземлились в Корфе. Там мы заночевали, а на следующий день облетали еще Олюторский залив. Рыбы Миша так и не нашел — в этом году она что-то задержалась. Он как-то сразу загрустил, мы почему-то тоже и поэтому, увидев с воздуха идущий на юг теплоход «Николаевск», решили на нем отправиться в Усть-Камчатск — Миша должен был еще обследовать западное побережье, Охотское море. В Корфе мы расстались. С Мишей обнялись, обменялись адресами, а с ребятами из экипажа просто попрощались — оба дня и Федулов и Риконвальд (я тогда еще не знал их фамилий) держались как-то очень скромно, обособленно, то ли стеснялись нас, «гостей из Москвы», то ли не желали выпячивать свою дружбу с Мишей Несиным, камчатской знаменитостью.

И вот через две недели мы совершенно случайно встретились на Козыревском аэродроме, в тесном, душном буфете, где ничего не было, кроме теплой воды, слипшихся конфет и нежно-розового лосося — чавычи, на которую здесь никто не смотрел, а в Москве, появившись она только, из-за нее сломали бы прилавок. Увидев Женю Федулова — он первый вошел в буфет, — я бросился к нему, как будто мы с ним всю жизнь дружили и не виделись много лет. Он тоже обрадовался, долго тряс мне руку. Потом так же долго

трясли мы друг другу руки с Лёней Риконвальдом. Оба они вели пассажирский самолет из Петропавловска в Ключи.

— А вы куда?

— Мы, наоборот, в Петропавловск. Сидим вот и ждем самолета.

— Через полчаса будет, он уже вылетел из Питера.

— Жаль...

— Что жаль?

— Жаль, что не с вами.

Ребята переглянулись.

— Поднажмем?

— Поднажмем...

И действительно поднажали. Самолет их вернулся из Ключей минут через десять после того, как на Козыревском аэродроме приземлился петропавловский самолет. Билеты у нас были на петропавловский, но Женя одной своей улыбкой белобрысого обаятельного рязанского парня обезоружил аэропортовскую девицу, и та, малость поворчав, переписала ведомость и номер рейса на наших билетах.

До Петропавловска лёту час или полтора, не больше, но за этот короткий промежуток времени мы умудрились с летчиками окончательно сдружиться. Я сидел в пилотской кабине на каком-то ящике, напротив — Женя в своих наушниках, с никогда не сходящей с лица улыбкой. Леня же — спокойный и тихий — вел самолет, изредка поворачиваясь к нам и бросая две-три фразы.

И вот, сидя на своем ящике, — мы подлетали уже к Петропавловску и Женя включился в свою рацию — я невольно вспомнил одну малозначительную историю, которая в свое время расстроила меня и запомнилась, как нечто грустное, на всю жизнь.

Было это жарким московским летом во Внукове, в аэропорту. Я летел из Москвы в Киев. Провожал меня приятель. Денег у меня тогда было много, поэтому, приехав заранее во Внуково, мы пошли в ресторан.

День стоял яркий, солнечный, веселый, да и вообще в этот мой приезд в Москву всё шло как-то ладно и хорошо, настроение было чудесное. После второй или третьей рюмки я сказал:

— А что, если твои проводы продолжить до Киева? Сегодня пятница, завтра короткий день, а в воскресенье вечером или понедельник утром я тебя вытолкаю в Москву. Ручаюсь!

Приятель, не задумываясь, согласился. Кой черт жариться в раскаленной Москве, когда можно выкупаться в Днепре, а суббота, действительно, день бестолковый — кто в субботу работает...

Но в кассе билетов не оказалось. Ни на этот, ни на последующий, вообще ни на один рейс до конца дня.

— Ерунда! — сказал я. — Улетим.

Я был полон уверенности. Выйдем на поле, поговорим с летчиками — и всё будет в порядке. Летчики такой народ... Я развил даже теорию, вскормленную, очевидно, неореалистическими фильмами, что в сложную минуту люди склонны помогать друг другу, а фронтовики в особенности, с первого взгляда узнают один другого, и вот тут-то...

Короче, полные радужных надежд и веры в человека — человек человеку друг, брат и т. д. — мы вышли на летное поле. Киевский ТУ стоял совсем рядом, шагах в ста. В него грузили ящики. В тени крыла покуривали летчики. Мне они сразу понравились — молодые ребята с симпатичными физиономиями, улыбающиеся, веселые. Я уже представлял, как в Киеве, если они задержатся, мы сходим с ними в «Динамо».

Мы подошли к ним и объяснили всю сложность нашей ситуации. Обоим срочно надо лететь в Киев, но у одного билет есть, у другого нет. А в Киеве надо быть обязательно сегодня — для нас важен каждый час.

«Ну, конечно, о чем тут говорить! Потеснимся и довезем. Раз надо — значит довезем!» — так, считал я, должны были ответить летчики — веселые, улыбающиеся, с симпатичными физиономиями. Но ответили они совсем не так. Они просто сказали, что не имеют права, а если нам действительно так уж нужно лететь в Киев, то вот идет командир корабля, может, он разрешит. И опять заговорили о своем.

Командир корабля оказался человеком немолодым, с лицом аса и грудью, на которой в годы войны красовались, безусловно, не один и не два ордена. С этим-то мы уж договоримся. То — все неоперившаяся молодежь, юнцы, а это фронтовик, прожженный вояка.

Прожженный вояка внимательно выслушал меня, глядя куда-то в сторону, потом печально развел руками:

— Рад бы, да не имею права.

— Да, но...

— Повторяю: ряд бы, но не имею права. Обратитесь к начальнику перевозок.

Мне стало обидно. Ну хорошо, сейчас у нас с приятелем просто блажь, захотелось в Днепре выкупаться, а если на самом деле было дело важное, неотложное, от которого зависела бы чья-то судьба?

Подходя к начальнику перевозок, я был, если не полностью, то на девять десятых убежден в крайней необходимости полета моего друга в Киев. И говорил я об этом так искренно, так доказательно, что, будь я на месте этого рыхлого, грузного, с потным, красным лицом начальника перевозок, я тут же выделил бы в наше распоряжение специальный самолет, ну — АН-2, допустим.

Нет, он этого не сделал. Он даже не посмотрел на меня; говорил по телефону, перебирал бумаги, потом, зажав на секунду нижнюю часть трубки, сказал: «На сегодня ни на один рейс нет», и продолжал говорить по телефону, предоставляя самолет не нам, а какой-то группе американских туристов, летящих через Киев в Одессу.

Я почувствовал, как во мне что-то закипает. Вот сидит человек, на груди у него два ряда планок — значит, тоже воевал, сидит и не смотрит на меня и наплевать ему сейчас на все, кроме этих проклятых интуристов. А я-то думал, что фронтовики понимают друг друга с полуслова, что летчики такой народ...

— Может, плюнем? — сказал мой приятель. — Ну их, этих парней всего мира...

Наш самолет уже выруливал на взлетную дорожку.

— Черта с два!

Я подошел к носильщику.

Через три минуты за дополнительную пятерку мы имели билет на рейс 324-й, вылет в 18.15. Мне, как опоздавшему, рейс тоже заменили.

...Когда наш ЛИ-2 стал заходить на посадку, Женя виновато улыбнулся:

— А теперь пройдите в салон, а то нам взбучка будет. С пилотами посторонним запрещено, строго-настрого запрещено...

Несколько дней спустя, когда мы отмечали день рождения Миши Несина, все трое — и Миша, и Лёня, и Женя — убеждали меня, что московские летчики были правы, что за провоз безбилетного пассажира им могло крепко нагореть, и что вообще, стоит ли на это обращать внимание, что дела-то настоящего у нас не было, а если бы было... Короче, они меня убедили.

И все же до сегодняшнего дня мне грустно, когда я вспоминаю эту историю. Рассеялась какая-то иллюзия...

ТИХООКЕАНСКИЙ ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬД

В тот вечер мы так и не попали в «Океан». Через три часа после прилета в Петропавловск я уже «выходил» на СКР — сторожевом корабле — на Командорские острова.

Связь с Командорами — здесь они только так называются — не очень проста. Два раза в месяц, *если не ошибаюсь*, туда заходит судно, завозит продукты, газеты, почту. Кроме того, более или менее регулярно летают самолеты. *Но с аэродромом сейчас было что-то неладно — специальная комиссия временно запретила принимать самолеты — поэтому* нам, мне и еще трем корреспондентам, была предоставлена возможность отправиться туда на военном корабле. Вместе с нами ехал и организатор этой поездки — Леонид Тимофеевич, секретарь обкома.

Поместили меня в каюту *помощника капитана*, который был сейчас в отпуску. По вечерам, лежа на койке и поглядывая на полку с книгами, где стояли всякие лоции и графики приливов и отливов, я чувствовал себя если не помощником капитана, то во всяком случае человеком, к морским делам причастным.

На военном корабле я был впервые. Да и корабль, вероятно, не так часто принимал у себя сразу трех корреспондентов, писателя и секретаря обкома. Все это невольно накладывало и на тех и на других определенный отпечаток. На меня во всяком случае.

Помню, как меня смешили в Сталинграде столичные корреспонденты, когда они появились там в довольно большом количестве в самые последние дни боев. Особенно забавен был один, не помню уже из какой газеты. Маленький, незавидный, суетливый, он ужасно хотел походить на бывшего солдата. Ушанка у него была смята под кубанку, как у заправского старшины, на пистолете болталась цепочка немецкого шомпола, махорку курил из оранжевой круглой немецкой коробки, говорил «передок» вместо «передовая», бойцов окликал: «Эй, славянин!» (тогда это как раз входило в моду), а на ордене Красной Звезды, который красовался у него на груди, эмаль в одном уголке была отбита — высший фронтовой шик. Эффект получился как раз обратный: солдаты над ним подтрунивали и уважением он не пользовался никаким, во всяком случае куда меньшим, чем Василий Семенович Гроссман, который приезжал в самый разгар боев и, несмотря на свои очки и интеллигентный вид, сразу расположил к себе бойцов.

Само собой понятно, что, попав на корабль, я больше всего боялся походить на этого корреспондента. Но и «сухопутной кры-

сой» тоже не хотелось прослыть. Надо было достаточно быстро и ловко взбираться и спускаться по крутым трапам, не хвататься за переборки во время качки, без посторонней помощи садиться в шлюпку, а главное, упаси Бог, нельзя было «травить», то есть реагировать на качку и всякую там мертвую зыбь, как положено нормальной «сухопутной крысе». С этим последним я с честью справился и очень этим был горд.

На корабле мы пробыли десять дней. Дошли до Командоров, там покрейсировали между островами Беринга и Медным, *потом дошли до Усть-Камчатска*, который нас не принял из-за шторма, и вернулись в Петропавловск.

За десять дней мы как-то привыкли друг к другу — экипаж к нам, мы к нему. У матросов шла своя жизнь, «служба», у нас — своя, несколько менее утомительная. Жизни эти не очень пересекались. Но когда пересекались, я с *какой-то внутренней радостью и гордостью* смотрел на этих крепких ребят в робах и синих беретах. Всё как-то у них спорилось, делалось легко, быстро, без всякого напряжения и, главное, весело — будь то боевая тревога или высадка на берег, приемка воды или возложение венка на могилу Беринга.

Этой последней акции Леонид Тимофеевич и замполит корабля придавали особое воспитательное значение. Сама могила — холмик и железный крест, поставленный уже при советской власти, — находится в пустынной части острова, на высоком берегу, в стороне от морских путей, надзора за ней нет, поэтому некоторая запущенность ее была понятна. Замполит и Леонид Тимофеевич с азартом взялись за работу. С раннего утра с группой матросов отправились они на берег, выкрасили крест, сплели громадный венок из удивительно красивого, нежного, белого цветка, который растет только здесь, на Командорах (к сожалению, у него очень некрасивое название — «кашкара», что повергло в уныние наших корреспондентов: «Ну, как напишешь — возложили венок из кашкары?!»), а на красной ленте корабельный художник очень красиво *написал* подобающую моменту надпись. Потом матросы, одетые в парадную форму, по очереди становились в почетный караул с автоматами на груди, и так приятно было на них смотреть — красивых, подтянутых, — и все по очереди с ними снимались: и замполит, и Леонид Тимофеевич, и корреспонденты, и я, грешным делом.

Вечером корреспонденты засуетились — надо было передать в Москву сообщение о нашей торжественной церемонии. Это было не просто: на берегу не могли найти радиста, а с корабля нуж-

но было передавать шифром, но в конце концов с грехом пополам передали. Скажу по секрету: у ребят была тайная надежда, что сообщение их попадет на глаза Н. С. Хрущеву — он был тогда в Дании, — и что на каком-нибудь обеде во дворце будет сказано о великом датчанине, память о котором свято чтут в России и на могилу которого вот только вчера советские моряки возложили венок...

Через несколько дней заметка в газетах появилась (увы, Хрущев был уже в Норвегии), все ее читали и перечитывали, но, как потом к всеобщему огорчению оказалось, передана она была корреспондентом ТАСС из Петропавловска.

Но, так или иначе, церемония удалась на славу: крест был выкрашен, венок возложен — всё честь честью. Жалели только потом, особенно замполит и Леонид Тимофеевич, что не дали сапюта — получилось бы еще торжественнее.

Тише и незаметнее всех на этой церемонии был командир корабля.

— Слишком он у нас скромный, наш капитан, — говорил мне потом замполит, бойкий и активный, со значком Академии Ленина на груди. — Нет в нем рвения. Помните, когда венок возлагали — все снимаются, а он в сторонке стоит, мнется...

Это правда. Единственный из всех, кто не рвался под глаз объектива, был капитан. И вообще держался он на корабле как-то скромнее всех. Придет во время завтрака или обеда в каюткомпанию, сядет на свое капитанское место во главе стола, засунет руки в рукава кителя и молча поглядывает на всех, слегка улыбаясь. Юра Муравин, фото-корреспондент, «точит баланду», смешит всех — он великий мастер по этой части, — Леонид Тимофеевич тоже не прочь поговорить, вспомнить комсомольские годы или как он устанавливал советскую власть на Курильских островах, а Геннадий Павлович, капитан, сидит себе и помалкивает, уху хлебает.

Замполит, тот куда живее — он и в машинное отделение нас водил, и на капитанский мостик, и как определять местонахождение корабля на карте показывал, и в первый же день продемонстрировал роскошный альбом «История корабля», правда, еще незаконченный, но обещающий быть очень интересным и содержательным. Как выяснилось потом, на корабле замполит совсем недавно — прямо из академии. Но за этот короткий срок, как он мне сам сказал, корабль с шестого места по боевой и политической подготовке перешел на второе.

Каким корабль был раньше, мне трудно было судить, но сейчас на него и на его команду приятно было смотреть. Я не слышал ни одного окрика, *ни одного повышенного голоса* — всё шло ровно и гладко. Даже слишком гладко. Океан и тот был спокойный, как озеро. Хоть бы шторм поднялся, *мечтал я*, всё же веселее было бы. Но шторма не было, только в последний день нагнало шесть баллов, и, откровенно говоря, веселее от этого не стало — уха расплескивалась на скатерть, ложка не попадала в рот, стаканы вырывались из рук и убегали на противоположный конец стола. Только Геннадий Павлович по-прежнему сидел на своем *капитанском* месте, засунув руки в рукава, и, посмеиваясь, поглядывал на нас.

Не знаю, насколько это лестно для морского волка и тихоокеанского *капитана*, но своим присутствием он сразу придавал какой-то уют и покой кают-компании. Не хотелось уходить. Было приятно сидеть за этим длинным столом, покрытым белоснежной скатертью, разглядывать горящие турецкие корабли на картине «Синопский бой», висящей над столом, следить за ловкими движениями вестового Федорова, бойкого малого, четыре раза в день открывавшего дверь нашей каюты и весело сообщавшего: «Всем наверх, форма одежды парадная, уха уже остыла...»

Я сидел, помешивая ложечкой пятый стакан чая с лимоном, слушал одним ухом Юру Муравина и всё поглядывал на Геннадия Павловича. Почему он так молчалив? Почему не рассказывает всяких историй? Самый раз блеснуть перед корреспондентами. Я уже начал создавать в уме историю о некоем современном Чайльд-Гарольде, о развенчанном и пониженном в должности за дерзкий поступок молодом *капитане*, о неудавшейся семейной жизни, о сложной и противоречивой судьбе. Хотелось спросить о *капитане* кого-нибудь из офицеров или матросов, но как-то не получилось, не подвернулся случай, да и вообще спрашивать подчиненных о командире вряд ли стоит.

Так и не разгадал я нашего *капитана* до самого конца плавания. Даже познакомиться толком за эти десять дней не успел. *Ста граммов и то не выпили. Впрочем, это последнее, я понимал, он не мог себе позволить — все-таки на корабле секретарь обкома, к тому же непьющий, язвенник, а он как-никак командир, хозяин, не дай Бог сорвется кто-нибудь.* Была у меня *грешным делом* мыслишка сбежать на острове Беринга в продмаг, но, подумав трезво, я до продмага не дошел, а свернул на почту — так лучше будет, подумал.

В воскресенье, 21 июня, мы пришвартовались в Петропавловске. На прощанье я сфотографировал нашего бойкого Федорова на фоне моря — пришлось сделать три кадра, так как ветер все время трепал его гюйс — матросский воротник, а этого он допустить не мог, — замполит преподнес мне в презент фотокарточку, где мы сняты с ним вдвоем у подножья утесов острова Медного, экипажу же от нашего имени Леонид Тимофеевич пожелал больших успехов в боевой и политической подготовке и счастья в личной жизни. *С Геннадием Павловичем мы попрощались я не скажу, чтобы холодно, но, в общем, сдержанно.* Я в шутиливой форме поблагодарил его за хорошую службу, он тоже что-то сказал подходящее моменту расставания. Возможно, он даже выразил надежду, что мы когда-нибудь встретимся. На этом и расстались.

В тот же вечер наш «корреспондентский корпус» по всем правилам сошедших на берег моряков собрался в «Океане», в том самом, в который не удалось мне попасть с летчиками.

Пришли, вошли в зал, и вдруг из-за какого-то столика срывается и мчится, задевая стулья, наш капитан, наш Геннадий Павлович. Я его сразу даже не призвал — белая шелковая рубашечка, светлые брюки, ворот раскрыт. Он не был пьян, нет, просто весел и рад встрече. Мы тоже обрадовались.

— Садись к нам, товарищ капитан!

— Да бросьте вы, какой я для вас капитан. Генка — и всё!

Весь вечер мы были вместе. Нам нечего было особенно вспоминать, но мы вспоминали. Вспоминали, как кто-то «травил», как кто-то, прыгая с лодки, упал в воду, как цеплялся я за стол и еле держался на ногах, выступая перед экипажем (*упаси Бог, ничего дурного, просто шесть баллов*).

Где-то к концу вечера я не выдержал и сказал Геннадии:

— Обидно всё-таки. На десятый день только познакомились. Бог знает, когда теперь встретимся.

— Обидно, — согласился он. — Очень даже...

— А кто виноват? Ты виноват. Мы все-таки гости, а хозяин ты. И не только хозяин, а и командир. Приказал — и всё, нам только подчиняться...

Он вдруг сразу как-то протрезвел.

— Елки-палки! Да при чем тут я? У меня ведь всё готово было, всё припасено. Сигнала только ждал. Потом понял: вы все-таки при секретаре обкома, а он непьющий, язвенник... Так и стоит всё у меня в каюте.

— Ну, знаешь ли, после этого...

После этого ничего не оставалось, как разлить остатки водки и выпить за Леонида Тимофеевича, за то, чтобы у него скорее *прошла* язва.

В МИРЕ ТАИНСТВЕННОГО

Сколько бы меня ни убеждали, что шкаф, например, или стул — предметы неодушевленные, я этому никогда не поверю. У всех у них есть свой характер, привычки, повадки. Все они о чем-то думают, что-то знают, любят, ненавидят. Часто обижаются на нас, людей, мстят. Если теряется какая-нибудь вещь, будь то шапка, перчатка, любимый карандаш, книга, — это вовсе не значит, что она потерялась, она просто спряталась от вас. Обиделась на что-то и дразнит. Именно она, а не черт, к которому вы обращаетесь: «Черт, черт, поиграй и назад отдай».

Вот вам пример.

Когда мы подходили к острову Медному, все мы — фотографы — сразу ухватились за свои аппараты, чтоб запечатлеть суровые, покрытые тучами скалистые его берега. Но тут вдруг обнаружилось, что пленка в моем аппарате кончилась, надо заряжать другую. Я вынул из вещмешка свеженькую и только собрался зарядить ею аппарат, как меня *вызвал вестовой Федоров* — у Леонида Тимофеевича заело что-то в кинокамере и он просил помощи.

Когда через пять минут я вернулся, оказалось, что катушки с пленкой, которую — отчетливо помню — я положил на стол, рядом с фотоаппаратом, нет. Я начал искать. Перерыл всё, что возможно, вывернул карманы, облазил всю каюту, перетряс простыни и одеяла на обеих койках — нет и нет...

Раздосадованный и злой, я бросился к Юре Муравину, выклянчил у него пленку и еле-еле поспел к моменту нашего подхода к острову. Я отснял полпленки и вернулся в каюту. Моя катушка мирно лежала на столе, на том самом месте, куда я ее положил. Лежала и посмеивалась.

Нет, конечно же, у неодушевленных предметов есть своя душа. Иногда очень тонкая, уязвимая — не надо их обижать, — и связь у них друг с другом есть, своя дружба, взаимопомощь, круговая порука.

Теперь я знаю, за что издевалась надо мной пленка, за что

обиделась, за что мстила. И за кого мстила — тоже знаю.

В пятидесятом году мы переехали на новую квартиру. И тут же возникла обычная в таких случаях проблема — нужна новая мебель. В старой «коммунальной» квартире всё было с бору по сосенке: разваливающийся шкаф, продавленный диван, покосившиеся этажерки, набитые книгами. Всё это было хотя и не очень красиво и удобно, но в какой-то степени соответствовало нашей «вороньей слободке» с шестью лицевыми счетами и с таким же количеством лампочек и выключателей в уборной и на кухне. Новая квартира с отдельной ванной, кухней и двумя балконами всех нас потрясла. На фоне чистых стен и отциклеванного, начищенного паркета старые шкафы, этажерки и стулья с вставленными фанерными сиденьями производили удручающее впечатление. Нужно было обновление.

Началось оно с тахты, широкой и большой, сделанной двумя веселыми обойщиками. Потом был куплен некий буфетно-гардеробный комбайн, именуемый «кавалеркой», и диван с двумя креслами. Завершилось всё покупкой шести стульев.

Шесть этих стульев, *по-моему, чешских*, были найдены на Подоле в мебельном магазине и вызвали всеобщее одобрение. Они были золотисто-желтые, с удобными сиденьями и приятно изогнутыми спинками. К тому же не очень дороги. Нас было трое, мы взяли каждый по два стула и благополучно доставили их домой.

С их появлением в квартире сразу стало веселее. Четыре из них расположились вокруг обеденного стола, два других стояли в сторонке, но когда приходили гости, тоже присосеживались к столу. Гостям стулья очень нравились, и все спрашивали, где мы их купили и есть ли они еще в этом магазине на Подоле.

Так и прожили мы с этими стульями сколько-то там лет. Привыкли друг к другу, сдружились. Один слегка раскачивался — его любила мама. У другого на сиденье разводы напоминали человеческий зад, и на нем всегда сидела одна наша приятельница. Третий очень музыкально поскрипывал. Одним словом, каждый вел себя по-своему, а в целом мы жили очень мирно.

Сложности возникали только во время семейных торжеств. Народу приходило много, и стульев, как правило, не хватало. Приходилось тащить из кухни табуретки, класть доски, подвигать стол к дивану.хлопотно и не очень удобно.

И вот тут-то один мой приятель, как раз когда мы соображали, как разместить гостей, сказал мне:

— Слушай, мы недавно сделали ремонт и купили новую ме-

бель. Осталось четыре безработных стула. Возьми их. Ей-Богу. Хорошие, *вьетнамские*, плетеные. Все равно они у меня в коридоре друг на друге стоят, только мешают...

Ему не пришлось долго меня уговаривать — я принял подарок. На следующий же день четыре красавца переехали к нам.

Они были прекрасны, эти четыре стула. Черные, блестящие, со светлыми плетеными спинками и сиденьями, они поставлены были с четырех сторон стола и сразу же придали торжественный вид комнате. И опять же все их хвалили. И товарища моего, который сделал такой чудесный подарок. Великолепные стулья — удобные, красивые, такие новенькие.

На следующий день, когда я с улицы вошел в комнату, меня невольно что-то резануло. Сначала я не уловил даже что. Потом понял. Самодовольство... Самодовольство новых стульев. Стоят себе вокруг стола — выхоленные, сияющие, такие спокойные, сытые, точно всю жизнь здесь стояли. А милые наши золотистые старички с мелодичным своим поскрипыванием и шатающимися ножками робко прижались к стенкам.

С тех пор, когда бы я ни заходил в комнату, мне становится всегда стыдно. Примостились к столу эти четыре самодовольных, наглых оккупанта и в ус не дуют, хозяева... Только иногда, по вечерам, разрешается старичкам придвинуться к столу, и то ненадолго, потом назад по местам, к стенкам... И, если надо забить гвоздь в стенку или поправить оборвавшееся кольцо на шторе, то их, гадов, тоже не трогают, у них, мол, сиденья слишком нежные, а старички — ничего, вытерпят.

Кончился мир в этой комнате. И я ничего не могу поделать. *Всё разбилось на два лагеря*. Теряются карандаши, ложки, брошки, нужные номера газет. Иногда они находятся, иногда — нет. Но я-то знаю, что это неспроста. И трещина на желтом старичке, сосланном в коридор к телефону, тоже неспроста. Рвет брюки, щиплет за ногу, если сядешь на него в трусах. Мстят мне мои бывшие друзья. И фото пленка тоже мстила — не за себя, за других. И фотоаппарат тоже. Лента с берегами острова Медного оказалась совершенно прозрачной, ни одного кадра.

ОТШЕЛЬНИК

Самая замечательная река на земле — это, конечно, река Камчатка. И не потому, что она самая большая, или глубокая, или широкая, или красивая (хотя действительно очень красивая),

а совершенно по другим причинам. Это единственная в мире река (ни я, ни она не обидимся, если нас и опровергнут), которая за каких-нибудь десять-двенадцать часов переносит тебя из одного времени года в другое. Именно так.

В Усть-Камчатске на хилых его деревьях чуть-чуть намечались крохотные почечки, местами лежал еще снег (за день до этого наш «Николаевск» три часа не мог принять пассажиров в Анапке, их на плашкоуте затерло льдами), вечером мы уже вдыхали не слишком сильный аромат (на Камчатке цветы вообще слабо пахнут) бурно цветущего жасмина, а еще через два дня нас беспощадно жрали комары в тайге.

Географически это объясняется просто — на побережье Камчатки климат морской, а в средней ее части, огороженной со всех сторон горами, резко континентальный. Прилетая на самолете, допустим, из Ялты в Москву в декабре или январе, тоже невольно поражаешься — там розы, а тут снег; но то самолет, чудо техники, а на реке Камчатке весна распускается буквально у тебя на глазах, почти как в кино, когда замедленной съемкой снимают распускающийся бутон.

Берега сначала плоские, голые, безрадостные, как и сам Усть-Камчатск — поселок не слишком красивый, *судьбу которого раньше или позже решит цунами*; но об этом отдельный разговор, — потом постепенно повышаются, сближаются и превращаются в так называемые «щеки» — сначала холмы, густо поросшие мхом, затем горы с не растаявшим на вершинах снегом. А внизу уже зелено, каменная береза вся уже в сережках, и мы, сняв куртки, остаемся только в свитерах. Затем «щеки» раздвигаются, сжатая ими река растекается сотнями рукавов, мы снимаем свитера и, распластавшись на носу, молча глазеем на появившийся впереди мираж — в воздухе парит белоснежный конус Ключевской сопки. Становится жарко. В Ключах мы уже задыхаемся от пыли.

Дальше за Ключами появляется лиственница, а за Козыревском — густые заросли тальника. Река сужается, мы идем по каким-то рукавам, протокам, похожим на гроты, ветви подмытых водой деревьев хлещут нас по головам, по голым спинам — мы уже в трусах, мы загораем...

Теперь мне совершенно ясно, что такое настоящий отдых. Это когда всё выключается. А всё выключается тогда, когда ты лежишь на животе на носу лодки и ни о чем не думаешь, смотришь на воду, на проплывающие бревна, на берега, на чаек (они тут тоже есть, а вот ласточек нет), а водомет, который доставит

нас в глубь Камчатки, монотонно журчит, стрекочет, и спину припекает и обвеивает ветерком, и клонит ко сну, и просыпаешься ты оттого, что хлестнула тебя по спине склонившаяся лоза. И ты переворачиваешься на спину и смотришь в небо.

Думал ли я когда-нибудь, что на Камчатке есть такая замечательная река? Лосось, тот давно уже знает — каждый год приходит сюда нереститься. Чем она его так прельстила? Карася, того силком сюда завезли, набили битком все озера и пруды, а потом вялят его. Ели ли вы когда-нибудь вяленого карася? Пища богов... *Если на Олимпе есть пивные, ему определенно имело бы смысл перебазироваться на Камчатку...*

В первый и пока в последний раз в жизни ел я вяленых карасей у старика рыбака по фамилии Быков неподалеку от села Комаки. Потом, как мне кажется, именно их я видел развешанными на кустах у дяди Вани, но там я на них только смотрел, отведать не удалось...

Вот и подобрался я к дяде Ване. Личность эта примечательная, и в среднем течении реки Камчатки знают его все. Рассказал нам о нем Николай Николаевич — личность тоже примечательная, но по другой части, о которой говорить не будем.

— Самое интересное здесь, в Ключах, это, конечно, вулканы. Потом — дядя Ваня, потом — рыба. Впрочем, второе и третье легко совмещается. Если интересуетесь, могу помочь.

Мы заинтересовались, и Николай Николаевич помог — дал машину.

Дядя Ваня — отшельник. Лет ему много — что-то под восемьдесят. Живет совсем один, с котом, километрах в тридцати от Ключей. Маленькая деревянная хибарка на берегу озера, вернее, двух озер или, скорее, заливов, образуемых бесчисленными рукавами Камчатки. Кругом белым-бело от жасмина. На ветвях сушится рыба. На земле не доеденные котом рыбы головы и хвосты. В озерах и протоках — утки. Если сесть в лодку и немного проехать — открывается сопка Ключевская. Она похожа на Фудзияму, классической вулканьей формы, и сейчас вокруг ее кратера — кольцо дыма, как вокруг Сатурна. Она вместе с кольцом отражается в недвижной поверхности озера, и не сфотографировать ее невозможно.

Дорога к дяде Ване идет по лесу — лиственница и тополь, только не наш украинский, а кряжистый, с фантастическими разветвлениями и кроной, как у сосны. Местами лес выжжен и засыпан вулканическим пеплом — всё серо и мертво, потом опять становится зеленым, живым, густым, с буреломом. Кое-где вместо

дороги — русло речки, но наш грузовичок идет по ней, как по шоссе.

Дядя Ваня копошится возле своей хибарки. У него всклокоченная седая борода, такие же волосы и веселые хитрые глаза. Говорят, что он был когда-то богачом, не поладил в чем-то с людьми и ушел от них. На Камчатке уже лет тридцать. Приехал из Сибири.

Принял он нас приветливо. Дал лодочки: «Поезжайте, постреляйте уток». Стрелять мы стреляли, уток не убили, поэтому мы ограничились традиционной на Камчатке ухой.

— Ну как, дедушка, живете здесь?

— Да ничего, помаленьку.

— Не скучаете?

— Нет, привык.

— А без людей не скучно?

— А я без людей не бываю. Заглядывают, не забывают...

Кроме нас, в этот день заглянуло еще пятеро солдат, положили рыбку (поэтому-то у нас и была уха) и ушли себе потихоньку.

— А в Ключах бываете?

— А зачем они мне, ваши Ключи? Рыба есть, хлеб, соль солдаты принесут, водочкой вот вы угостили... А в Ключах что? Шум, гам, всякие там рестораны, машины, пыль только поднимают...

Мы невольно рассмеялись.

Когда я летел из Москвы на Камчатку, все, за исключением разве что кассирши в Аэрофлоте, только диву давались.

— В такую даль? Ну и ну... Сколько ж туда добираться?

— Говорят, пятнадцать часов.

— Самолетом, что ли? На ТУ?

— На ТУ.

— Так там, значит, и посадочные площадки есть?

— Очевидно, есть, раз летает.

Пролетая над Камчаткой и глядя вниз на голые деревья и рыжую тундру с не растаявшим местами снегом (на всем пути из Москвы было жарко) и особенно на следующий день, когда снег повалил, как в январе — а было 24 мая, — и крыши домов покрылись белыми подушками, как на старых рождественских открытках, я невольно согласился с москвичами — ну и ну, занесло же меня... В тот день Петропавловск не покорила меня. Потом уже, в Корфе, Усть-Камчатске, в тех же Ключах, Петропавловск рисовался мне как некое Рио-де-Жанейро — портовый город, раз-

влечения, кино, шик-блеск... А вот для дяди Вани таким Рио-де-Жанейро, центром городской цивилизации и распушенности, были Ключи — пыльные Ключи с единственным рестораном, где директор совмещает свою должность с обязанностями вышибалы.

Мы сидели возле костра, подбрасывали сучки и веточки и слушали чуть-чуть захмелевшего старика. Он говорил о каком-то полковнике, который часто сюда приезжал и с которым они все ночи напролет о чем-то там судили-рядили, *потом о своей жене, весьма странной женщине, которую посадили за то, что она отрезала своему внуку весьма существенную деталь (говорил он об этом спокойно, без всякого гнева, не очень почему-то удивляясь, но осуждая)*, потом переключился на ключевский ресторан, очень его возмущивший.

— «Одет, говорят, плохо, галстука нет», — вот и не пустили. «Я есть, говорю, хочу, а галстука у меня отродясь не было». — «Нет, говорят, нельзя». *«Тащи, говорю, тогда сюда, на ступеньки»*, *девице этой говорю, горничной, что ли. «Это тоже, говорит, нельзя, не положено»*. Ну тут я уж рассердился — и не в такие рестораны меня пускали. «Давай директора», говорю. Ну, с директором поладили как-то. Такой пир задал, никто не пожаловался, никого не обошел...

Он был очень горд этой историей и несколько раз к ней возвращался.

— Выходит, с людьми все-таки веселее? — допытывался мой товарищ.

— Может, и веселее, а тут лучше. *Тише.*

— А вдруг заболееете?

— Помогут. *Военные помогают.* Раза два доктор *ихний* приезжал, хороший парень, молоденький такой.

— С чего же вы живете?

— А рыба? — дядя Ваня удивленно на нас посмотрел. — Иной раз утка. Помогают люди, не забывают...

Кроме того, оказывается, он получает пенсию — раз в месяц, в два возят его в Ключи *военные*. Вообще о *военных* он отзывался хорошо, особенно о том самом полковнике.

— Журналы мне привозил разные, вот и украсил я свои хоромы.

Все стены его хибарки оклеены были вырезанными из «Огонька» фотографиями. Системы особой не было, но с разных углов на нас глядели и Фидель Кастро, и Гагарин с Титовым, и Клибёрн, и Кеннеди, и улыбающиеся сталевары, а на самом по-

четном месте, у изголовья, вырезанная из газеты Терешкова. В углу висела икона.

К концу беседы он вдруг сказал, что ему очень важно было бы встретиться с Хрущевым, есть, мол, о чем поговорить.

— О чем же, дедушка?

— Да есть о чем, — он загадочно улыбнулся. — Приедет сюда, на Камчатку, в гости его приглашу. Вот так вот ухи поедим, рюмочку выпьем. Спутников его за утками пошлю, чтоб не мешали, пусть себе стреляют...

— Ну а если не приедет?

— Приедет... Такой край, как Камчатка, и не приехать? Обязательно приедет.

О том, что, приехав, знатный гость примет его приглашение и выпьет с ним рюмку, он ни минуты не сомневался.

— А без рюмочки не поговоришь. Не получается. Так оно у нас, у русских, заведено... Нет, нет, с меня будет, — он несколько неуверенно посмотрел на бутылку, но кружку решительно отодвинул. — С меня хватит, за свой век уже нахлебался.

Стало уже совсем темно. Мы начали собираться. Он дружелюбно топтался вокруг нас, помогал что-то укладывать в машину и всё уточнял детали своей будущей встречи. В конце концов сказал, что если что не так, сам поедет в Москву. Но программу предстоящей встречи нам так и не удалось узнать.

На обратном пути, трясясь в машине, мы все говорили о старике. Мне он был неясен. Кто он? Отшельник или директор однодневного дома отдыха? Кем он был раньше? Почему, подобно большинству стариков, не говорит о «добром старом времени», когда и рыбы было больше, и сама она больше, и вообще «было время»? О чем все ночи напролет говорили они с полковником? «О жизни, сынок, о жизни». А вот с нами «о жизни» он особенно не говорил. Осторожничал? Вряд ли. А может, мы просто слишком молоды для него? Старики любят со стариками — понятнее как-то. А планы поездки в Москву? Для красного словца? Или хватил лишнего? Неясно мне всё это.

Сейчас, рассматривая его фотографию, — смотрит он с нее хитро, лукаво и держался перед аппаратом очень умело, не первой, видать, — я пытаюсь представить его шагающим по Москве и, откровенно говоря, не представляю.

А вдруг все-таки возьмет да и приедет...

Ездивший с нами бойкий лейтенантик отнесся к этому плану куда менее скептически.

— Ну, что ж, надумает, — соберем денег и отправим. Провожатого еще дадим. Он старик крепкий еще.

Да, есть у нас еще занятные старики. Иные, я видел, и по эскалаторам вверх бегают.

А может, он бывший князь? Или старец вроде Федора Кузьмича?

ГЛЯДЯ НА ЧУЧЕЛО НЕВЕДОМОЙ ПТИЦЫ

Первым нашим знакомцем на острове Беринга был директор школы. Звали его Жозеф Мишкин. Сочетание довольно забавное, но, как выяснилось потом, он наполовину латыш, наполовину русский. Вероятнее всего, настоящая его фамилия Мишкинс или как-нибудь в этом роде, но здесь, на Командорах, это звучало бы претенциозно, поэтому он стал просто Мишкиным. Впрочем, все это мой домысел.

Нашу четверку поселили в школе, в большой классной комнате, сплошь увешанной автомобильными плакатами — разрезами всяких радиаторов, карбюраторов, акселераторов и другими премудростями. Вдоль стен стояли кровати. Привел нас сюда Мишкин.

— А теперь вам надо поесть, — сказал он и, не дождавшись ответа, скрылся.

Через минуту явился с громадной бутылкой молока и сковородкой, на которой шипела яичница. Это было очень кстати: мы проголодались, а столовая была уже закрыта.

После ужина он приволок откуда-то внушительных размеров приемник и гигантский репродуктор, такой, какой вешают на улицах, на столбах. К счастью, он оказался неисправен, тем не менее мы были очень тронуты.

Лицо у Мишкина было печальным, с печальными глазами и печальными, опущенными вниз усами. Лет ему было, очевидно, под сорок. Он нам понравился — спокойный, сдержанный, внимательный. До войны окончил институт в Прибалтике, кажется, в Риге, потом провоевал всю войну от начала до конца. Правда, больше валялся в госпиталях, раз пять или шесть был ранен. Это как-то прибавило уважения. — В каких войсках? — поинтересовались мы. — *Особистом...* На какое-то время разговор увял. Мишкин стал возиться с приемником. Потом заговорили о Командорах, о котиках, о том, что голубой песец, которого здесь разводят, сейчас на Западе не в моде, нужен белый норвежский, а когда

его сюда завезут — опять войдет в моду голубой. Разговор опять оживился. Мишкин много знал, умел интересно рассказывать. Потом как-то само собой заговорили о литературе. Тут выяснилось, что наш хозяин активный враг Солженицына. — Зачем всё это вспоминать? Зачем ковырять старые раны?... — Опять произошла осечка.

Рано утром, в пять часов, мы отправились на вездеходе к лежбищу котилов. Без четверти пять Мишкин притащил груды яиц, масла, хлеба и опять-таки громадную бутылку молока.

— Вы долго здесь пробудете? — спросил он.

— Дня два, очевидно. Завтра — на остров Медный, потом назад, сюда, и в Усть-Камчатск.

— А на Топорок не сходите?

— Какой Топорок?

— Островок такой маленький — во-он виден отсюда. Там птица топорок живет. Очень забавная, с таким вот громадным красным клювом. За ноги этим клювом щиплет, очень больно. Сходите туда, ее там тысячи.

— Это не от нас зависит. Как начальство скажет.

— А хотите, я вам чучело подарю?

Я поблагодарил, не совсем представляя, как я потом это чучело повезу домой.

— Спасибо, стóбит ли...

— Стóбит. Все-таки память о Командорах. Если достану мышьяк, завтра чучело будет готово...

Мышьяк он достал. И не только мышьяк. Пока мы ходили на Медный, он смотался на Топорок, подбил птицу, и, когда мы вернулись, она уже ждала меня на деревянной подставке — большая, размером с утку, черная, блестящая, с великолепным ярко-красным клювом, почти как у попугая. Я ее погладил, и мне показалось, что она еще теплая. Только глаз у нее не было — и Мишкин сказал, что их надо сделать из пуговиц.

Перед отъездом топорок был упакован в картонный ящик и благополучно доведен до Москвы в компании двух завернутых в целлофан лососей — чавыч, каждая по восемь килограммов весу. Одна из этих чавыч — нежная, розовая, слегка подсоленная, — наполовину была уничтожена в первый же московский вечер, а топорок стоял на шкафу и за всем следил, хотя пуговиц мы еще не нашли и глаз у него не было.

Прощались мы с Мишкиным у него дома. Жена его уехала на материк, и в не слишком прибранных его двух комнатах оби-

тали сейчас школьный физкультурник и кочегар. Это существенно упростило сервировку и весь ритуал прощания.

— Я скоро буду на Севере, — прощаясь, сказал Мишкин. — Если хотите, я вам оттуда пришлю полное обмундирование из оленьих шкур, — и назвал каждую часть туалета по-корякски. — Стóбит это гроши, а вам удовольствие и все завидовать будут...

Я ответил что-то неопределенное — опять-таки, где всё это носить в Москве, в Киеве?

Мы попрощались. Мне было *как-то* жалко расставаться, хотя знакомы мы были всего два или три дня. Прощаясь, люди почему-то всегда улыбаются. Мишкин не улыбался. Он *вообще* мало улыбался — за все три дня один или два раза. Вообще что-то очень грустное было во всем его облике. Я с трудом представлял его себе в виде *особиста*. Впрочем, один местный житель, весьма сведущий, имеющий отношение к анкетам, утверждал, что на фронте он был поваром, но в конце концов какое это имеет значение? Для меня Мишкин *не тот и не другой, а* гостеприимный и доброжелательный друг на острове Беринга.

ВЫРЫВАЙ СЕРДЦЕ К ЧЕРТУ!*)

В моем детстве вершиной роскоши и богатства считалось — нет, не бриллианты, жемчуга и прочие драгоценности — я их видел только в кино на «Авантюристке из Монте-Карло», — высшим шиком было котиковое манто. В нем ходили нэпманши. А нэпманы — в котиковых высоких шапках, промятых сверху, и шубах с котиковыми воротниками. Ни того, ни другого у меня, конечно, не было. Да я и не мечтал: в те годы хорошо одеваться считалось дурным тоном. А вот у Шуры Бергонье — моего школьного товарища — была котиковая ушанка. Мы его за это слегка презирали, но и завидовали — мех был такой нежный, мягкий, так хотелось коснуться его щекой. Девочки, те даже тайно целовали эту идиотскую шапку. Ребята постарше, поциничнее, с пробивающимися уже усиками, смеялись над нами, говорили, что это просто ободранные кошки, но мы-то знали, что это не так, что морской котик действительно похож на кошку, только побольше ее и живет на Крайнем Севере.

*) В журнале «Новый мир» № 12, 1965 г., этот очерк дан под заглавием «Котики». — Ред.

Сейчас котиковых манто нет. Куда они делись? Вышли из моды? Потерпели поражение в битве с нейлоном? Бог его знает. Но промысел котиковый есть. И выполняется план по забою. Шкурки отправляются в Ленинград. Там аукцион — на международном рынке, очевидно, они еще ценятся.

До того, как я увидел впервые живого котика, я увидел его изображение на громадном щите в поселке Никольском на острове Беринга. Плакат, выцветший от времени и непогоды, призывал к досрочному выполнению плана забоя и изображал здорового детину с палкой в руке в окружении котиков, которых он лупил этой палкой по голове. Я невольно вздрогнул, взглянув на этот плакат, но только на следующий день понял, насколько местный художник приукрасил действительность.

Для меня инстинкт животного — загадка. Я не понимаю, для чего, например, угрю нужно для продолжения своего рода пересекать Атлантический океан. Или почему лосось хочет нереститься на Камчатке и презирает Японию. Не могу понять я и котика. Он тоже всю зиму бороздит океан вдоль побережья Японии и Канады, вплоть до Калифорнии, а гаремы свои заводит только на Командорах и на островах Прибылова. Больше нигде. Еще на острове Тюленьем, недалеко от Сахалина, — вот и всё. *В трёх этих пунктах* — больше нигде на земном шаре котиковых лежбищ нет, — его безжалостно бьют, но на следующий год, если ему удастся выжить, весь покрытый шрамами он возвращается на прежнее место. Я не могу этого понять.

На остров Беринга мы попали к самому началу промысла — в середине июня.

— Самки только начинают приходить, — объяснили нам зверобои, — но пока их мало, по две-три на одного секача. Потом будет по два, три, четыре, а то и пять десятков на каждого старика. Тогда начнутся драки, бои между холостяками и секачами, хозяевами гаремов. Этого вы сейчас не увидите. Это всё будет позже. Сейчас разделять секачей и холостяков будем мы... Нам нужны только *трех-четырёхлетки* — *у них лучший мех*.

Еще издали, подходя к лежбищу, мы услышали котиков. Они завывали, стонали, вскрикивали, рычали и рыком своим напоминали звук заведенного трактора. На широком, плоском, усеянном крупным камнем берегу их было несколько тысяч — больших, метра в два длиной, средних, маленьких и совсем крошечных, только что родившихся. Этих, правда, было еще мало, так как и самок было мало. Самка целый год вынашивает своего детеныша,

попав на лежбище, рождает его и сразу же попадает в гарем. Тут-то и начинаются бои. Полтора-два месяца, пока длится брачный период, секач не сходит в воду и ничего не ест. *А дети подрастают и смотрят. Незавидное детство...*

Было зимнее утро. Серое, угрюмое, с нависшими серыми облаками. Серый берег... Тихо, чтоб не испугнуть стадо, мы прошли по мостику через всё лежбище на вышку. С вышки всё хорошо видно. Лежат себе котики, темно-серые, бурые, рыжеватые, некоторые уже седые, посматривают на нас своими круглыми выразительными тюленьими глазами, пофыркивают, порываются, но, в общем, миролюбиво, без всякой злобы. Старики секачи, захватившие места получше, с них уже не сойдут, молодежь же резвится в море, ныряет, выпрыгивает, как дельфины, или просто сидит, высунув черную острую усатую морду. То тут, то там — малыши, такие крохотные и трогательные, что их хочется взять на руки и погладить. Всё очень мирно, даже уютно.

В чем-то я, очевидно, человек неполноценный. Я не понимаю, например, прелести охоты. Мне почему-то жалко убитого зайца. Я всецело на стороне того мальчика из фильма Ламорисса «Путешествие на воздушном шаре», который из своей корзины кричал и подсказывал великолепному затравленному оленю, как убежать от злых охотников. В то же время я охотно ем телятину и баранину и дружу с охотниками, вовсе не считая их убийцами. Что ж, есть люди, и неплохие совсем люди, которым охота нравится, и бифштекс, я понимаю, делается не из синтетического мяса. Но то, что я увидел на острове Беринга... Нет, лучше бы я этого не видел.

Мы стояли на вышке и фотографировали котиков. Большинство не обращало на нас внимания. Другие, скосив глаза, недобро пофыркивали. Некоторые же, бесспорно, позировали, я в этом уверен — такие красивые позы они принимали. Я чувствовал себя почти как на пляже. И вдруг... Откуда-то сзади, с берега, со стороны прилепившихся к откосам сарайчиков, с нарастающей силой, подобно катящейся волне, донеслось нечто, напомнившее мне войну. Солдатское «ура-а-а»...

Я обернулся. В стадо котиков врзалась толпа здоровенных ребят. Размахивая длинными палками, неистово крича, они сначала кучкой, затем врассыпную неслись вдоль берега, нагоняя страх и ужас. Котики всполошились, засуетились, шлепая лапами и с трудом передвигая свое грузное тело, бросились кто в море, кто, неизвестно почему, навстречу людям. Только самые ста-

рые секачи остались на месте. Вздрыблились, затрубили тревожно, но не сдвинулись.

Кричащие, размахивающие палками люди отсекали тем временем часть стада, голов триста или четыреста, и погнали его в сторону сарайчиков. Котики пытались вырваться, убежать, давили друг друга. Их не пускали, сбивали в кучу, неистово лупили дубинками («дрыгалками», на зверобойничьем языке) куда попало. Над берегом стоял стон избиваемых животных, человеческий мат и свист дубинок.

Потом началось самое страшное. От сбитой в кучу массы ревуших котиков стали отделять группы в двадцать-тридцать голов. Меткими, молниеносными ударами направо и налево зверобой стали уничтожать это маленькое стадо; ловкие, сильные и бесстрашные — разъяренный котик опасен, он может повалить человека, — они с поразительным умением и меткостью наносили сокрушительный удар несчастному котiku по кончику носа, и тот валялся, обливаясь кровью. Нос — самое чувствительное место у котика. От удара по носу он теряет сознание. Вторым или третьим ударом его добивают. Иногда, впопыхах, его не добьют и он пытается уползти или просто лежит, тяжело дыша и плача от бессильной злобы. Да, котики плачут. Настоящими слезами, я это видел.

Через несколько минут всё кончено. Поле боя усеяно трупами. Секачей и самок отогнали в сторону, за небольшой утес, и там они, объятые ужасом, лезут друг на друга, сбиваясь в кучу, давя малышей. Недобитых холостяков добивают «дрыгалками». Вздрагивающие еще туши оттаскивают к сараям.

Так повторялось пять, шесть, семь — не помню уже сколько раз. Хотелось убежать, скрыться, не видеть всего этого, но я стоял, не мог сдвинуться с места и всё смотрел, смотрел на это побоище, на этих опьяненных кровью ребят, сеющих вокруг себя смерть.

Особенно запомнился один, молодой, лет двадцати, не больше. Крепкий, мускулистый, с бронзовым горбоносым лицом индейца (в жилах алеутов течет кровь североамериканских индейцев), он привлек мое внимание еще задолго до того, как началась экзекуция. Очень толково и спокойно готовился он к ней. Не торопясь, натягивал высокие, до паха, сапоги, засучивал рукава, выбирал подходящую «дрыгалку», точил охотничий нож, очень эффектно потом повисший у него на поясе. Он был очень красив, этот молодой алеут-зверобой, хоть портрет с него пиши. Потом я видел его «в деле». Если убийство и истребление может быть

красивым, то и тут он был красив. Быстрый, ловкий, с горящими глазами, раздувающимися ноздрями, залитый с головы до ног кровью, он был первым среди всех, и голос его покрывал даже стон умирающих котиков.

Потом, усталый, но довольный, с окровавленными руками, он сидел за столом и не торопясь, даже с изящной ленцой хлебал щи, чувствуя на себе восхищенные взгляды молодежи. До этого он учил ее, как надо разделять туши. Это тоже дело нелегкое. Мне как-то не хочется описывать весь этот процесс — под содранной шкурой у некоторых котиков еще трепыхалось сердце, — но и здесь молодой алеут был знатоком своего дела. И молодежь — четырнадцати-пятнадцатилетние хлопцы — старательно училась у него, как одним ловким, длинным ударом ножа взрезать шкуру, потом отрезать язык и, сунув по локоть руку в трепещущую ободранную тушу, вырвать сердце.

— Так, теперь суй руку, — спокойно говорил учитель, поставив крепкие ноги в высоких сапогах и вытирая окровавленный нож о ладонь, — суй, суй, не бойся. Дальше, еще дальше. Правей. Ухватил? Теперь вырывай его к черту!

Дрожащий от волнения и ответственности задания пацан долго возился, сопел, потом с силой рванул, и в ладони его оказалось что-то красное, сочащееся, бесформенное.

— Так. Теперь дальше.

Пацан бросил сердце в кучу других сердец и наклонился над следующей тушей.

*

Не мне судить, насколько важен стране промысел котиков. Очевидно, важен, иначе их не били бы. Я давно не видел котиковых манти, но на Западе их, очевидно, носят и платят за это деньги. И языки котиков, говорят, очень вкусны и нежны, и сердца тоже (наша группа даже задержалась с отъездом, чтобы их отведать, но я уже не мог, ничего не мог), и мясо котиков идет на корм песцам, которых растят и холят (с какой любовью и нежностью обхаживают их *влюбленные в них* женщины на зверофермах), а потом тоже сдирают с них шкуру на чью-то шубку... Что поделаешь, такова уж жизнь, ее не переделаешь. Но я думаю о другом. Я думаю о красавце-алеуте, о его горящих глазах, о мальчишках, *вырывающих сердца*, о крови с раннего детства, о жажде уничтожения *беззащитных*. Мне становится не по себе, мне жалко этих ребят...

СПАСАЯ ТОВАРИЩЕЙ...

На кладбище это мы натолкнулись совсем случайно. Искали Усть-Камчатский рыбокомбинат. Нам сказали, что он в конце длинной пыльной улицы, именуемой Комсомольской, возле кинотеатра «Родина». Мы пошли по длинной пыльной улице и натолкнулись на кладбище. В самом центре площади — громадной, бесформенной, песчаной. Возле самого комбината, напротив «Родины».

Я видел много кладбищ в своей жизни. Разных. Тихие, ухоженные рижские, где за оградами на волнообразно причесанном песке лежат как бы невзначай брошенные хризантемы. Заросшие деревенские погосты с черными, покосившимися крестами. Ново-Девичье с часовенкой над могилой Чехова и двумя холмиками рядом — большим и маленьким — Станиславского и Лилиной. Видел Арлингтонское в Вашингтоне, где похоронен сейчас Кеннеди. Там холмиков нет, только маленькие плитки бесконечными, правильными, уходящими вдаль рядами. Средневековое пражское, в самом центре города, где древние каменные плиты с полустертými надписями подпирают и выталкивают друг друга. Видел по ранжиру построившиеся белые кресты «айзенкрёйтцрегеров» — кавалеров железного креста — у разрушенного универмага в Сталинграде. И старое еврейское в Киеве, у Бабьего Яра, оскверненное сначала фашистами, а затем, по их примеру, местным хулиганьем. Видел Трептов-парк в Берлине, Вечной славы в Киеве, одинокие крестики на Мамаевом кургане, поставленные окрестными жителями, кладбище немецких военнопленных в Киеве, на Лукьяновке, Марсово поле в Ленинграде и десятки, сотни маленьких кладбищ на околицах сел и деревень со стандартными фигурами печально склонившихся воинов.

Кладбище, на которое мы натолкнулись, не имело ни тропинок, ни дорожек. Десятка два воткнутых в землю железных труб, колючая проволока. Внутри с полсотни почти сравнявшихся с землей холмиков, кресты из тех же ржавых труб, полусгнившие деревянные пирамидки. Здесь давно не хоронят. С трудом можно разобрать надписи на табличках. Их почти не видно — ветер, дождь, снег, годы...

В. С. Пекарский

р. 1933, ум. 1940

(Погиб в пургу в своем дворе)

Семилетний мальчишка вышел, очевидно, по нужде во двор и не вернулся. Пурга. На Камчатке снегом заносит дома иногда по самые трубы...

Рыжков И. А. р. 1912

Погиб 1/IX-40 от удара лошади

Трогательно. Кому-то показалось необходимым сообщить нам, отчего умер двадцативосьмилетний Рыжков.

Вот мрачный, некладбищенский юмор:

Здесь покоится прах умерщвленного Бахусом
моряка р. р. «Юпитер» Михайлова С. К. 1902-1954

Написал друг и собутыльник. И крепко выпил, когда заказывал табличку. И, очевидно, так же кончил...

На кресте спасательный круг. Внутри круга табличка, сохранившаяся почему-то лучше других. Может, круг и спас от непогоды. Надпись:

Погибли в барах 27/1-36
Туманов, Степаненко
Спасая товарищей, погибли вместе с ними
Спасая Андреева, Сидоркина, Зиновьева,
Слюняева, Кочергина

Бары — это подводные наносы песка у устья реки. Это очень опасные места, рыбаки это знают. И всё же гибнут. Вот так же и эти ребята погибли.

Кто они? Никто не знает. Никто не помнит. Это было так давно, почти тридцать лет назад.

Еще одну надпись удалось разобрать. Тоже погибли на барах.

Моряки к/р «Исследователь» —
Куртин Д. Р. 1912, Воскресенский И. П. 1915 г.

Тоже тридцать лет назад — «9/X-1935».

Об остальных ничего не известно — остались только холмики, заросшие жалкой травой, размытые дождями; на одном из них — пустая поллитровка и недоеденная банка болгарского перца...

И быльем поросло... Какое меткое, какое грустное, страшное слово.

Вот было шесть парней, шесть рыбаков, шесть работяг. Молодые, здоровые, всё впереди. А может, и не молодые, и не такие уж здоровые, и большее уже позади. Но были. И друзья у них были. Хорошие, надо полагать. Туманов и Степаненко, например. Их тоже нет. Лежат рядом. А остальные? Что ж, погоревали, повспоминали, выпили крепко за упокой души и ушли в море. Может, и их уже нет. Тридцать лет все-таки... И никто их не помнит. И сказок о них не расскажут, и песен о них не споют...

Стоит себе кладбище, обнесенное проволокой, в самом центре площади, против кинотеатра «Родина». И никто его не замечает. Стоит, ну и пусть стоит. Когда-то там была окраина, сейчас поселок разросся. Перенести в другое место? Зачем? Скоро весь Усть-Камчатск в другое место перенесут — подальше от цунами. Привести в порядок? А средства? А кому? Дел и без того хватает. Вот с планом, например. Должны были к первому июня... И тебе начинают говорить о плане, нехватке оборудования, ремонте цехов, прогнозе погоды. И телефон надрывается, и кто-то что-то требует, кто-то в чем-то отказывается, и опять что-то срывается или может сорваться... А ты о каком-то кладбище...

Может, действительно, лучше всего сжигать и пепел развеивать по ветру — хлопот потом меньше.



Всё рассказанное выше вызывает невольно грусть и тоску. Вот так живешь, работаешь, умираешь. Потом хоронят и забывают. Грустно...

Но был я и на другом кладбище. Не здесь на Камчатке, в другом месте. И на том кладбище мне уже не было грустно, мне стало вдруг страшно.

Я шел по тенистым аллеям, было тихо, пустынно, шуршали под ногами опавшие листья, а кругом... Кругом было нечто более страшное, чем смерть — надругательство над ней. Дикое, бесстыдное, ужасное, непонятное...

Тысячи повергнутых наземь памятников, разбитых, разрушенных, оскверненных. Многотонные колонны и обелиски лежали в густой кладбищенской траве, плиты сдвинуты, маленькие овалы фотографии из фарфора разбиты... Точно тайфун пронесся. Нет, тайфун не мог бы этого сделать. Даже у него не хватило бы силы. Это сделали люди.

Люди? Не может быть... Люди на это не способны.

И всё же это сделали люди.

Кто же? Шайка хулиганов? Напилась и стала крушить всё направо и налево, всё, что подвернулось под руку? Но сколько же их должно было быть, этих хулиганов, чтобы уничтожить целое кладбище? И какая у них должна быть сила, какие орудия разрушения? Одними ломами и молотами этого не сделаешь. Здесь нужна техника, специальная техника, которую применяют при разрушении старых зданий. Надгробия — гранитные, на свинце; чтоб свалить их, нужен тягач, стальной трос.

А сколько надо терпения, энергии, времени, злобы? Десятки, сотни памятников сброшены вниз, в овраги. И все эти глыбы надо было катить, толкать, волочить по земле.

Страшно подумать, но во всем этом видна систематическая, планомерная работа, титанический труд. Именно труд, вскормленный лютой ненавистью, злобой и адским терпением..

А в какое время дня или ночи это сделано? И почему никто не видел? Если делалось ночью, когда все спят, то сколько надо ночей? Десять, двадцать, сто? И как всё это сделать, чтоб никого не разбудить, скрыться незамеченным, не вызвать тревоги?

Я пытаюсь нарисовать себе картину происходящего — и не могу. Говорят, начали фашисты. В дни оккупации. Это я представляю. Зондеркоманды, опьяненные жаждой разрушения враги. О, они умели уничтожать: живое и мертвое... Всё это я вижу. Но фашисты разрушили только ничтожную часть, лишь центральную аллею, какую-нибудь сотню памятников. А остальные тысячи?

Я в сотый раз задаю себе вопрос: кто это сделал? Я знаю, что тоже враг. Не менее страшный, чем тот, в стальном шлеме со свастикой. Но я хочу увидеть его в лицо, увидеть на скамье подсудимых, услышать его голос и голос судьи, выносящего ему приговор.

Но его нет на скамье подсудимых, он ходит, как мы с вами, по городу и, возможно, мы каждый день с ним встречаемся... Он жив. В руках его еще нет оружия, руки эти тянутся пока к кладбищам, к мертвым. Каждый год, в ночь под Судный день, то на этом, то на том кладбище оскверняется, уничтожается несколько десятков могил. Пока — могилы, надругательство над мертвыми, а потом?

В тысячу первый раз задаю себе вопрос, и не только я: кто сделал всё это? Во второй половине XX века, в городе Киеве, на

старом еврейском кладбище, возле Бабьего Яра, в пяти минутах ходьбы от троллейбусной остановки. И кто закрывал на это глаза? И кто даст ответ?

О ВСЯКИХ УЖАСАХ...*)

Что это? Тишина... Какая-то непонятная, противоестественная тишина. Пугающая тишина. Во время войны тишина тоже пугала. Стреляло, ухало, бухало, взрывалось, и вдруг — как ножом отрезало — безмолвие. Плохой признак. Значит, что-то будет. Готовься!

А здесь? На берегу океана? Что произошло?

Оказывается, умолк прибой. Был и прекратился. Нет прибоя. Океан превратился в озеро — тихое, безмолвное... И вдруг он начинает отступать. Дальше, дальше, еще дальше... Обнажается дно, вылезают из воды камни. Отлив? Нет, не отлив — слишком быстро отступает океан. Метр, пять, десять, двадцать, сто... Куда он уходит? Что это значит?

Больше не задавай вопросов. Беги! Слома голову беги! Подалее от моря. Взирайся выше, как можно выше. На скалы, утесы, горы... Иначе волна слизнет тебя. Вот она уже надвигается, несется со страшной скоростью, водяная стена высотой с дом. И обрушивается на берег, снося, разрушая, поглощая всё... За первой волной — вторая, третья, еще выше, еще разрушительней. Конец света...

Имя этому — ц у н а м и.

«Цунами» — слово японское. Обозначает оно морскую волну, возникающую от подводных землетрясений или извержений подводных или островных вулканов. Последствия цунами катастрофичны.

4-5 ноября 1952 года цунами высотой в пятнадцать метров обрушилось на поселок Северо-Курильск на острове Парамушир и снесло его в океан вместе с двенадцатью тысячами жителей. В газетах об этом не писали. Только глухие слухи докатились до нас — мол, какая-то волна на далеких Курилах поглотила город. Слово «цунами» никому не было тогда известно. Да и сейчас не все его знают. Если вы полюбозытствуете и заглянете в Большую Советскую Энциклопедию, вы не найдете там этого слова.

*) Этот очерк опубликован в журнале «Новый мир» № 12, 1965 г., под заглавием «Цунами». — Р е д.

Нету, и всё... До какого-то времени и слово, и само понятие были вроде как засекречены. В результате погибло двенадцать тысяч человек.

Предсказать цунами невозможно, как невозможно предугадать землетрясение. В лучшем случае в твоём распоряжении двадцать-тридцать минут — от момента первого подземного толчка до прихода первой волны, — скорость распространения волн землетрясения (5-8 км/сек), к счастью, значительно выше скорости распространения цунами (0,1-0,3 км/сек). Но что за полчаса успеешь? Убежать? А если некуда? Если ни гор, ни утесов поблизости нет?

Наиболее подвержен цунами район Тихого океана. В частности, побережье Камчатки, Японии, Алеутских и Курильских островов. Знают цунами и Гавайские острова, но океанические впадины, в которых находятся очаги возникновения цунами, расположены на значительном от них расстоянии, поэтому у жителей Гавайев есть время подготовиться. Волна Парамуширского цунами докатилась до них, например, только через шесть часов тридцать две минуты.

Ну, а как быть с Усть-Камчатском, Корфом, Анапкой, со всеми рыбацкими поселками и рыбоконсервными заводами? Ведь все они расположились на длинных песчаных косах, часто еще отделенных лагунами от берегов, в непосредственной близости от основных эпицентров подводных землетрясений... Что их ждет?

Обо всем этом с тревогой говорил мне Александр Евгеньевич Святловский, директор Вулканологической станции в Ключах. Александр Евгеньевич не только вулканолог, он и «цунамист», если можно так сказать. Особенно тревожит его судьба Усть-Камчатска, районного центра, самого крупного на восточном побережье Камчатки поселка с одиннадцатью тысячами жителей.

— Вы, очевидно, уже заметили, — говорил он мне, — что основные предприятия Усть-Камчатска расположены на длинной плоской косе. Там и морской порт, и два рыбоконсервных завода, и вводящийся в эксплуатацию деревообделочный комбинат. Всё это должно быть перенесено в другое место, в поселок Варгановка, подальше от моря. Есть решение Совета Министров РСФСР, ассигнованы средства, ведется уже строительство. Но, если учесть, что в год вводится не больше четырех-пяти тысяч квадратных метров, для того, чтобы обеспечить жильем одиннадцать тысяч человек, потребуется не меньше 20-25 лет...

Только вчера я был в Усть-Камчатске. Поселок как поселок, мало чем отличающийся от других, именуемых, как и он, поселком городского типа. Расположен на двух берегах устья реки Камчатки. Южная часть — административный центр. Райком, райисполком, гостиница, ресторан, кино и местный «Бродвей» — достаточно широкая, пыльная улица. Эта часть отделена от моря косой. Северная часть — промышленный район и порт — сама на косе, по которой в 1923 году прошли уже волны цунами. В мае 1959 года во время землетрясения в Петропавловске, окажись эпицентр его километров на сто северо-восточнее, Усть-Камчатску опять бы не сдобровать. К счастью, пронесло.

— Не считайте меня паникером, — немного смущаясь, говорил мне Святловский. — Сильные землетрясения повторяются в одних и тех же местах не так уж часто. Соответственно еще реже цунами. В районе южной Камчатки, например, за двести лет было только два разрушительных цунами, а на Курилах, в районе пролива Буссоль, между двумя сильными цунами прошло сто пятьдесят лет... И всё же трагедия Парамушира не дает мне покоя...

Северо-Курильск погиб из-за того, что население ничего не знало о цунами. Люди были все новые, переселенцы. Службы предупреждения, которая существует сейчас на Камчатке и Курилах, не было. О возможной катастрофе никто ничего не мог даже предположить — просто никто не знал, что существует на свете цунами. Рассказывают, что только несколько чудом сохранившихся на острове корейцев, по известным им признакам (отлив океана), успели предупредить своих соседей, и из двенадцати тысяч населения несколькими десятками человек удалось всё же спастись — они поднялись в горы.

Обо всей этой трагедии мы узнали только несколько лет спустя. Лишь в 1958 году Академия наук СССР выпустила «Бюллетень Совета по сейсмологии» № 4, посвященный цунами 4-5 ноября 1952 г. А за год до этого Большая Советская Энциклопедия в 38-м томе писала о фактически уже не существующем Северо-Курильске: «Рыбный порт... Рыбокомбинат. Средняя школа, Дом культуры, клуб, библиотека...» Правда, справедливости ради надо сказать, об итальянском городе Мессина сказано, что во время землетрясения 1908 г. там были разрушены «...средневековая церковь Аннуциата деи Кателаны с остатками античного храма внутри, церкви в стиле барокко (см.), построенные Г. Гварини (см.), частично собор, заложенный в 11 веке и перестраивавшийся

до 17 в., и знаменитые фонтаны «Орион» и «Нептун» (16 в., скульптор Дж. А. Монторсоли)...»

Но это просто так, к слову — обещаю больше про БЭС не говорить...

Один довольно ответственный камчатский товарищ, с которым я поделился тем, что поведал мне Святловский, несколько встревоженно посмотрел на меня:

— Надеюсь, вы об этом писать не будете? Дело, конечно, серьезное, и мы уделяем ему большое внимание, но стоит ли широкому читателю обо всем этом знать? Вот был у нас здесь один корреспондент, потом написал статью или очерк «В стране вулканов». Таких ужасов там написал, что волосы на голове шевелятся. Да еще фотографии всяких там извержений приложил. Кому это надо? Людей только отпугивать. Ты лучше о рыбе расскажи, о наших славных рыбаках, о четырех миллионах центнеров, которые мы обещали дать стране и дадим, — а он, видите ли, о всяких ужасах пишет. Кто ж к нам поедет?

Прав этот товарищ или нет? Боюсь, не очень, хотя о рыбе и рыбаках действительно надо рассказывать.

ЛЕОНИД ТИМОФЕЕВИЧ*)

Как-то так сложилась моя жизнь, что за всю войну я не познакомился ни с одним генералом, а после войны — ни с одним секретарем обкома. Впрочем, с одним из этих последних судьба меня все-таки свела в конце 1963 года, но обстановка и причина этого знакомства отнюдь не располагала к последующей дружбе.

С секретарем Петропавловского обкома Леонидом Тимофеевичем Ивановым мое знакомство произошло при обстоятельствах куда более приятных и простых. Ему не надо было рассматривать никакого дела, а мне давать объяснения, — я просто вошел к нему в кабинет и представился: интересуюсь, мол, Камчаткой и рассчитываю на помощь и содействие обкома. Он встал из-за стола — высокий, подтянутый, очень худой (я тогда, не зная причины этой худобы, приятно был поражен подтянутостью начальства), — протянул руку и сказал:

— Что в наших силах, сделаем. Чем в основном интересуетесь?

*) В журнале «Новый мир» № 12, 1965 г., этот очерк опубликован под заглавием «Алло, Ключи!». — Ред.

Я начал перечислять, чем интересуюсь: вулканами, гейзерами, рыбой, котиками, песцами, алеутами, эвенками, китами, новым строительством, пограничниками и опять-таки рыбой и рыбаками...

— М-да, — сказал он, — и всё это вы хотите за месяц? Аппетитец неплохой, ничего не скажешь... А теперь давайте по-деловому.

Так произошло наше знакомство — первое мое знакомство с секретарем обкома.

Должен сказать, что поначалу я думал ни к какому начальству не заходить — не хотелось, чтобы тебе создавали какие-то исключительные условия. Эти наивные рассуждения были тут же высмеяны моими камчатскими друзьями. Они долго смеялись надо мной. «Видали героя? Ты что, в Москву приехал или Ленинград? Сел в метро и покатил? Дайте мне билетик до Ключевской сопки, я на вулканы посмотреть хочу. Тут, брат, не Южный берег Крыма. Хрен ты тут за месяц увидишь. Слушайся нас. И вообще в конце концов это просто невежливо — приехать и даже не поздороваться».

Я сдался, пошел здороваться, и теперь только благодарен моим друзьям.

Путешествие по Камчатке — не туристская поездка. Комфортабельных автобусов с гидами тебе не подадут, билетов не покупают, номеров в гостинице не бронируют, стандартными обедами и завтраками не кормят. Передвигайся как знаешь: хочешь пароходом, хочешь самолетом — твое дело, а концы камчатские — досюда пятнадцать рублей, дотуда — тридцать... Одним словом, вылететь в трубу можно в течение двух-трех суток.

Знакомство с Леонидом Тимофеевичем сразу всё упростило. Перво-наперво он позвонил на радио, и моему другу, разъездному корреспонденту «по рыбе» Роману Райгородецкому — мы с ним еще по Киеву были знакомы, — сразу же дали двухнедельную командировку. Лучшего гида и спутника трудно было найти: парень он энергичный, *пробивной*, Камчатку знает и любит, везде полно друзей. Ко всему он великий мастер говорить по телефону, а искусство это не из самых простых, в камчатских условиях особенно. Камчатка — «великий телефонный полуостров». *Что бы мы там делали, не будь изобретен в свое время телефон и радио.* Расстояния громадные, дорог нет, самолеты летают нерегулярно (июнь месяц, аэродромы не везде просохли), пароходы тоже, то из-за шторма, то из-за льдов запаздывают. Вот тут-то и

выручал телефон или рация. *Великое все-таки изобретение.*

Дозвониться из Козыревска, допустим, до Петропавловска — дело нелегкое. То Ключи заняты, то Усть-Камчатск, то повреждение какое-то, то еще что-нибудь. Когда Роман брался за это дело, я знал — всё будет в порядке. Очень спокойно, уверенно заходил он то ли в райком, то ли к начальнику аэродрома, авторитетно представлялся: «Корреспондент камчатского радио», снимал трубку и не клал ее до тех пор, пока не добивался того, что ему надо было. *Говорить с телефонными барышнями не всякий умеет. Я, например, не умею, Роман же — великий специалист.* Я любовался им и подышал от зависти, слушая его негромкий, спокойный, категорически-убедительный, не терпящий возражений телефонный разговор. И начальник аэродрома почему-то не перебивал его, не раздражался, сидел и ждал, когда кончатся бесконечные его: «Алло, алло, Ключи, Ключи, дайте мне Ключи, весьма срочное дело...»

Кончалось всё, как правило, победой — оставляли койки в гостинице, давали транспорт, назначали встречи. *Отказать ему было невозможно, так убедительно и настойчиво он говорил.* Только когда на проводе был Леонид Тимофеевич, Роман передавал трубку мне. «Все-таки ты гость, тебе труднее отказать». Кстати, Леонид Тимофеевич никогда не отказывал, наоборот — сам предлагал. Когда, например, мы собирались отправиться из Козыревска дальше вверх по реке до Мильково, он через секретаря Усть-Камчатского райкома разыскал нас, и за сотни километров я услышал его голос:

— Если интересуетесь Командорами, завтра к двенадцати прибудьте в Петропавловск. В случае каких-либо неполадок с рейсовыми самолетами я дал указание, чтоб маленький АН-2 из Эссо захватил вас в Козыревске и доставил в Петропавловск.

Роман только иронически подмигнул:

— А? Приедешь в Киев, обязательно книжку ему пошли. Видал бы ты без него Командоры.

Судя по нашей литературе и кинофильмам, секретарь обкома должен обладать не менее чем десятком положительных качеств: быть энергичным, чутким, принципиальным, ну и так далее, разрешая себе только изредка, после утомительного дня, потереть область сердца и помечтать о рыбалке.

Насколько отвечает всем этим нелегким требованиям Леонид Тимофеевич Иванов, мне судить трудно, да и не очень имею я на это право — все-таки недостаточно близко знаком и в повседнев-

ной работе не видал, — но то, что он человек дела и слова, я это понял. И поговорить, как это у нас называется, с народом не прочь, что, как известно, тоже является одной из неотъемлемых черт хорошего секретаря обкома. Делает он это обстоятельно, не торопясь, останавливаясь на мелочах.

Я наблюдал за его беседами в поселке Никольском на острове Беринга *и откровенно скажу — мне было интересно.*

Как-то, много лет тому назад, у меня возник небольшой спор с одним очень известным писателем. Он упрекал меня в том, что я мало езжу по стране, плохо знаком с жизнью, народом, его успехами, достижениями. *Он предложил мне:*

— Давайте сядем в машину и поедem к Посмитному, Дубковецкому, к Олене Хобте. Увидите, как люди живут, трудятся.

Я согласился, но предложил заехать не только к Посмитному и Олене Хобте и путешествие совершить если и в машине, то хотя бы без лауреатских медалей.

— А почему без? — удивился именитый писатель. — Почему вы их стесняетесь? Это награда, ею гордятся.

В поездку мы не поехали. Я не очень об этом жалею. Даже совсем не жалею, так как вовсе не уверен, что такой способ «знакомства с жизнью» может принести кому-либо какую-либо пользу. Да и вообще в самом этом определении — «знакомство с жизнью» — есть что-то постыдное.

Ну, а секретарь обкома? В частности, камчатского? Как ему не отрываться, как говорится, от жизни? Заседаний и выступлений предостаточно. Телефонных звонков тоже. Область величинной с Францию, даже чуть больше ее. Дорог нет. Тайга, тундра, острова... Как за всем уследить, во всё вникнуть, разобраться в мелочах, не поддаться обману, без которого, увы, не везде еще у нас обходятся? Вопрос не простой. Гарун-аль-Рашидом на Командоры не приедешь и матросом на сейнер, чтоб с рабочего места, так сказать, на всё посмотреть, тоже не наймешься.

Мне кажется, Леонид Тимофеевич понял это. Заходил на звероферму или на строительство склада и говорил прямо:

— Здравствуйте. Я секретарь обкома Иванов. Есть какие-нибудь претензии и жалобы? Выкладывайте.

Тут начинали выкладывать. Претензий и жалоб всегда бывает много, особенно если учесть, что люди живут на острове, в двухстах километрах от материка. *И этого нет, и того нет, и костюмы прислали все одного размера, и водки привезли больше, чем закуски (на это жаловался, правда, секретарь парткома).*

Говорили прямо и открыто, ждали ответа. Леонид Тимофеевич отвечал, иногда переходил в контратаки. Это уже по части работы, ее качества, выполнения плана.

Не обходилось и без курьезов. Зашли в один из сарайчиков. Немолодая женщина в резиновом переднике готовит пищу для песцов — разделявает котиковые туши. Стасик Чекалин вытащил свой магнитофон, Юра Муравин — фотоаппарат.

— Ну, как с планом? — спросил Леонид Тимофеевич. — Выполняем?

Женщина несколько удивленно на него посмотрела.

— А Бог его знает...

— То есть как это — Бог его знает?

Женщина пожала плечами.

— Важно, чтоб песцы были сыты. У меня они сыты. А с планом — не знаю я никакого плана...

Повисла пауза. Стасик завозился с магнитофоном. *Секретари переглянулись.*

— А давно тут работаете?

— Давно-о-о... Не помню уже сколько. И когда отдыхала, тоже не помню.

— Это почему же? Отпуска, что ли, не дают? — Леонид Тимофеевич грозно посмотрел на директора зверофермы.

— А зачем он мне? Я и не просила. Надо же кому-то Ванек кормить... (На Командорах песцов зовут Ваньками.)

Все рассмеялись. Иванов погрозил директору зверофермы пальцем, затем спросил у кормилицы Ванек, хорошо ли работает на острове радио, та с готовностью сказала: «С этим-то у нас всё в порядке», и дальше пошло всё гладко...

На следующий день мы поехали на лежбище котиков. И тут я обнаружил еще одно качество у нашего секретаря обкома. Он оказался страстным кинолюбителем. Трудно сказать, сколько катушек он отснял — восемь, десять, двенадцать? — но то, что более подробного рассказа о забое котиков в мировой кинодокументалистике нет — в этом я уверен. Он был неутомим. Носился по всему берегу, взбирался на скалы, садился на корточки, влезал чуть ли не в самое стадо, аппарат его ни на минуту не умолкал. К сожалению, я не видел его фильма, но в нашем соревновании кинорепортеров (я тоже был с аппаратом), не глядя, признаю свое поражение.

Перед отъездом домой я зашел к Леониду Тимофеевичу попрощаться. Не очень длинный наш разговор раз восемь или де-

сять прерывал телефон. «Противная все-таки штука телефон, — подумал я, забыв, как он помог мне в путешествии, — удобная, но противная». Я ненавижу телефон. Только возьмешь книгу и ляжешь на диван — обязательно кто-нибудь позвонит. А вот Леонид Тимофеевич отвечает подробно, обстоятельно, не раздражается. *Удивительный человек...* Как-то я позвонил ему домой — секретарю обкома домой! Ответил детский голосок. «Можно Леонида Тимофеевича?» — попросил я. «Папа — тебя!» Невиданный случай! Даже у меня дома всегда спрашивают: «А кто говорит?» А тут: «Папа — тебя!»

Расстались мы друзьями. Вернувшись домой, я сразу же, как знак признания, выслал Леониду Тимофеевичу свою книгу. Ответа, увы, не получил. Но тут, как всегда, виновато, конечно, Министерство Связи. Плохо оно все-таки у нас работает.

И ВСЕ ЖЕ КАК-ТО ОБИДНО...

На большой, белый, красивый, весь обтекаемый теплоход, идущий из Олуторска в Петропавловск, пассажиров «грузят» с плашкоутов в так называемом «парашюте». Это скорее «авоська», а не парашют, но называется она «парашютом». Подымают вместе с грузом. Внизу ящики и мешки с почтой, сверху, цепляясь за канаты, люди. Лебедкой всё это подымают и выгружают на палубу.

Пока ты еще болтаешься в воздухе, с палубы тебе уже кричат:

— Водки нет! Водки нет!

— А места есть?

— Места есть. Давайте паспорта. — Их очень быстро и ловко отбирают, тут же пересчитывая всех нас.

— А водки нет, и не просите!

— Ну и черт с ней! — говорим мы, хотя совсем неплохо выпить бы сейчас по сто грамм.

Корабль сверкает чистотой. Всё блестит: ручки, поручни, лампочки, всякие там непонятные корабельные устройства. Каюты с занавесочками, душ, ванная. Мы тут же начинаем полоскаться, потом вытягиваемся под прохладными простынями. Сразу же засыпаем, не читая даже. Спим. Очень приятно.

Назавтра — разочарование:

— Можно попросить ключ от каюты, вчера нам не дали.

— А я тут при чем? У коридорной спрашивайте.

— А где она?

— Почему я знаю?

— Кто же знает?

— А я что, за всех отвечать должна? Ищите.

Ищем. Не находим. Идем на палубу.

— Куда претесь? Видите, уборка идет.

— Мы не премся, а идем. На палубу.

— Нельзя туда.

— Почему?

— Нельзя — и всё. Русским языком сказано... Шляются тут всякие, делать им нечего...

Делать нам действительно нечего, поэтому и идем на палубу. Попадаем в конце концов. Пристроились у борта, покуриваем, смотрим на проплывающие льдины. Красиво.

С капитанского мостика:

— Эй вы там! Раскурились. Делать вам нечего. Бросьте сейчас же! Оглохли, что ли?

На море не хочется уже смотреть. Оно даже красивым не кажется. Выпить, что ли, по чашке кофе? Идем в буфет. Он закрыт.

— Когда откроется?

— Когда, когда... Когда откроется, тогда и откроется. Видите, переучет идет...

С горя идем в свою каюту.

— Ну куда, куда вы лезете? Видите, уборка идет...

— А, ч-черт, пошли к капитану!

Вид у нас непрезентабельный — свитера, куртки, сапоги. Раз пять нам говорят: «Куда вы претесь?», но мы всё же пробиваемся к капитану.

Красивый, немолодой уже грузин.

— Ну, чего вам надо?

Говорим, что хотим с ним поговорить.

— О чем? Видите, я занят.

Мы этого не видим, поэтому настаиваем.

— Ну, давайте. Только покороче.

В самом сжатом виде говорим о том, как нам обидно за этот теплоход. Такой он красивый, чистый, удобный, а хочется поскорей с него уйти — чувствуешь себя каким-то преступником, все на тебя кричат, смотрят, как на врага.

Капитан настораживается:

— А вы кто такие?

— Никто. Пассажиры.

Капитан еще больше настораживается:

— А кто на вас кричал? Скажите фамилии.

— Дело не в фамилиях, а в общем духе на корабле. Обидно как-то... Вот об этом нам и хотелось сказать вам.

Капитан перестает вдруг быть капитаном.

— Эх, ребята, знали бы вы, как все это тяжело... Ох, как тяжело... Вот везли сейчас, например, партию вербованных в Олюторск. В полчаса всю водку разобрали, загадили, запаскудили всё. Потом в каюту ко мне стали рваться: «Давай водку! У тебя спрятана!» Легли у дверей. «Не уйдем, пока не дашь!» Ну как тут волком не станешь. Иной раз сам себя ненавидеть начинаешь... Потом в Олюторске. Со всех сторон шлюпки, катера, ботики: «Водку! Водку! Водку!» А где она у меня, эта водка? Целый день последствия ее с палубы, с коридоров смывали... А вы говорите, ребята... Тяжело, очень тяжело... Не черноморская экспрессная линия, нет, ох как нет...

Появившийся к концу разговора молоденький помощник капитана в красивой плоской фуражке с крабом, тот самый, что кричал на нас за курение, говорит в тон капитану:

— Что тут скажешь — год на этом корабле служу, а лет на десять постарел...

Мы выслушиваем жалобы еще минут пять, потом прощаемся и уходим.

Что тут действительно скажешь. Не черноморская экспрессная линия... Я понимаю капитана, понимаю и его помощника, и всё же как-то обидно.

Из своих красивых, уютных, с душем кают мы выбрались в Усть-Камчатске без особого сожаления...

ПРАВИЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ

Недавно пришло письмо от Толи Побеленко. В нем он пишет:

«Дела в колхозе идут успешно — на сегодняшний день выловлено 273 тысячи центнеров рыбы при плане 344. Наш СРТР-400*) «Керчь» на днях побил всесоюзный рекорд — 32 тысячи центнеров, обязуется за год выловить 40 тысяч.

*) СРТР — траулер-рефрижератор. — В. Н.

У меня тоже есть успехи. Экзамены в институт сдал, зачислен на вечернее отделение (спец. — судовые силовые установки). На катере уже не работаю, в связи с экзаменами меня перевели на судоремонт. Коротко — всё. Приезжайте на Камчатку, тем для работы у вас будет достаточно. Толик П. 8.9.64

Р. Ш. Экстренное сообщение — только что передали по радио: БМРТ*) «Амгу» побил мировой рекорд по вылову рыбы БМРТ «Хинган». Рекорд «Хингана» — 110 тыс. центнеров за год — «Амгу» выполнила за восемь месяцев и неделю. Обязуются дать 130 тысяч.

Да здравствуют рекордсмены!»

Если б я не знал Толи Побеленко, я, конечно же, решил бы, что это «организованный» какой-нибудь редакцией материал.

А вот и нет. Письмо пришло не в газету по заказу зав. промышленным отделом, а ко мне, в конверте с маркой, из Петропавловска-на-Камчатке.

Толя Побеленко — колхозник. Член рыболовецкого колхоза имени Ленина — самого большого на Камчатке. Лет ему двадцать пять. Когда я с ним познакомился, он был простым матросом на аварийном катере «Ведущий». Сейчас, как видите, он уже студент.

С колхозом этим у меня произошел конфуз. Вернее, у колхоза за со мной и моим приятелем Яном Вассерманом.

Поначалу всё шло честь честью. Мы пришли к председателю колхоза товарищу Старицыну и не меньше часа просидели в его большом кабинете за столом в виде буквы «Т». О колхозе этом, выполняющем и перевыполняющем план, писали и пишут очень много, а о председателе его в обкоме мне было сказано: «Интереснейший человек! Хоть роман о нем пиши». Как там насчет романа — не знаю, может быть, кто-нибудь и напишет, даже наверное напишут, но то, что человек он толковый и дело у себя в колхозе поставил на широкую ногу — это действительно так. Приведу один только пример: рядовой рыбак-колхозник зарабатывает в месяц в среднем 400 рублей *новыми деньгами*. Пожалуй, ни один из знакомых мне инженеров или архитекторов столько не зарабатывает.

К концу разговора мы с Яном попросили разрешения выйти с рыбаками в море. Старицын охотно согласился, и решено было,

*) БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер. — В. Н.

что мы выйдем в море на РС — рыболовном сейнере, капитаном которого был Герой Социалистического Труда, фамилию которого я забыл по той простой причине, что познакомиться с ним мне так и не удалось. А не удалось потому, что на сейнер доставить нас должен был аварийный катер «Ведущий», а катер этот, отвалив от пирса и не дойдя даже до выхода из Авачинской губы, сел на мель.

Так и просидели мы на мели с шести утра до восьми вечера.

Не могу сказать, чтобы это был самый веселый день в моей жизни. Ян, развалившись на койке, углубился в какой-то толстенный роман без начала и конца, я же, как на грех, забыл в номере гостиницы очки, в шахматы играть не умею, поэтому вынужден был целый день маяться и предаваться болтовне, причем болтовне, увы, ничем не подкрепленной, — шлюпки на катере не было, а безрезультатно пытавшийся снять нас с мели буксир ушел в море. Так и проболтались мы на сухую четырнадцать часов, с тоской поглядывая на белевший у пирса рыбкооп.

Наевшись ухи, все завалились спать. Катер буквально сотрясало от храпа четырех здоровенных глоток. Мы же с Толей Побеленко предались элементарному «трёпу».

Жизнь Толя прожил еще не большую, особенно интересного рассказывать ему было нечего, и всё же для меня он остался неким эталоном современного камчатского молодого человека.

Считается почему-то, что на Камчатке зверски пьют. Чепуха! Не буду утверждать, что рыбаки такие уж трезвенники или ограничиваются поллитровкой на двоих — после трех-четырех месяцев в море какие-то положенные нормы нарушаются, но в целом Петропавловск, например, по части «выпить» мало чем отличается от Одессы или Новороссийска, не говоря уже о Москве, от которой он определенно отстаёт.

Толя Побеленко тоже не трезвенник; он это доказал к концу дня, смотавшись на подвернувшейся шлюпке в тот самый белевший у пирса рыбкооп. Но особенной тяги к этому делу у него я не заметил. Возможно, есть другие какие-нибудь слабости, я их тоже не обнаружил, а вот то, что он парень думающий, это я понял сразу.

Чем объясняется то, что с одними людьми интересно, а с другими нет? Несколько лет тому назад я ездил за границу с одним очень известным академиком. Его знают во всем мире, книги его переведены на множество языков. И вид у него вальяжный — борода клинышком, галстук-бабочка, походка царственная. А

вот начнет говорить — и сразу тоска нападает: так всё плоско, неинтересно, банально, столько раз уже слышано.

Толик *никаких академий не кончал*, а мне с ним было интересно и весело. Бойкий, живой, всем интересующийся. И работает он весело — приятно смотреть. Раз-два — помыл палубу, почистил рыбу, сварил уху. И всё это с шуткой, с улыбкой, с юмором. Ничего придуманного, напускного. И в письме его, с которого я начал, тоже всё не придумано — его действительно радуют успехи БМРТ «Амгу». Он неплохо зарабатывает — сто шестьдесят пять рублей в месяц. Работу свою не презирает — нет, ничуть, — но хочется ему быть инженером. И будет им, хотя на первых порах после окончания института зарабатывать будет в два раза меньше.

— Вообще-то пацаном я был несерьезным, — говорил мне Толик. — Учиться особенно не хотел. Кончил десятилетку в Омске, потом техническое училище — и пошел работать. На завод наладчиком. Хватит, решил, с учебой, ну ее. В пятьдесят девятом призвали в армию, на Камчатку. Вот тут уж до меня дошло то, чего не мог уразуметь раньше. Притом понятие вошло не через голову, а через руки. Часть была отличной, а в округе занимала вторые-третьи места. А вы знаете, в лучшей части больше и спрашивают. Одним словом, стал человеком, задвигал вдруг мозгами. Вначале всё о доме думал. Отслужу — и домой. А как-то, помню, был в наряде — был уже август шестьдесят второго года, — всю ночь не спал, засела мысль в голове: а что, если не поеду домой, останусь здесь? Подработаю малость и учиться пойду. Вот так, в одну ночь решил... После смены пошел к командиру роты и попросил увольнительную для трудоустройства. Дома решили, что пошутит. Поверили, лишь когда прислал письмо после демобилизации. Ну, потом пошел в колхоз Ленина. Сразу работал на судоремонте. Потом на сейнере «Пржевальск». Сходил на нем на зимнюю путину на западное побережье, летом в Олюторку на селедку. Съездил в отпуск, друзей повидал, родных. Сейчас знаю, что поступил правильно. Мама, конечно, тревожится, старенькая она уже, шестьдесят пять лет, пенсионерка. Убеждаю как могу, чтоб не волновалась... А в общем, поступил правильно, вижу, что правильно...

Рассказ его приведен почти дословно. Мне самому он невольно напоминает газетную статью. Всё как-то очень уж гладко, без сучка и задоринки. Но что поделаешь, если это действительно так. Да, Толик Побеленко — правильный парень. Очень даже пра-

вильный. Не зануда, не болтун, не хвастун, а просто веселый, жизнерадостный и очень правильный парень. Дай Бог ему всю жизнь быть таким.

А ЭТОТ?*)

Того, другого парня я встретил в Москве, на Красной площади, в день, когда в газетах сообщили о выносе тела Сталина из мавзолея.

Вокруг мавзолея толпились люди. Человек триста, четыреста, а может, и больше. Сталина в мавзолее уже не было, но слово «Сталин» над входом еще долго после этого охранялось двумя застывшими часовыми.

Я шел по Никольской и, увидев толпу (не привычную очередь, а именно толпу), подошел к мавзолею.

Кто были эти люди? Зачем сюда пришли? Посмотреть, как будут выносить гроб? Посмотреть на мертвого Сталина? В марте пятьдесят третьего года миллионы людей тоже хотели посмотреть на мертвого Сталина. Но тогда это было нечто вроде массового психоза. Люди рвались, топча друг друга, к Колонному залу: одни, чтобы попрощаться с любимым вождем, другие, чтоб собственными глазами убедиться, что тиран мертв, увидеть его в гробу.

Сейчас люди просто стояли у мавзолея и не расходились. Говорили. Не громко и очень убежденно. О Сталине. О себе. О прошлом. О будущем. О мертвых. О живых... Одни возмущались, что Сталина вынесли. Другие говорили, что вообще не надо было класть его рядом с Лениным. Часовые молча стояли, глядя прямо перед собой — один в сторону Василия Блаженного, другой — Исторического музея. Они всё слышали, но стояли не шелохнувшись, думая, очевидно, о том же, о чем говорили в толпе.

И тут я увидел этого паренька. Худенький, бледный, с горящими злыми глазами, какой-то весь напряженно одухотворенный, неземной, он стоял в окружении людей старше его по возрасту и говорил очень спокойно, медленно, точно взвешивая каждое слово.

— Мы вам не верим. Ни одному слову не верим. Всем, кому больше тридцати лет, мы, двадцатилетние, не верим. У вас,

*) В журнале «Новый мир» № 12, 1965 г., этот очерк целиком выпущен. — Ред.

возможно, и есть заслуги, вы неплохо воевали, а мы не воевали вовсе и войны не знаем, но и это вас не оправдывает. Вы хорошо воевали, потому что перед вами был враг, который хотел вас убить и покорить. Теперь такого врага с наведенным на вас автоматом нет. Теперь вы сами себе враги. Сами себе, так как сами себя обманываете. И нас обманываете. Всех обманываете.

— Какое право ты имеешь так говорить, ты, щенок, — обиделся кто-то из толпы, — ты и жизни-то не видел.

— Кое-что уже увидел, поверьте мне. Своего отца видел. Он считает себя порядочным человеком и действительно никого не убил, ни на кого не донес. Но всю жизнь он лгал. Лгал мне, моим товарищам, маме, себе. Лгал, когда восхвалял Сталина, когда о тридцать седьмом годе говорил: «лес рубят, щепки летят», лжет и сейчас, когда о Сталине говорит: «убийца миллионов», а о себе — что всю жизнь вынужден был молчать, хотя хотелось кричать. Ложь всё это! Никогда он кричать не хотел — ни тогда, ни сейчас...

Всё это говорилось медленно, с паузами, без всякой экзальтации, с упрямством человека, которого ни в чем не убедишь.

Его перебивали, задавали вопросы. Он упрямо повторял:

— Не убеждайте меня, что вы хорошие. Я вам не верю. Вы сами меня к этому приучили. Я еще молод, мне двадцать лет, я студент и буду математиком, но мне важнее быть человеком. И я им буду. И сделаю всё, чтоб вам противостоять — всем, кому больше тридцати лет и кто остался жив.

Его никто не поддерживал. Вокруг стояли люди старше его, разные люди — за Сталина, против Сталина. Но все без исключения были против него, против этого молодого человека.

— Ну хорошо, ты нас, стариков, осуждаешь, — сказал кто-то из наиболее миролюбивых. — А вы, двадцатилетние, какова же ваша положительная программа?

Парень прямо посмотрел в глаза спрашивающего и сказал:

— Ее пока нету... И в этом вы тоже виноваты.

...С тех пор прошло три года, но я до сих пор слышу его голос, вижу его злые черные ненавидящие глаза.

Не скрою, меня покорила тогда его прямота и искренность. И в то же время мне было страшно за него, за этого двадцатилетнего юношу, переполненного до отказа злобой и ненавистью. Я до сих пор, как на экране, вижу его худое бледное красивое лицо с высоким лбом, но тщетно пытаюсь представить его себе улыбающимся, смеющимся, радостным.

Когда он говорил там, на Красной площади, у мавзолея Ленина страшные слова о нашем поколении, я не мог крикнуть ему: «Ложь! Неправда!» И не потому, что место для таких дискуссий, на мой взгляд, не подходящее, а потому, что парень в чем-то был прав, когда заговорил вдруг о своем отце, очевидно, моем ровеснике. Трудно верить в наше, в мое поколение, когда имеешь такого отца. А их много, таких отцов, увы, и сейчас еще много. И они вовсе не лжецы — ложь только следствие, они просто трусы. И трусы самые страшные — трусы мирного времени, трусы благополучия. Я их так же ненавижу!

Да, отец этого юноши — мой ровесник. Мы с ним в одно время в начале века родились, в одно время росли, в одно время и тому же самому учились, вместе пережили годы великого героизма, горя и обмана. Должен ли я нести за него, за этого отца, ответственность? Должен ли принимать на свой счет слова презрения его сына?

Вряд ли я когда-нибудь с этим юношей встречусь — нас разъединила всё увеличивавшаяся толпа, и больше я его не видел, но если б встретился, я б рассказал ему о поколении старше тридцати и оставшихся в живых.

Моей матери чуть больше тридцати — ей восемьдесят пять. За всю свою нелегкую жизнь она ни разу не солгала. Ни мне, ни себе, ни Богу, если б Он только существовал. Моей тетке, ее сестре, на год меньше. Она тоже ни разу не сказала ни слова неправды. У нее не самый легкий характер, и друзьям ее, политэмигрантам и старым большевикам, с ней было ох как не легко, но они любили и уважали ее, и именно потому, что она говорила, что думала, прямо в лицо. Даже Крупской, с которой работала. В самые тяжелые годы. И мемуары ее правдивы во всем. Не ее вина, что они вышли с тридцатилетним запозданием... Я знаю семидесятилетнего писателя, который ни в творчестве своем, ни в жизни не сказал ни одного слова лжи, и все соприкасающиеся с ним становятся чище и светлее. Знаю писателей и помоложе — от тридцати до сорока, которые тоже не врут, а было время, когда без этого писать было трудно. Трех из них зовут Владимирами, и строгий юноша безусловно их читал... Мой друг, разведчик, товарищ по Сталинграду — ему сейчас за сорок — один из самых честных ребят, которых я знаю, хотя в свое время он был и вором, и драчуном, и вообще не самым благопристойным человеком. Да, был, а вот бесчестным и лжецом его не назовешь... И еще много, много таких людей я знаю.

Но я знаю и других — двадцати-двадцатипятилетних прой-

дох, проходимцев, трусов и приспособленцев, которые ни мать, ни отца не пожалеют. И у которых в карманах комсомольские, а то и партийные билеты. И их совсем немало — самодовольных, пробивных, кузнецов СВОЕГО счастья...

Парень с Красной площади, к счастью, не таков, и жизнь у него сложится, я знаю, нелегко — таков уж удел всех прямых и честных людей, но мне бы очень хотелось, чтоб у него, у этого парня, кроме ненависти и презрения ко всему дурному, на лице появилась еще и улыбка, веселая и юная, как у Толи Побеленко.

Ну а Толе? Может, и Толе надо позаимствовать что-то у этого парня? Вероятно, да. Но только не склонности к поспешным обобщениям. Обобщение — вещь опасная, она часто бьет как бумеранг.

«З Е М Л Я Н К А»*)

Всё начинается в зоопарке. Совершенно случайно маленький ребенок попадает в клетку к белым медведям. Паника. Все потеряны. У решетки — девушка и молодой человек с фотоаппаратом. Тоже не знают, что делать. Внезапно в клетку, вернее в огороженный решеткой ров, где живут медведи, прыгает человек. Он спасает ребенка. Все ликуют. В поднявшейся суматохе спаситель — вид у него совсем не героический, очки и вообще вахлак вахлаком — хочет улизнуть на велосипеде. Но его замечает девушка, та самая, что была с молодым человеком. Слово за слово, и они оказываются у девушки дома. Парень дико застенчив. Выпив чего-то спиртного, становится смелее. Но тут в комнату заливается веселая компания молодежи: «Где спаситель? Мы хотим на него посмотреть. Он здесь, мы знаем». Но спаситель уже скис. «Расскажите о своем геройском поступке», — просят его, а он не может, не знает, что рассказывать, его развезло. А молодежи весело. Затевают игру, что-то вроде жмурок. Спасителю завязывают глаза, он неуклюже тычется среди веселой, хохочущей молодежи и вдруг остановился. Поднял руки вверх. Застыл. Пауза. Все насторожились. И спаситель вдруг начинает говорить...

Вот так же были завязаны глаза и такой же вокруг был шум, крик. И его толкают автоматом в спину. И так же он останавливается у стенки с поднятыми руками... Это было давно. В Варшаве. В 1944 году. Он говорит, говорит, но его уже не слушают. Гос-

*) В журнале «Новый мир» № 12, 1965 г., этот очерк целиком выпущен.

поди, опять о войне? Сколько можно рассказывать о войне! Молодежь хочет веселиться... Хватит воспоминаний.

Кончается все очень грустно. К девушке возвращается ее друг с фотоаппаратом, тот самый, что растерялся у клетки с медведями, а парень в очках уезжает на своем велосипеде. Через какие-то пустыри, заснеженные огороды, остатки развалин... Конеч... В зале вспыхивает свет.

Толкаясь в проходах в фойе, на лестнице Дома кино, у гардероба, долго еще спорят об этой маленькой киноновелле Анджея Вайды, последней из пяти, входящих в фильм «Любовь двадцатилетних». О первых четырех говорят — нравятся или не нравятся, об этой же спорят.

Больше всех горячится Генка, мой друг.

— Неправда! Выдумка! Чистейшей воды выдумка. Нарочито от начала до конца. Неправда. Никогда не соглашусь.

Генке двадцать пять лет. В картине он видит только выпад по адресу своего поколения. Оно не такое. Он не знает, как там, в Польше, но у нас оно не такое. Да, они не принимали участия в войне, но для них всё связанное с нею так же свято, как и для нас. Анджей Вайда, конечно, очень талантливый режиссер, может быть, один из самых талантливых сейчас, но картина явно тенденциозная, чтоб не сказать клеветническая.

Мне почему-то не хочется спорить. Генка убеждает куда-нибудь пойти, но и идти никуда не хочется. Я спускаюсь в гардероб, стараясь, чтоб никто из знакомых не попался мне навстречу, одеваюсь и медленно бреду по Васильевской в сторону улицы Горького.

Передо мной лицо Цибульского, актера, игравшего спасителя в очках. Напряженное, растерянное, застывшее. И с трудом выдавливаемые слова. И взгляд куда-то внутрь, в прошлое. А кругом веселые ребята — им хочется петь, танцевать, валять дурака, им по двадцать лет, им весело...

Моросит дождик. В какой-то хронике военных лет я видел, как по этой самой улице Горького, по которой я сейчас иду, цепляясь за тросы, «вели» раздувшийся аэростат противовоздушной защиты. Сейчас машины, такси, троллейбусы. Горят рекламы на домах...

Неужели действительно надоело, забылось то время? Неужели Вайда прав?

Генка говорит — нет! Он возмущен. Но Генке не двадцать, ему двадцать пять, а может быть, и все двадцать семь. Семь лет

— большая разница. К концу войны ему было десять лет, а двадцатилетним — три... Генка смутно, но помнит еще бомбежки, немецких пленных, играл в развалинах, подбирал патроны, гранаты — для него война это тоже кусочек жизни. Для двадцатилетних — только рассказы взрослых, прочитанное в книгах, увиденное в кино.

И всё же...

Для чего же мы тогда пишем книги, ставим кинофильмы? Только для себя? Или, может, в книгах и фильмах молодежь интересуется только героическое? А тяжелое, страшное отвергает? А может, вообще двадцати годам свойственно больше думать о будущем, чем о прошлом? Для меня, моего поколения война была самым важным в жизни, для них самое важное — дай Бог не война! — еще впереди... О чем думал я, когда мне было двадцать лет? Начало тридцатых годов, не самые легкие годы: коллективизация, голод, первые карточки, пайки. А я мечтал стать великим архитектором, советским Корбюзье. Все впереди...

И всё же Генка прав! Я хочу, чтоб он был прав. Вайда слишком сгустил, обострил, уплотнил. Он дьявольски талантлив, он может убедить. А я сопротивляюсь, я не хочу этому верить. Я понимаю, что...

— Алло! Стой! Тормози!

Такси. Со скрежетом останавливается возле меня. Из раскрытой дверцы знакомые голоса.

— Куда? И вид почему грустный? Давайте с нами. Места хватит. Подвигайся, ребята...

Таксист слегка сопротивляется, но его уламывают — «расхodu берем на себя». Сажусь на чьи-то колени.

Только что кончилась премьера. Как говорится, прошла с успехом. Хотели поехать в ВТО, да там народу слишком много. Да и вообще в ресторан не хочется. Решили ехать к Мише. И вот видим — идет какая-то понурая фигура. Ну как не посочувствовать?

Все веселы, оживлены. И мне становится веселее. Я не огорчен, что меня подобрали.

Бывают такие вечера — увы, теперь уже не часто, — когда действительно всё весело. Весело ловить такси, спускаться по эскалатору, вскакивать на ходу в битком набитый троллейбус, подсчитывать в «гастрономе» деньги, выбивать чеки, получать у хорошенькой (ей-Богу же, хорошенькой) продавщицы колбасу, сыр, ну и еще там кое-чего... Всё как-то ладно и хорошо.

Такой вечер и сегодня. Таксист не молодой, но приветливый — охотно ждет у магазинов, не ворчит. У Елисеева обнаруживается таллинская килька и польская «Выборова». Милиционер, когда мы проехали под «кирпичом», только погрозил пальцем. Улица Горького уже не кажется мне самодовольной и всё забывшей. И дождь ей даже к лицу — всё отражается, блестит, делает ее еще более городской, современной. А главное, Мишина жена нисколько не огорчена нашим поздним приходом. Мило, приветливо улыбается.

Ах, как быстро и весело накрывается стол. Это сюда, это туда. Ты — бутылки, ты — консервы. Картошку? Можно и картошку, если не долго. Нарзан в холодильнике — тащи его... Даже селедка очищенная есть — ура! Да здравствует семейная жизнь!

До чего же все-таки хороши такие случайные встречи. Без всяких приглашений, уславливаний, подготовок. Не томишься в соседней комнате, пока хозяева накроют на стол. Не ждешь кого-то опоздавшего. Не слоняешься вдоль стен, разглядывая картины и фотографии, не листаешь книг, не ведешь серьезного разговора с пожилыми родителями о повышенном давлении, неустойчивой погоде, чьем-то инфаркте...

Всё кажется удивительно вкусным. И колбаса, и сыр, и хлеб, такой свежий. И водка почему-то не берет — все веселы, но не больше. Иногда только хозяин скажет: «Тише, там же спят», — и все в течение полутора минут говорят шепотом, а потом опять...

Нас шестеро. Кроме меня, все актеры. Молодые актеры. К тому же талантливые. И умные. Нет, не потому, что мне вдруг стало всё нравиться, а потому, что действительно молодые, талантливые, умные. И ничего из себя не корчат, не разглагольствуют. Троем из пяти я гожусь в отцы, но сейчас я чувствую себя их ровесником. Мне кажется, что я тоже вместе с ними только что отыграл премьеру и что совсем недавно, а не двадцать пять лет назад, я окончил театральную студию и меня так же интересует и волнует пьеса, которую они только что поставили, а их — судьба небольшой моей повести, которая недавно вышла в свет. Всё у нас общее: интересы, стремления, надежды, взгляды на то, на это. Да, как жаль, что я не умею писать пьес, а то сидел бы с ними на репетициях, спорил бы, доказывал, сомневался. Пусть даже ссорился, а потом мирился бы и с трепетом сидел бы рядом на генералке, кусая ногти.

Стол пустеет. Со стены снимается гитара. Один из гостей, постарше, мастер петь песенки. Он знает их много — фронтовые,

блатные, конечно, Окуджаву. Голоса у него нет, но поет хорошо. Мы подтягиваем.

Светает. Но домой не хочется. Спать? Кому хочется сейчас спать?

Троим из пятерых я гожусь в отцы... Чепуха! Мне тоже двадцать пять лет! Не больше. Я тоже пою, острою, валяю дурака. И никто надо мной не смеется. Я свой среди своих. Мы все равны. Нас ничто не разделяет...

Гитарист запел вдруг «Землянку». От нее мне всегда становится как-то не по себе, начинает что-то шевелиться, вспоминаться, становится грустно.

— А вы знаете, Николай ведь тоже в Сталинграде воевал.

— В Сталинграде? Вот это да... Где? У кого? В 92-й бригаде? Батюшки, соседи. Даже более чем соседи — в декабре нас передвинули правее и 92-я заняла наши позиции на Мамаевом... Забавно. Может, Николай в моей землянке даже жил... Ничего не поделаешь, придется выпить.

Из бутылок сцеживают последние остатки. Чокаемся. За 92-ю, за нашу 289-ю... Пошли! Да, были денечки...

Я ставлю рюмку на стол и...

Почему в комнате такая тишина? Почему все вдруг умолкли? Сидят и очень вежливо смотрят на нас с Николаем. Молчат.

— Может, рассказали бы нам что-нибудь о Сталинграде? — прерывает кто-то молчание. И в этом вопросе, в этой просьбе столько внимания, столько предупредительности.

— Серьезно, расскажите чего-нибудь...

Я смотрю на Николая. Он откладывает гитару.

— Что ж. Ладно. Можно и рассказать.

Он вынимает папиросу, медленно раскручивает ее и, закулив, начинает со слов: «Было это, как сейчас помню, в ноябре сорок второго года».

Он говорит, а я смотрю на лица. На них внимание, одно внимание, сплошное внимание. Как будто никто ни грамма не выпил.

Николай безжалостен... Немцы на них насаждают, а патроны кончаются, и пулемет заело, и один за другим все гибнут вокруг него, остался один только связной. И вот он говорит ему, обливаясь кровью:

— Миша, друг, пока не поздно... Вся надежда на тебя... Пока немцы подтягиваются, сбегай-ка на кухню, там, в холодильнике, я видел — недопитая поллитровка стоит... Не жмись, тащи-ка ее сюда...

Николай не ошибся. В холодильнике действительно кое-что нашлось — для компресса ребенку, как было сказано, — и опять всё становится на свое место, опять весело, шумно, опять бластные песенки, опять шутки, остроты, анекдоты. И мне тоже весело. Очень даже...

Расстаемся поздно. Вернее рано, часов около пяти, на улице совсем уже светло. Расстаемся друзьями. Двое из троих, которым я гожусь в отцы, едут со мной в такси. Славные, хорошие ребята. Если сложить их возраст, получится как раз мой.

У Маяковской мы прощаемся. Ребята чуть-чуть смущены. А может, это мне только кажется. Нет, я ни на кого не в обиде, просто мне немного жаль, что Николай запел «Землянку»...

БЛАГОДАРНОСТЬ МИНИСТРУ

Посылаю на Камчатку яблоки. Большие, красивые, одно к одному, не очень спелые, чтоб по дороге не испортились. Дома нашелся большой, десятикилограммовый ящик с дырочками (в свое время посылал фрукты из Крыма), и, взвалив его на плечо, иду в соседнее почтовое отделение.

Народу, слава Богу, не много. Перекладываю яблоки скомканными газетами, чтоб не болтались, заполняю бланк и иду к старушке, которая упаковывает яблоки.

— Э-э, сынок, на Камчатку фрукты не принимаются.

— То-есть как это не принимаются?

— Не принимаются. Не разрешено.

— Ничего не понимаю.

— Я тоже, — улыбается старушка. — Но не я придумала.

Я требую, чтобы мне объяснили, на каком основании. Старушка отсылает меня во-он к тому мужчине, заведующему.

Иду к тому мужчине.

— Не разрешается. На Камчатку, Сахалин, Магадан, Красноярский край посылки с фруктами не принимаются. Приказ министра.

— А в Ялту, в Сочи можно?

— В Ялту и Сочи можно, — без тени улыбки отвечает мужчина.

Возвращаюсь взбешенный к старушке. Хотелось порадовать друзей с Командоров, а тут тащи десять килограммов назад, домой. Идиотство!

Старушка загадочно наклоняется ко мне:

— А ты знаешь что, сынок, сделай? Переложи в ящик без дырочек — и всё. Кто там узнает, что у тебя внутри?

Милая старушка. Только сейчас замечаю, какое у нее симпатичное, доброе лицо.

— А еще лучше положи туда хвостик хрену. Или головку чеснока. Микробы убивает.

Ну до чего же милая старушка!

Я перегружаю яблоки в ящик без дырочек, старушка очень старательно забивает крышку. У нее это очень красиво и ловко получается.

— Артистку Тевелеву знаешь, певицу? Два раза в месяц посылочки сыну посылает. Он там, на этих самых Командорах. И всегда доходят. За неделю доходят. А то и за четыре-три дня, как там с самолетами удастся. Только следующий раз обязательно хрену положи. Теперь вон в то окошко...

Я пытаюсь ей что-то сунуть.

— Что ты, что ты, сынок, не надо...

— Это за то, — говорю, — что гвоздей не жалели.

— А чего их жалеть? Посылка-то далеко идет, кому-то радость доставит. Чего же их жалеть.

Весь день после этого у меня был какой-то веселый, светлый.

Спасибо министру. Не издай он того приказа, я бы через две минуты забыл о существовании старушки.

ЦАРИЦЫ САВСКИЕ И ЖАН МАРЕ

«... И тут увидел девушку всю в рыжем — тонкий коричневый свитер, темно-каштановые брючки, и волосы рыжей волной, и притушенное потемками лицо...

...А вон та, с льняными волосами, без выдумок собранными копной на затылке, — свитер у нее черный, а брючки тоже черные, в тон льняным волосам желтенькие туфли на полукаблуке... есть в ней что-то змеино-гибкое, что-то от женщин, привыкших повелевать и властвовать...

... Еще издали я увидел девушку в алой майке и синих рейтузах... Я прошел мимо девушки, такой жгучей, как огонь, и колюче-гибкой, как рапира...»

Как вы думаете, а о ком это идет речь? Кто эти змеино-колюче-гибкие девушки, привыкшие повелевать и властвовать? И где всё это происходит? В Монте-Карло? Майами? Или в ресторане «Арагви»? Одна из них к тому же любит Альфреда Мюссе,

другая прекрасна, как царица Савская, как Клеопатра, Земфира... Кто они такие?

Не удивляйтесь — это работницы рыбозавода. И никакое это не Монте-Карло, а остров Шикотан, Южные Курилы... Вот так-то, Южные Курилы...

Спешу оговориться, сам я на острове Шикотан не был и с гибкими, как рапира, девушками познакомился в повести одного нашего писателя, напечатанной в журнале «Молодая гвардия» в конце шестьдесят третьего года. Прочитай я эту повесть до своей поездки на Камчатку — я обязательно сделал бы на обратном пути крюк и побывал бы на Южных Курилах: все-таки нечасто попадают на рыбозаводе царицы Савские, увлекающиеся Альфредом Мюссе.

Те, которых я видел не на Курилах, правда, а на Камчатке, выглядели не слишком царственно. На них были грубые, топорщащиеся робы, резиновые фартуки, с ног до головы они были в рыбьей чешуе, руки красные, *грубые*, головы обмотаны платками. А кругом рыба, рыба, рыба... Отбирай ее, проталкивай по конвейеру, режь, опять отбирай, упаковывай в банки, заливай маслом, наклеивай на коробки этикетки... *Одна из девушек переправляла на каждой этикетке цифру 450 г. на 400 г...*

Я смотрел на этих здоровых, крепких девушек с медными лицами, в своих робах и сапогах больше похожих на парней, и *очень мне хотелось спросить*, как относятся они к своему нелегкому труду.

Спросить я постеснялся, но ответ получил. Получил от одной из шикотанских Клеопатр, укладчицы рыбы, по имени Муза. «Какое уж тут, с позволения сказать, творчество! — ответила она герою упомянутой выше повести, оказавшемуся менее стеснительным, чем я. — Но эта механическая работенка дает мне ту лишнюю копейку, за которую можно даже в четвертый раз сходить на «Девять дней одного года», посмотреть Смоктуновского».

Я не уверен, что Муза предпочитает Смоктуновского Жану Маре (об этом дальше), как и в том, что она ходит в узеньких брючках, но то, что она больше любит ходить в кино, чем укладывать рыбу, — этому я верю. И не вижу ничего в этом зазорного. *Наоборот, вполне понятно.*

И вот за эту-то прорвавшуюся вдруг в повести правду автору ее и досталось. «Работа для его героинь, — прочел я как-то в «Литгазете», — остается еще механической, отупляющей, не вызывающей в них никаких творческих импульсов... А как сде-

лать так, чтобы работа была не добыванием средств к жизни, а самой жизнью, полной, радостной?»

А действительно — как?

Укладывать рыбу в консервную банку — это не то же самое, что делать операцию человеку или даже морской свинке, строить дворец спорта или хотя бы железнодорожный пакгауз, варить сталь, вязать арматуру, *тесать топором оконную раму*. Это — укладывание рыбы в консервную банку. Искать в этом занятии «творческих импульсов», считать «самой жизнью, полной, радостной», может только человек, никогда не укладывавший рыбу в консервную банку.

Труд в нашей стране — дело почетное. Кто с этим спорит? Но, ей-Богу же, мне как-то неловко было читать в романе одного нашего очень известного писателя о некой сезонной работнице, которая влюблена была в процесс укладывания железнодорожного балласта — вот, мол, как хорошо, что скоро по этим путям, уложенным по ее балласту, поедут отдыхать на юг наши советские люди...

Не знаю, в какой уже раз я задаю себе вопрос: почему мы стараемся изображать людей не такими, какие они есть? Становятся ли они от этого лучше? И действительно ли это лучше? В старое время писатель назывался сочинителем, но нужно ли именно так сочинять?

На эти вопросы существуют ответы.

В одной повести я прочел как-то, что в идущего в атаку солдата попала мина. Она не разорвалась, а просто застряла в какой-то, не помню уже какой, части тела солдата, кажется, в животе. Солдат не растерялся, вырвал мину и, размахивая ею направо и налево, ворвался в немецкий окоп. На высказанное мною сомнение в правдоподобности этого эпизода автор с возмущением ответил: «Простите, но я ведь сам видел это». Я был обезоружен.

Иногда говорят другое: «Да, это еще нечасто встретишь, но мы к этому стремимся, в этом есть тенденция развития». Так рождались «Кубанские казаки».

Неправда — *главный бич искусства*. Она бывает разная — в желании увидеть то, чего нет, или не видеть того, что есть. Я не знаю, что хуже.

Однажды на какой-то читательской конференции, где я рассказывал о кинофильме «Солдаты», один не очень уж молодой человек резко раскритиковал картину. Особенно не понравилось ему начало — сцены отступления.

— Что это? — сказал он. — Солдаты растерзаны, разуты, расхристаны... Никакого порядка, никакой дисциплины. Не армия, а шайка бандитов...

Я поинтересовался, приходилось ли ему воевать и, в частности, отступать?

— Еще как! От Харькова до самого Сталинграда. И не такое было... Но я не хочу об этом вспоминать. Понимаете, не хочу! Не хочу, чтоб мой сын видел, как драпал его отец. Надо, чтоб он уважал своего отца, уважал свою армию.

На первый взгляд все эти примеры — шикотанские красавицы, воспевание труда укладчицы, застрявшая в животе мина, этот последний эпизод с отцом и сыном, — на первый взгляд все они лежат в разных плоскостях. Нет — в одной! Все они рожают неправду. А неправда — недоверие и, что еще страшнее, неверие.

Все неправды страшны. Но последняя особенно.

Я не хочу об этом вспоминать! Не хочу, чтоб мой сын знал!

Тут уж речь не только об искусстве. Молодой человек, которому сейчас двадцать пять лет, приходит в Исторический музей. Или в Музей Революции. Когда он был пионером, его сюда уже водили. Тогда на стенах музея висело бесчисленное количество портретов одного человека. Он был непогрешим и овеян славой. Мальчик этому верил. Сейчас он пришел сюда взрослым, а рядом с ним шагают по залам музея другие ребяташки в красных галстуках. Они видят на стенах портреты других людей, о которых наш выросший пионер знает сейчас только по юбилейным статьям, а наше поколение носило эти портреты на первомайских демонстрациях. Того, овеянного славой, непогрешимого уже нет... Я обошел все залы Киевского Исторического музея. На всех приказах Верховного Главнокомандующего фамилия старательно была заклеена бумажкой.

Спрашивается: может ли вырасти пионер настоящим коммунистом, если страницы истории его Родины, его партии — пусть нелегкие, горестные страницы — будут заклеиваться бумажкой?

«Таково указание Министерства культуры, — сказал мне сотрудник музея, — временно заклеить».

Страус — орел по сравнению с деятелями, давшими такие указания.

Но вернусь к царицам Савским. Одна из них — не в штанишках и не в робе, а в нормальном универмаговском платье — делилась на автобусной остановке своими впечатлениями после «Парижских тайн».

— Завтра обязательно еще раз пойду... Нравится мне этот

Жан Маре. Такой он смелый, благородный. И так непохоже на всё...

Я понял ее. Она вовсе не против «похожести» — понимай «правды», — она за нее. Но если уж ее нет, так давай непохожее на всю железку: полумаски, шпаги, плащи, поединки...

НЕСОСТОЯВШАЯСЯ ВСТРЕЧА

Второй день маемся у подножия Ключевской сопки.

Всю жизнь думал, что сопка — это нечто маленькое, не заслуживающее внимания, плюющееся грязью (сибиряки всякий даже холмик называют сопкой), — и вдруг оказалось, что сопка — это самый что ни на есть настоящий вулкан, изрыгающий по всем правилам огонь и лаву и по размерам не уступающий Казбеку.

Когда мы приехали, Ключевская встретила нас с достоинством знающей себе цену женщины. Классических очертаний, точь-в-точь из учебника географии, в пепельном своем одеянии, чуть припудрив снегом вершину, она спокойно-торжественно высилась над покорно распластавшимися у ее ног Ключами. Слегка курился кратер — так, для контраста, маленькое беленькое облачко на фоне бледного неба очень ей шло. На следующий день она надела кокетливый венчик, этаким белым нимб из облаков, простояла так целый день, потом ей вдруг надоело, и она закрылась тучами. Как раз когда мы решили подняться в воздух и посмотреть, как она выглядит в компании своих соратников. Вот и томимся второй день в ожидании, когда она смилостивится.

Живем у вулканологов в столовой. Спим в спальнях мешках, днем бездельничаем. Новые наши друзья ушли на четыре дня в экспедицию. Роман от нечего делать ходит со своим магнитофоном, кого-то записывает. Единственная женщина нашей «экспедиции», Ромкина жена Люся, как и положено женщине, занята стиркой и мытьем головы, мы же с Яном валяемся на траве.

Ян — чудесный парень. Он санитарный врач, альпинист, скалолаз и поэт. Кроме того, верный друг и редкой доброты человек. Какой он врач — я не знаю. Заведует чем-то по санитарной части в Ялте. Об альпинистских качествах его знаю от друзей — говорят, неплохие. А вот поэт и друг он отличный.

Очерк «Баллада о сапогах», предшествующий в журнале «Новый мир» № 12, 1965 г. очерку «Несостоявшаяся встреча» в «самиздатовском» экземпляре отсутствует. — Ред.

Сейчас, растянувшись на траве, он пишет стихи. Каждую свободную минуту он пишет стихи — в самолете, на привале, в столовой между первым и вторым, даже в приемной у секретаря райкома. Я читаю брошюру нашего хозяина, Александра Евгеньевича Святловского, директора вулканологической станции. Называется она «Вулканы и электростанции».

Век живи — век учись. Опять же всю жизнь думал, что вулканы — это что-то страшное, стихийное, засыпающее пеплом Помпею, а оказывается, и их приручить можно. Кое-где даже приручили. В Новой Зеландии, например, на вулканическом газе и паре вот уже шесть лет (с 1958 г.) работает геотермическая электростанция мощностью 69 тысяч киловатт. Это примерно двадцать процентов всей вырабатываемой на островах электроэнергии. Сейчас в Новой Зеландии найдено месторождение вулканического пара, достаточное для постройки электростанции мощностью 250 тысяч киловатт. В будущем мощность ее предполагается довести до 400 тысяч киловатт (Днепрогэс — 650 тыс. киловатт), что полностью покроет потребности страны в электроэнергии.

Все-таки здорово! Стоит станция, никаких тебе труб, никакого дыма, никаких подъездных путей для подвозки топлива — всё из-под земли, бесплатно.

Впервые, оказывается, подземные «паровые котлы» использованы были в Италии лет шестьдесят тому назад. Ни угля, ни нефти, ни полноводных рек в Италии нет, а вулканов много. Сейчас по использованию их энергии Италия на первом месте. Отапливается вулканами и маленькая Исландия. Рейкьявик — столица ее — полностью теплофицирована вот уже двадцать лет. В городе нет печей и труб — тепло дают вулканы. Любой ребенок знает вкус отечественных бананов — их выращивают в теплицах. Бананы в преддверии Арктики — чудеса!

Ну, а Камчатка? Так же, как Италия и Новая Зеландия, она бедна энергетическими ресурсами. Зато вулканов не меньше, чем в Исландии. Там — тридцать, на Камчатке — двадцать восемь действующих. А на Курилах — тридцать девять. Почему бы и камчатскому пацану не пожевать собственных бананов, не сходить в баньку с подземной горячей водой? Пока, может, и рано об этом говорить, но на Южной Камчатке, в Паужетке, строится уже экспериментальная геотермическая станция, не очень большая — 5-10 тысяч киловатт, — но в конце концов важен первый шаг. А он уже сделан.

Даешь камчатские бананы!

Смех смехом, а давно ли в этих краях не менее экзотическим фруктом была картошка? Помню, как мы, когда я жил во Владивостоке (это было, правда, давно, двадцать пять лет тому назад), тосковали по картошке. Рис, рис, рис, иногда как высший деликатес — сушеная картошка. А теперь — пожалуйста, в любом продуктовом магазине Петропавловска сколько угодно картошки, с доставкой даже на дом. И не привозная, а своя, местная, камчатская. Даже на материк вывозят.

Тут, правда, вулканы ни при чем, всё это дело рук человеческих, но до вулканов доберутся — такая дешевая энергия не может пропадать. Тем более, что водную энергию на Камчатке использовать нельзя. В реках ее и озерах размножаются ценнейшие породы тихоокеанского лосося. Плотины и водохранилища нарушат режим рек, и рыба погибнет. Короче, без вулканов никак не обойтись...

...Меня клонит ко сну. Прикрыв лицо книгой, засыпаю. Хорошо. Ни ветра тебе, ни комаров, солнышко припекает. Век бы так валялся!..

Будит Ян. Он написал свои стихи, и ему хочется разговаривать.

— Слушай, а почему бы нам все-таки не заглянуть в кратер? А?

— Заглядывай.

— Нет, серьезно. За день управимся. Обидно все-таки добраться до вулканов и даже не заглянуть внутрь.

— А я с самолета загляну.

— АН-2 выше 4000 метров не подымается, а кратер...

— Так я в профиль на него погляжу.

Ян — альпинист, и ему хочется карабкаться в гору. Когда-то в юности я тоже этим увлекался, ходил с рюкзаком по всяким Военно-Осетинским и Военно-Сухумским дорогам, подымался на Эльбрус и даже красивый значок за это получил, но сейчас я постарел, разленился и вполне разделяю Ромкину сентенцию: «Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет».

— И вообще, дорогой мой Ян, я видал фильм «Встречи с дьяволом» французского режиссера Тазиева, и с меня вполне достаточно. До сих пор мурашки по коже пробегают...

Ян меня презирает, я это чувствую. Перед отъездом поклялись: подняться на вулкан и выкупаться в Тихом океане. Ни то, ни другое не выполнено. Мне стыдно, но, ей-Богу же, чего это я за здорово живешь полезу в эти ледяные неуютные волны?

Наутро тучи рассеялись. С аэродрома позвонили: «Готовьтесь, высылаем машину». Это все Николай Николаевич. Тот самый Николай Николаевич, что устроил нам поездку к дяде Ване. Удивительный человек!

Когда мы прибыли в Ключи, выяснилось, что гостиница (две комнаты и коридор, впритык уставленные кроватями) заполнена вдоль и поперек, а из местного начальства никого нет. Закутанная в платок девица из поссовета сказала:

— Позвоните на «Вулкан» Святловскому. А еще лучше — Николаю Николаевичу. Они вам помогут.

— А кто это Николай Николаевич?

— Большой здесь человек. Хозяин. Всё может.

Роман снял трубку. Начал, как всегда, веско и убедительно, на низких нотах. Потом вдруг весело и несколько удивленно:

— Ну, спасибо, спасибо большое! Ждем, значит. — Он положил трубку и пожал плечами. — Странное все-таки начальство... Сказал, минут через двадцать придет в гостиницу. Видал такое? Большой человек называется...

Через полчаса мы уже сидели с «большим человеком» в пыльном двореике нашей гостиницы. Он действительно оказался большим, чуть-чуть начинающим полнеть, как это случается с перевалившими за сорок мужчинами, с приятной интеллигентной наружностью и удивительно веселыми, ироническими, совсем не начальническими глазами.

— Ну так что, ребята? Захотелось Камчатку посмотреть? Надоела цивилизация? МХАТы, манежи, «Арагви» с люля-кебабами? Что ж, в добрый час. Чем могу служить?

Стараясь не очень зарываться, мы высказали свои пожелания, закончив их робкой просьбой о вертолете.

Николай Николаевич почесал затылок.

— Вот уж чего вам не советую, ну его... *Никита Сергеевич и то на нем не летает.* Давайте-ка лучше без него как-нибудь обойдемся.

Мы сразу же приуныли — очень уж хотелось на вулканы сверху поглядеть.

— Давайте лучше так. Завтра поезжайте к дяде Ване. Рыбка, уха, со стариком поговорите... А в понедельник с утра загляните ко мне, — тут он слегка подмигнул, — проверим вашу, так сказать, лояльность и, буде лётная погода, отправим вас на добром, верном АН-2. Всем спокойнее будет. Идет?

Ну, что тут было сказать? Пригласить в ресторан, *сбежать за поллитровкой?* Постеснялись, да и вообще была суббота, и, судя по всему, Николай Николаевич собирался на охоту.

— Зверья здесь видимо-невидимо. Следующий раз приедете — без трофеев в Москву не отпускаю...

Маленький четырехкрылый АН-2, уютно стрекоча мотором, большими витками подымается вверх. Слегка потряхивает. Под нами Ключи. Они становятся все меньше и меньше, а река Камчатка — все больше и больше: сплетение рукавов, протоков, озер... Какая она большая, запутанная, ветвистая и какая красивая! Заливные луга и тайга — кое-где выжженная, сухая, в основном же темно- и светло-зеленая, густая, не везде и пройдешь. Вон там где-то, среди тихих озер, в зарослях цветущего жасмина живет наш дядя Ваня...

Еще выше. Приближаемся к Ключевской. Под низом уже не тайга, а сухая, безжизненная земля. Серая, бурая, с маленькими кратерами-нарывами. Их очень много, этих фурункулов, один раз прорвавшихся и засохших. Еще выше... Кругом облака — не сплошной массой, а рваные белые клочки ваты. Исчезает дымка первых полутора тысяч метров — очертания вулканов становятся четче, воздух прозрачнее.

Поднялись на четыре тысячи метров. Начинаем огибать Ключевскую. Оставляем вправо ближайшую ее соседку сопку Плоскую. Впереди Камень, за ним Безымянная, еще дальше Зимина, Толбачик, Удина. К сожалению, Безымянную плохо видно — мешают облака, а это самый интересный из вулканов. Несколько лет тому назад он взорвался, и кратер его развалился. В музее вулканологической станции я видел множество цветных фотографий этого взрыва. Жутко и в то же время красиво... Клубы дыма, расплавленная лава, огненные, раскаленные бомбы, вырывающиеся из кратера. Светопреставление... Сейчас внизу тихо, спокойно. Застывшие реки лавовых потоков — бугристые, складчатые, мертвые... Вулканы спят. Только Ключевская чуть курится. Напоминает: «Не забывают, люди, я тоже могу...»

А что знают люди о вулканах? Оказывается, вовсе не так уж много. До сих пор ученые спорят, откуда берется тепло? До центра земли так и не добрались. Что там? Расплавленная масса или ядро, состоящее из железа и силикатных пород, приобретших под влиянием большого давления свойства металлов? Так откуда же тепло? Когда-то думали — и я так всю жизнь думал, — что извержение вулканов — это вырвавшееся наружу через глубо-

кие трещины в отвердевшей оболочке огненно-жидкое ядро земли. Теперь же ученые считают, что главной причиной образования внутреннего тепла земли является радиоактивный распад элементов урана, тория и калия-40. *Одним словом, ученые до сих пор спорят, ищут, опровергают друг друга.* А земля по-прежнему вздыхает, трясется в конвульсиях, плюется огнем и раскаленными бомбами... Две из них — черные, как уголь, пористые, похожие на окаменевшие губки, мирно лежат у меня сейчас на подоконнике рядом с дырявым, как решето, очень похожим на современную абстрактную скульптуру камнем, выброшенным волной на остров Беринга, и еще одной жертвой вулкана — куском мозаичного пола из Помпеи...

Медленно проплывают мимо нас вулканы. Мрачные, угрюмые, сейчас безжизненные. Летчики делают крутые виражи, развороты, повороты, чтоб нам удобнее было снимать. Мы мечемся от борта к борту, залезаем в летчицкую кабину и все щелкаем, щелкаем своими «ФЭДами», «Зоркими», «Экзактами...»

В кратер заглянуть так и не удалось — не под силу нашему самолетику. Ян на меня не смотрит. Обижен... С горя пишет стихи. О несостоявшейся встрече с дьяволом...

Ну и Бог с ним, с дьяволом! — думаю я.

Через две недели прощаюсь с Камчаткой.

Последнее впечатление — после проводов, объятий, поцелуев, крепких рукопожатий — густое, клубящееся море облаков и, точно одинокие острова на нем, черные конусы вулканов. Это уже другие, это стражи Петропавловска — Виллой, Авача, Корякский...

Незаметно, чтоб в самолете никто не увидел, машу им рукой.
До следующей встречи!

Олег Соханевич

ТОЛЬКО НЕВОЗМОЖНОЕ

Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, поблднеем,
Пожалею нашу грудь
И в несчастьи оробеем;
.
Пусть мой ус, краса природы,
Черно-бурый в завитках,
Иссячется в юны годы
И исчезнет, яко прах!

Денис Давыдов

КОЕ-ЧТО О СЕБЕ

Три года прошло после Академии, а я все еще здесь. Советский художник-абстракционист. Картина грустная. Перспектив никаких.

Нельзя сказать, чтобы я сидел сложа руки, но результатов пока нет, всё по-прежнему, и с каждым годом трудней, — ведь, помимо всего прочего, природа подарила мне талант, а это совсем уж неудобно тут, если ты честолюбив и знаешь, что работаешь хорошо. Просто хоть бросай всё к чёрту.

Надеяться не на что, — кроме как на самого себя. Я всегда верил в себя, в свою особенную судьбу, хоть часто казалось, что случай — всегда против.

Как же сложится жизнь?

*

Я видел странный сон. Как ни удивительно, он повторялся подряд три ночи, одинаковый в деталях и ощущениях, четкий в памяти, хоть много прошло лет. Иногда я его вспоминаю.

Я лезу вверх по толстому гладкому столбу, подобному дереву без коры. Я обхватил его руками и ногами, прижался всем телом, лицом. Не вижу его высоты, но знаю — он огромен. Предельно напрягаясь, соскальзывая, медленно ползу вверх. Не меют мускулы. Знаю, что не могу спуститься — только вверх. К вершине всё тоньше ствол... Нужно добраться до вершины, там я смогу отдохнуть. Как долго длится это! Совсем нет сил. Еще, ну еще немного, ну еще... Наконец, руками дотягиваюсь до конца бесконечного столба, как бы спиленного сверху, последним усилием подтягиваю тело, всползаю животом, повисаю в изнеможении.

Всё. Это отдых... Но вдруг — начинает медленно клониться ствол! Под тяжестью тела сгибается вершина — сначала едва заметно, потом всё больше... Лицом вперед я лечу в каком-то неясном пространстве, вцепившись в дерево руками — всё быстрее, быстрее...

Огромен ствол и огромен размах, кажется, никогда не кончится мой жуткий полёт... Но вот постепенно замедляется движение, еще тише...

...Останавливается вершина... Начинает дрожать мучительной, напряженной дрожью... Дрожь эта пронизывает, сотрясает все мое тело. Я понимаю: сейчас дерево должно выпрямиться, разогнуться — или же переломиться пополам.

Бесконечно тянутся мгновения... и — ствол выпрямляется, — медленно, а затем всё быстрее! — снова стремительно лечу я, теперь вверх — выше, выше, взлетаю к высшей точке — и... снова падение вниз.

И всё сначала — дрожь согнутого ствола, томительно-долгие, неопределенные секунды — и спасение.

А потом опять... Но я чувствую — всё короче становится полёт, понимаю, что выпрямляется, успокаивается дерево... всё меньше взмахи, медленнее...

И вот неподвижно застывает вершина. Теперь всё.



В детстве я очень любил лазить по деревьям. Увидев труднодоступный ствол, считал долгом на него взобраться.

Бывало, не успокоюсь, пока не доберусь до вершины.

Что ещё было в моём детстве?

Сибирь, снег, черный от дыма заводов, дома из бревен, мороз, когда трудно дышать. Тайга.

Первые годы школы, мои первые рисунки с натуры — обычно-то я рисовал средневековых воинов, замки, битвы. Потом — долгий путь «домой», на Украину. Киевская Художественная школа, высокие оценки по специальности, низкие — по поведению. Хулиганом я не был, однако, отличался невероятным упрямством, что вызывало неудовольствие педагогов.

Я решил тогда, что буду знаменитым художником — я должен им стать, раз уж занялся этим делом (гений, в тиши своего чердака творящий бессмертные шедевры — здорово!).

Но меня занимало и другое. Я хотел также быть самым сильным, самым ловким, самым... в общем, таким, как герои моих книг — благородные рыцари, неустрашимые путешественники, моряки, личности с железной волей, которых, казалось, сама смерть не в силах остановить. Почему бы мне не быть на них похожим? Сказано — сделано.

Я отмачивал довольно рискованные штуки — «для закалки характера», ну и чтобы себя показать, непрерывно боролся с приятелями и участвовал во всех ребячьих состязаниях.

Думаю, что мог бы стать неплохим спортсменом, если бы не лень — терпеть не мог систематических тренировок, я предпочитал им вдохновение.

В школе меня приняли в комсомол.

Вначале я всячески увиливал — страшила мысль, что придется тосковать на комсомольских собраниях, выслушивая бесконечные речи. Этого добра хватало и так.

Какое-то время я был, так сказать, вне коллектива. Но в конце концов мною занялись всерьёз, проработали на школьном собрании, заклеили позором. «Вот из таких-то людей, — сказал секретарь, — и вырастают враги народа».

Что тут возразишь?

О «врагах народа» я кое-что слышал — не так давно забрали двоих из школы.

Пришлось вступить. Но это запомнилось. Не люблю, когда на меня дают.

Последние годы школы не были интересны. Что-то не ладилось с живописью, я варился в собственном соку.

Только позднее, в Ленинграде, я начал понимать, что к чему; после Киева этот город казался Парижем: какие музеи! Эрмитаж! Там я впервые увидел французов — «новое» искусство (то есть то, что висело на третьем этаже). Помню почему-то кис-

лый, как от лимона, вкус во рту, когда глядел я на свежие холсты импрессионистов. Мое развитие пошло в хорошем темпе.

Академия. Что сказать о ней? К концу первого курса я имел полный набор административных взысканий — слишком уж выпирала индивидуальность, да еще был «левым» живописцем.

Однажды я поступил неосторожно — выставился на какой-то неофициальной выставке в одном вузе. С тех пор меня взяли на заметку, я стал ощущать заботливое отношение партийных органов — приходили в общежитие какие-то дяди и тёти, смотрели работы, советовали рисовать иначе.

Я здорово удивился, узнав, что некоторые мои высказывания зафиксированы с протокольной точностью, слово в слово, в особых журналах. А ведь говорилось среди сокурсников, все, вроде, были свои...

Хорошо поставлено дело, ничего не скажешь.

Я как-то не придавал этому особого значения. Знай я тогда... Ну, да всего не угадаешь, и потом — если с колыбели всё рассчитывать, так и жить не стоит.

Каждодневные занятия уже не вызывали интереса — унылая программа в тесных соцреалистических рамках, густо унавоженная марксизмом. Могу сказать — школа и институт были полезны тем, что указали, *чего не нужно делать*.

Для себя я работал очень много. На втором курсе был сделан первый абстрактный холст. Писать приходилось подпольно — вылететь из вуза я не хотел, всё-таки Ленинград давал кое-какие условия для работы.

Я понимал уже, что мое место не здесь. Мне нужна среда, нужна конкуренция, — мне нужна свобода.

Поехать бы за границу, повидать мир, набраться впечатлений. Я с детства мечтал о путешествиях. В нашем старом доме меня окружали вещи многих стран мира. Экзотическое оружие, китайские вазы, диковинные украшения, рога диких животных — всё это привез дед Кохановский, немало поездивший по свету.

Увлеченно рылся я в сундуках, перебирал старые фотографии. Воображение распалялось. Чёрт возьми, вот это жизнь! Разве можно жить, сидя безвыездно в одной стране? Нужно ездить и смотреть, смотреть! Ну ничего, вырасту — обязательно буду путешествовать. Я тоже увижу далекие страны, города и моря, все уголки удивительной Земли, меня не устроят никакие опасности — и т. д.

ПОИСКИ ВЫХОДА

И вот я начал настойчиво добиваться цели. К этому времени моя репутация была, однако, настолько подмочена, что шансов, в общем-то, не было никаких. Несколько попыток выехать туристом, потребовавших уйму энергии и изворотливости, окончились неудачно. На каждую уходило по несколько месяцев. Попытка устроиться матросом на китобойную флотилию — фантастическая история, растянувшаяся на полтора года... Даже сейчас не хочется вспоминать её — так много я отдал тогда нервов. Ещё одна, последняя — поехать в Венгрию. Тогда мне было прямо заявлено, что для заграницы я не подхожу...

Я вспоминаю людей, от которых зависела моя судьба, — злорадных и равнодушных, уверенных в своей силе, в моем бесилии изменить что-либо. Ну, это мы еще поглядим!..

Теперь я еду на юг. Может, и повезет на этот раз...

...Поезд, потом — долгая дорога в море, такая привычная. Знакомые берега, да и ощущения знакомые. В то лето я так же плыл на юг.

Я должен был прыгать с корабля у Батуми — километрах в четырех от берега, еще до темноты. Снова четкое ощущение этих минут — ласты за поясом, документы в целлофановом пакете, матерчатая маска в кармане!

Вот — сейчас прыгать! — близкий берег — светло, как на ладони видно, — помнить: не высовывать голову из воды, только лицо, — ожидание нужной секунды — нет, люди вокруг, матросы на корме. Три попытки. Поиски нужного корабля, удобного времени, удобной кормы, ночные поезда — от порта к порту, наперехват. Усатые восточные люди, милиционеры — янычары. И сон валит с ног. Надо поспать хоть немного, а спать негде, всё забито до отказа людьми и вещами, а ведь нужны силы, плыть километров двадцать пять...

И снова я стою над бурлящей водой с равнодушной миной, кося глазом по сторонам. Корабль идет быстро, через несколько минут будет поздно. Если б хоть секунду мне — головой нырнуть в зеленые белесые волны, скрыться на полминуты, потом ждать, пока стемнеет, или — пока не вытащат. Вот... сейчас... пора. Нет. Не удалось... — Ну! — еще не поздно. Нет. Убеждаюсь, что не удастся. В это время швартовая команда на корме, публика шныряет по всему теплоходу, светло — никаких шансов...

Эти напряженные дни здорово измотали меня тогда. Еще свежи воспоминанья.

Что будет теперь? Вот снова это место — подходим к Батуми.

А вот и порт. На причале я сговорился с какой-то теткой о ночлеге (койка — рубль в день, обычная такса). В городе все было по-старому, разве что фонарей на пляже стало больше.

Теперь — осмотреться, потренировать ноги, — всё-таки три дня на пароходе, почти без движения. Провел километровый заплыв — так и есть, побаливают мышцы. А течение есть, но слабое, свободно плыву против — правда, у самого берега. Однажды, на пляже, я подслушал разговор двух офицеров. Интересный для меня. «Слабенькое тут течение, а вот за косяком (что это за «косяк» такой?) — там приличное»... Не так уж приятно было слышать. Ну, да ведь это дела не меняет. Мне и раньше было известно о течении. Вот насколько оно сильное — это вопрос, смогу ли я преодолеть его?

Хуже всего эта неопределённость.

Что ж мне, отступить, что ли, и потом страдать от мысли: а ведь могло и получиться.

Другое дело, что может не получиться. Скорее всего. Ну, там будет видно. Я готов ко всему.

Еще раз обследовал берег: наблюдательные вышки метрах в восьмистах друг от друга по краям пляжа, что-то там виднеется на одной, поблескивает — кажется, та самая оптика, о которой я кое-что слышал.

Рядом с другой вышкой, сразу за свайным причалом, мощный прожектор. Выглядит устрашающе. Несколько танков, ну, эти — просто декор. Дальше идти небезопасно. Неплохо бы поглядеть на берег с воды, прогулочные катера отходят довольно далеко. Беру билет, сажусь.

Гремит музыка. Рок-н-ролл. Железный ритм вселяет бодрость. Знакомый гнусавый голос Билла Хэйли, та же пластинка, что в Ленинграде, — прямо родным чем-то повеяло тут, среди чужой этой, галдящей публики.

Выходим в море.

Всё дальше отступает город, шире картина берега. Я неотрывно смотрю туда, вправо; из-за низкого мыса вытягивается в море неясная линия кустов или тростника — не разобрать, устье реки километрах в пяти-семи. А дальше синее силуэт гор, угадывается изгиб берега. Вон та гора, выступающая вперед, — уже не наша. Турция! такая близкая...

Ну, завтра всё решится.

Каким будет путь? Как я отойду от пляжа? Эх, хорошо бы сейчас, с низкой кормы, скрыться в воде... Нет. Невозможно. Вокруг — усатые физиономии в больших кепках, вся палуба забита народом. Ничего не поделаешь, надо с берега. Вернулся домой, лег. Старуха тонкое совсем дает одеяльце, холодно ночью, я ведь всегда зябну. Кажется, насморк начинается. Не хватало еще этого.

Завтра. Хозяйка уже интересуется, когда уезжаю... Утром собрал вещи. Сдал рюкзак в камеру хранения. При мне — только чехол с лапами. До вечера — долгий день... Деваться некуда. Посидишь на одной скамейке, на другой — просто сил нет. Зайти, что ли, в кино?

Шел пародийный «вестерн»: гремели выстрелы, умирали герои, смеялись, шумели зрители. Приятный фильм... Вышел, купил газет. Выбрал скамейку в тени. Времени еще много, не стоит бродить по улицам — поберегу ноги на ночь.

Сквозь дыры в листе ложатся на бумагу солнечные пятна.

Спорт — прочитан весь. Можно и политику — как там происки империалистов? Привычная наглость «правдивой информации» всегда меня взбадривала, напоминала, где живу. Медленно, медленно тянется время... Часов около шести нужно поесть. Через полчаса. Пойду, пожалуй, поищу столовую... Я взял котлеты, ещё что-то мясное, поел довольно плотно; купил кусок колбасы — граммов сто пятьдесят.

Ну, теперь можно и к морю.

Вышел на пляж, побрел потихоньку к «своему» месту. Вокруг люди, купается кое-кто, а больше сидят, смотрят на воду.

Вот и мой камень. Я сел рядом и стал ждать.

Не скажу, что я был абсолютно спокоен. Разнообразные ненужные мысли лезли в голову, одна особенно неприятная — о том, что почти наверняка будешь в тюрьме.

Летает над морем вертолёт, туда — сюда, высматривает что-то. Солнце висит совсем низко, закатный свет золотит воду. Море посвежело, идет небольшая волна, шуршит галькой прибой... Ушло солнце.

Теперь быстро стемнеет. Синееет воздух, позади вспыхивает шеренга фонарей.

Метрах в десяти от меня — пляжный грибок, под ним — средних лет пара. Не помешают? Проектора пока нет. Время начинать.

Снимаю носки, сую в карманы. Вынимаю из чехла безрукавку, маску, колбасу, засовываю всё в трусы. 8 ч. 10 мин. Парочка сидит по-прежнему, спокойная такая с виду, дальше — еще публика. Темнеет быстро, но пока светловато. Снимаю часы — 8. 13.

Сейчас пойдут пограничники. Пора.

Раз! — сдвигаю камень, два — сдергиваю тапочки, штаны, рубашку, три — вынимаю ласты, четыре — сую одежду в ямку, — чёрт, забыл чехол! — туда его. Камень сверху — готово.

Пошел! Встаю, иду метров двадцать вправо к воде (лучше отойти от места), ласты в руке. Белая пена — сажусь — одна ласта — ага, правая — есть, вторая — готово, свитер из трусов — натягиваю — готово. Шипит волна — головой в нее! — мокрый холод, глухой гул в ушах, темнота — работают ноги. Маска — так, держу правильно, надеваю, дыры глаз на месте — всё. Еще вперед — правой рукой грести сильнее — кажется, плыву прямо... Хватит, метров сорок есть, нужен воздух. Переворачиваюсь на спину, — вверх, всплываю. Глубоко ушел, темно. Светлеет. Торможу руками, осторожно высовываю лицо из воды. Синее небо, близкие фонари пляжа. Ласты упруго толкают меня в море. Дышу. Как будто всё спокойно. Нахожу зажим для носа, выдуваю воду, закрываю ноздри. Теперь будем работать. Дышать равномернее, медленнее — впереди ведь восемнадцать километров и кроме того... Вот оно! Ослепительное овальное пятно вспыхивает на берегу, голубой призрачный луч дрожит в воздухе, стремительно падает на воду.

Всё светлеет. Загораются гребни волн. Шире, ярче огненный глаз, еще... мгновенный взрыв света!

Удивительно быстро, в стремительном повороте ныряет под воду тело — вниз! — только не болтнуть ногами — одна мысль. Спина ослеплена огнем, словно там нервы глаз. Успел? поздно нырнул?.. Вниз в темноту — и впёрёд. Теперь вверх, плещет вода над лицом — нет? — Прошел. Выныриваю — выдох, вдох... Вниз! Тело быстрее мысли. Лучверху, нужно плыть вперед, мало дышал, трудно — вверх, хватаю воздух — опять! — куда я плыву, что же это? А может, всплыть? Я ещё недалеко от берега, плаваю, мол, купаюсь... Дышать... Нет! Врешь, не сдамся! — Ещё немного... теперь вверх — какое направление, не знаю — боль в горле — дышу, дышу... — Сволочь, снова идёт — поворачи-

чивается диск, круглеет — пора! держи ноги! — ухожу вниз. Темнота и красные брызги в глазах. Воздуха!

Всё. Больше нет света. Лежу на спине, хватаю воздух (хоть бы минуточку передышки).

Направление? — потерял, конечно. Разворачиваюсь ногами к пляжу. Работать!

Устанавливаю дыхание — спокойнее, надо ведь плыть и опять нырять, еще близко берег... Ракета! С пляжа, где вышка, — заметили!!! Как же теперь? Ну, будем ждать, плыву пока вперед. Слышу только журчание воды, хрип дыхания. Нет, кажется, пронесло — ни прожектора рядом, ничего. Нагнали страху. Надо дышать спокойнее. Дышу спокойней — это нелегко после недавней встряски. Сильно гребу ластами — нужно пользоваться передышкой, долгой ли она будет? — Отплыть бы подальше, теперь, как будто, метров триста от берега.

Далеко уйти не удалось — снова заработал прожектор, снова я ныряю в спасительную темноту. И вверх. Проходит несколько секунд — и опять идет луч, — слежу за ним, скосив глаза в прорезях маски; вибрирует голубой воздух, пронизанный светом. Миг — и рывок вниз, вверх — еще вниз...

При каждом погружении стараюсь выиграть метров десять-пятнадцать, дальше в море. Прошел луч, выныриваю и напарываюсь на стремительно бегущую полосу огня, с другой стороны — второй прожектор! — от порта.

Ныряю, не успев вдохнуть. Снова вверх, несколько судорожных вдохов — и опять под воду. Сейчас сверху сразу два прожектора, работают без передышки. Светлеет вода. Как хочется дышать! Спазма сжимает горло, легкие, кажется, выпрыгнут из груди — дёргаются судорожно где-то у шеи... Ну, еще немного, ещё... Наконец, темно. Всё тело рвется вверх — скорее! Но всплываю осторожно, притормаживаю — только лицо над водой.

Выдох, вдох — и снова вниз, колонна света падает на меня, как карающий меч.

Как мало воздуха телу, сколько я уже ныряю и поднимаюсь? Этот кошмар, наверное, никогда не кончится. Уж нет сил плыть вперед под водой... Вот я выныриваю — стоп! Свет сверху, стоит над головой. Я извиваюсь в метре от поверхности... Так близок воздух... Судороги в груди и животе, — в горле, в висках, в крови стучит, задыхается сердце... Дышать!!! Нельзя. Еще нельзя. И нельзя выпустить отравленный воздух, будет ещё хуже. Нет сил терпеть... Почти не вижу, какая-то багровая муть.

Не пойму — надо мной прожектор? в стороне? — дальше нельзя, потеряю сознание. Вверх.

Последним усилием заставляю себя не выскакивать над поверхностью.

Луч в стороне. В выпученных глазах кружатся спокойные огни берега. Дышу... дышу... дышу... Слабость во всём теле, тошнота подступает. Отрыжка какая-то. Тяжеловат был, видно, мой земной ужин для таких упражнений. Фу-у! Чуть не доканало меня это... Ну, держись, организм, отдыхать некогда, надо плыть дальше. Дышать ещё тяжело, но плыву... Что это? где я? Снесло в сторону, что ли? Похоже, что сейчас я против вышки. Ориентируюсь на линию огней — да, похоже, что так — нужно менять направление. Плыву под острым углом к берегу, сильнее работаю ластами.

Минут десять все спокойно. Когда включают прожектор, я уже метрах в семистах от земли и где-то на уровне своего старта — там горит неоновая вывеска ресторана. Теперь справа меня прикрывает причал — толстые сваи черной шеренгой стоят в воде, прожектор оттуда пока не достает. А вот портковый страшной. Вот он тоже загорается, начинает прочесывать море. Ныряю, сразу же выныриваю — луч шарит в стороне, издали неярко подсвечивает третий, со сторожевика, туда тоже нужно поглядывать.

Раза три вниз — вверх, и опять всё спокойно. Огни берега начинают подрагивать — расстояние порядочное.

Возьму, пожалуй, параллельнее к пляжу, пора плыть к цели, время-то идет.

Устанавливаю направление. Где-то в ногах далеко на земле — слабый огонек, ориентируюсь на него. Теперь впереди долгий путь и короткая ночь. Нужно успеть.

Вспыхивает пляжный прожектор. Сейчас я дальше в море и причал меня уже не закрывает. Слежу за лучом. Какая маленькая земля всё-таки, какой-то километр с небольшим, а уже видна её круглость: свет у берега лежит на волнах, а чем ближе ко мне, тем меньше касается воды, идет чуть выше, но я знаю — стоит высунуть палец — и он засияет как лампа, как камешки, когда кидаешь их в луч. Теперь я изменил технику погружения: когда набегает луч — вытягиваюсь в воде и руками резко, рывком загребая вверх — лицо уходит вниз; потом медленно всплываю. Я спокоен. Я многому научился за эти минуты.

У висков, у глаз журчит вода, пенится под ударами ног. Яркие южные звезды дрожат в темном небе. Справа, на берегу —

всё те же огни — фонари, ресторан... — Что-то слабо я продвигаюсь. Надо нажать. Усиливаю работу ног, подгребаю руками. Теперь моя скорость должна быть не меньше двух с половиной километров в час. Знаю по домашним заплывам. Можно плыть еще быстрее, но ведь впереди 18 километров. Не хватит надолго. Выверяю направление: иногда начинает казаться, что плывешь не туда — не то правее, не то левее, цепь огней на берегу не помогает, какой свет ближе, какой дальше — не разберешь. Кручу головой, проверяю себя — как будто верно. Прожектор шарит по пляжу, потом — стремительный поворот, и он уже далеко в море; несколько раз приходится нырнуть — и снова вперед.

Так проходит минут пятнадцать-двадцать. Смотрю вправо — в чем дело? — за это время я должен был пройти эти полкилометра до причала, даже учитывая течение. Причал четко рисуется на фоне луча, я вижу его как и раньше — сбоку. Нужно еще нажать. Нажимаю. В бедре хрустнула, заныла какая-то жилка — э-э, поосторожней...

Чуть не вываливается колбаса, надо беречь, надолго ли хватит земных калорий? Наверно, километров через десять следует поесть. А когда будут эти десять километров? Я почти не продвигаюсь вперед. Плыву еще минут десять.

Да, это течение. Не думал, что оно такое сильное. Как сказал тот офицер — за «косяком» сильнее? Быть бы мне профессиональным пловцом километра на четыре в час, тогда продвигался бы в среднем километра на два, а теперь сколько — полкилометра?

Что же делать? Вернуться? Земля, теплые огни... Еще не поздно... Нет. Нельзя назад.

Снова возвращаться туда. Отступить? Нужно еще плыть. Плыву. Ещё минут двадцать. Чёртов причал, как он там — что-то плохо виден. Ага, прожектор. Смотрю. Проклятье! — я стою на месте. Обидно! как обидно! Всё против меня. Море против меня. Я боролся изо всех сил. Всё ли сделал, что мог? Может быть, плыл мало? Нет. Я привык замечать время, знаю расстояние до причала. За это время прошел метров двести. Сколько пройду до утра — два километра? пять? И когда уйдет ночь, меня возьмут пограничники.

Ну, нет. Только не так. Надо вернуться. Я сделал всё, что мог. Не хочу пропадать зазря.

Смотрю вперед, в темное море. Далеко-далеко, из-за горизонта — слабое зарево, это, наверное, второй сторожевик, где-

то у границы. Огни города обрываются у прожектора, дальше берег неразличим.

Ладно. Поворот прямо к земле. Думаю, что мне не в чем упрекнуть себя.

Я плыву к земле. Кто знает, что там ждет, на берегу. Перескочить бы прожектора. Неужели снова всё начнется? Может быть, и так. Буду бороться. Обидно возвращаться, еще обиднее будет, если захватят.

Назад я плыл на боку, греб сильно руками и ногами, оглядывался на левый прожектор — он ползал в секторе порта. Правый заработал, когда до пляжа оставалось метров пятьсот.

Началось. Надвигается луч, ближе, ближе... Перед самой вспышкой — сильный вдох, ныряю, — теперь удобно нырять, сразу лицом вниз, вперед и вверх. Когда подхожу к поверхности — переворачиваюсь на спину. Движения стали привычными. Высовываю лицо — погас? — нет, опять идет — вниз! — вверх — еще вниз...

Кажется, я плыл слишком быстро, не хватает дыхания. Маленькая передышка и еще несколько погружений. Я берегу каждую секунду «воздуха», ныряю в самый последний момент. Да и легче так знать, где прожектор.

Снова тяжело. Видимо, иммунитета тут не разработаешь. Хватит меня? Ну, врешь, буду бороться до последнего, выплыву, земля так близка, опять яркие огни. Плыву прямо на ресторан. Темно, передышка, успеть бы...

Метров за двести от берега снова приходится туго. Как быстро снует прожектор — словно тот, невидимый, направляющий его, догадывается, что я здесь. Ну, море, не выдавай хоть...

До установки теперь близко — метров четыреста, слепящий «береговой» луч. Тут земля плоская. Ну, еще немного, потерпи... еще... Темно. Глаза на лоб от таких штук. Гнусно, когда нет воздуха.

Как хорошо дышать. Быстрее, немного осталось. И пора думать о берегу. Ныряю, стаскиваю свитер — отслужил. Что на пляже — не разглядеть пока, ярко светят фонари, но полоса песка у воды темная. Еще ближе — сколько осталось? — метров сто, меньше? Время. Сдираю маску, разрываю глазницы, рот — пусть плавает бесформенная тряпка; ласты жаль, да и вообще, пусть будут, что такого?

Что это на песке? Я вижу две темные фигуры. Стоят рядом, смотрят на меня — или кажется? Прямо передо мной, плохо дело.

Видимо, патруль. Да, заметили. Так: при мне — ничего, скажу — купаюсь, ласты вот. Вещи лежат, спрятал, чтоб не украли. Ну, пронеси. Ближе... Э, да это девушка! — платье. Парочка вглядывается в меня... бдительные советские люди, еще шум подымут.

Громко кашляю, отплевываюсь. Где дно? — ага, стал. Поднимаюсь. Еще кашляю надрывно, отсмаркиваюсь — вот, мол, я, не скрываюсь. Пара поворачивается, идет дальше. Всё в порядке. Выскакиваю на берег. Где я? Где вещи? Кажется, слева от ресторана. Быстро иду по берегу. Вспоминаю о колбасе — липкий размякший кусок, швыряю в воду. Где же труба, мой ориентир? Тут должна быть. Ага, вот. Камень — в сторону, хватаю одежду, сажусь, натягиваю рубашку, сдергиваю, выжимаю трусы. Трусы, штаны, тапочки, ласты — в мешок, готово. Смотрю на часы — около десяти, значит, плавал я больше полутора часов. Выхожу на свет, иду не спеша к бульвару. Милиционер, с честным лицом — мимо. Вот бульвар, всё.

Я шел по городу возбужденный, охваченный противоречивыми чувствами. Горько было снова ступать по земле, которую надеялся оставить. Обидно — после того, что пришлось выдерживать сейчас. Всё было зря — борьба, надежды. Долгие дни, месяцы, заполненные мыслями о том, что должно было произойти сегодня. Сомнения и ожидание самого худшего. Худшего не случилось. Я жив, свободен. Свободен? Немногого стоит такая свобода.

Что делать дальше, как жить? Хоронить мечты, глушить желания, ждать, чтобы скорее ушел день, месяц, год — куски серой бесцельной жизни. И жалеть себя, жалеть всю жизнь... Да, это так. Но всё же я сделал то, чего ждал так долго. Я был «на высоте». Я преодолел страх и колебания, боролся, и не моя вина, что море сильнее. Меня остановили не люди — мои мышцы и воля сильнее их тупой исполнительности.

Хорошо всё-таки на земле, тепло и много воздуха. Дыши, сколько хочешь. Воздух жжет грудь, как после долгого бега. И с горлом что-то не в порядке. Еще бы, пришлось потрудиться телу. Ну, теперь всё позади. Что делать сейчас, впереди ночь... Нужно на вокзал: возьму вещи, переночую где-нибудь. Завтра увидим, как дальше.

Вокзал. Вытаскиваю глубоко упрятанную квитанцию, беру свой мешок, сажусь на скамейку. Где-то были конфеты, хочется есть... В зале появляется милиционер, пристает к каким-то тури-

стам — предъявите паспорт. Не стоит тут задерживаться, выйду на улицу.

Куда теперь? Иду на морвокзал. Надо взглянуть, когда теплоход, может, и переночует там. Тихие ночные улицы. Порт. Расписание: теплоход завтра, удачно. Где бы тут пристроиться? Зал ожидания открыт, люди на скамьях, нахожу свободную, ложусь, укрываюсь курткой. Неприятно холодят влажные трусы. Сна нет. Еще взвинчены нервы. Снова переживаю всё это. Кружатся, мелькают сцены недавней борьбы.

Я снова в море, под мертвым светом прожекторов. Вздрагивает, напрягается тело...

Ну, хватит. Не стоит давать волю воображению. Хватит эмоций на сегодняшний день. Надо спать. Завтра вставать рано, становиться в очередь...

Когда я поднялся, у кассы уже толпился народ. Стал, взял билет до первой остановки — денег не так уж много оставалось. Что-то было неладно с носоглоткой — отсмаркивался кровью, верно, сосудики полопались. И грудь болела при вдохе, никогда такого не было. Легкие? — вчера им пришлось поработать. Ну, пройдет.

Я плыл в Крым. Нужно рассеяться после этих приключений. Что делать дальше, я не представлял. Не хотел пока думать.

На это лето программа выполнена, планов других нет, что придумать ещё — не знаю.

То, что было — единственное, не принесло успеха. Всё как раньше, как годы до этого... Вокруг галдят туристы, флиртуют с девочками — вон там одна ничего себе. Все девочки ничего себе, да что толку — себя не обманешь, разве что на время.

Плоховато чувствую я себя — совсем охрип, насморк. Сплю на палубе, продувает ветерок, прохладно ночью. Скорее бы доехать. Не думал, что снова буду плыть этим путем.

Думал — уплыву или «сяду». Проклятый городок, надеюсь, что не увижу тебя больше — это в последний раз, больше там, кажется, делать нечего...

Крым хорош, как всегда. Знакомые горячие камни Алупки, «рояль», веселые приятели, красивые девушки. Снова дикие игры в воде, карты, ночные прогулки, и в темном море, и на берегу — голубой свет прожекторов, бегающие по кустам, по камням лучи солдатских фонариков: бывало, гуляешь со знакомой вечерком, так и залегать приходится — как на войне.

Никуда не денешься, хоть и заставляешь себя не думать. Ну, хоть пока не думать.



Потом была зима. А летом я снова приехал сюда — отдыхать. Отдых был в какой-то мере заслуженным. Незадолго до этого я совершил короткую туристскую поездку в Выборг, едва не окончившуюся печально. Только выдержка спасла нас с приятелем от тюрьмы.

...Нас задержали на дороге, вблизи города... И еще одного паренька.

Уныло сидели мы на своих рюкзаках, понимая, что предстоят не совсем приятные минуты.

Затормозил у будки финский автобус. Сверху, из окон, спокойно взирали на нас лица финнов — людей из другого мира. «И не выходят, сволочи», буркнул солдат. Какой-то малоприятный верзила в штатском буравил глазами гостей. Уехали.

Вскоре подкатил грузовик с автоматчиками, меня пригласили в будку. Прибывший капитан взялся за дело сразу:

— Ну, говори, куда шёл?

Так, мол, и так — турист.

— Ты сказки не рассказывай, мы знаем всё, мы видали таких. Я по-гра-ничник, понял? Говори сразу, будет лучше — за границу хотел? Ладно, расскажешь...

Бледные глаза под белесыми бровями впились в лицо, шарят, ищут... Не очень симпатичный был человек, и дело свое знал. Трудно с таким говорить.

Нас доставили в Выборг. Совсем недавно шли мы здесь как честные полноправные граждане, а теперь...

Словом, пришлось сутки объяснять свое пребывание в данном районе, далеко от границы, любовью к природе и рыбной ловле (я, между прочим, в жизни не поймал ни одной рыбы — не мой это спорт), скучать в обществе автоматчика, не покидающего вас даже в самые интимные минуты.

Пытал Белесый, ему помогал другой, — этот работал иначе: говорил по душам, об искусстве даже, сочувственно так, а потом — эдак сразу, неожиданно: «Ну, ладно, посидишь — всё расскажешь...» — Это выглядело смешно — очень уж избитый прием, так сказать, классический. Мы книжки тоже читали. Допросы, допросы — дрогнул лицо, разойдись в чем-либо наши показания — и кончено, «сядешь». Приключение не из приятных, сон под слепящей лампой был тогда единственным убежищем — хоть на

время забудешь о действительности. Тягостней всего была мысль: ведь попался, как дурак, ни в чем не успел провиниться, так, ходил себе...

— Чего это вы идете туда? — удивлялся солдатик-конвоир. — Каждую ночь тревога, кого-нибудь берём. И всё взрослые ребята — лет по 25-30, спрашиваю одного — зачем шёл, чего тебе там надо? «Поживешь — поймешь», — говорит... Еще раз я мельком увидел того парня — кажется, ему не повезло...

— Что раньше-то не сказал, а? — живо спрашивал Белесый, роясь в чемодане, и впервые я увидел улыбку на его лице, довольную такую.

— Думал, отпустите...

Нас отпустили. Слава Богу, дело кончилось штрафом. Сдали в милицию. После суровой казармы физиономии милиционеров казались удивительно симпатичными, прямо родными какими-то. Обидно, конечно, было платить, но что сделаешь. Ладно. Доглядев лондонский футбольный чемпионат, я вернулся домой. Там некоторое время тревожила местная милиция, извещенная о случившемся — дело в том, что у меня, человека свободной профессии (работал я тогда книжным иллюстратором), не было в паспорте штампа с места работы; это автоматически делало меня «тунеядцем», подлежащим высылке в места не столь отдалённые. Уладив с трудом дела, я уехал на юг...

Юг как юг. Ласковое море, лениво текущее время. Близкий морской горизонт прямо-таки гипнотизирует — совсем рядом, рукой подать... Проскочить бы эти двадцать-тридцать километров! Но я знаю — невозможно. Лодке тут не пройти. Попытки были, но обычно задерживали у самого берега. Одному только удалось уйти миль на пятнадцать — очевидно, исключительное везенье. Я вернулся домой в довольно-таки унылом настроении.

Неужели ничего нельзя сделать? Неужели мой мозг не в силах отыскать какую-нибудь лазейку? Я не видел выхода. Вот уж действительно «граница на замке», не уйдешь. Мрачная перспектива безрадостного существования на благо коммунизма нагоняла страх. Не уйдешь... Миллионные армии стерегут своих сограждан — солдаты, солдаты, всё утыкано этими зелеными человечками. Всё против. Система.

Что ж мне, смириться, что ли?

Я снова вспоминал всё — все эти годы, все бесплодные по-

пытки, унижения, которые пришлось перенести... Что же придумать?

Я начал всерьез обдумывать новый проплыв в Батуми — метрах в пятидесяти от берега. Надо же что-то делать. Хоть шансов-то, прямо скажем, тут меньше малого.

ГЕНИАЛЬНАЯ ИДЕЯ!

Гениальная идея осенила меня в октябре. Нужно прыгнуть с корабля между Ялтой и Новороссийском, километрах в пятидесяти от берега, с надувной лодкой в мешке.

Проклятье! Почему эта мысль не пришла раньше? Может, потому, что казалось бы нереальной тогда. Другие варианты выглядели лучше. Теперь — другое дело. Теперь — это единственный план, единственная возможность. Только это. Корабль идет далеко в море — сколько раз я плыл этим путем, и всегда ночью. Яростная радость охватила меня. Я просто подскочил на месте. Черт побери, — вот это мысль! Я смогу обмануть неусыпных тюремщиков, пробить железный непроходимый барьер. Как я надуваю лодку в воде — этого я не знал, да и что представляет собой лодка — тоже. Но поскольку это была единственная возможность, я не слишком мучил себя сомнениями. Будет лодка — будет видно, как и что. Раз это единственный вариант, я должен буду осуществить его. Сможет ли лодка пересечь море? Смогу ли я проплыть незамеченным — сторожевые корабли, самолеты... Ну, всего не угадаешь. Там увидим. Нужно купить лодку. Потом продумать детали.

Жизнь снова приобрела смысл, появилась кое-какая надежда. Теперь буду предпринимать практические шаги.

Я решил ехать в Ленинград, повидать приятеля. Предложу ему эту идейку, — думаю, согласится быть моим компаньоном. Не годится оставлять его.

Через несколько дней я был в Ленинграде. Приятель выслушал меня без особого восторга, но и без возражений: он знает, я никогда не действую наобум — всё, что можно предусмотреть, будет предусмотрено, старайся только не отставать. Я поручил Эдуарду высматривать лодку в Ленинграде, сам стану искать в Киеве — сейчас, конечно, ничего в магазинах не было. Нужно ждать. Договорились, что тот, кто купит, просигналил письмом, разумеется, иносказательно — осторожность не повредит. Поболтавшись некоторое время в Питере, вернулся в Киев. Ехал

через Москву — надо было и там проверить магазины. Ясное дело — ничего.

Ну, что ж, будем брать измором. Буду навещиваться каждый день. Впереди еще полгода, куплю где-нибудь. Должен.

Потянулось время. Почти каждый день я навещал магазины. Нет? — Нет. — А когда будет? — Неизвестно. Бывает несколько раз в году, сразу раскупается. — А нельзя ли заказать заранее? — Нет. Заходите.

Захожу снова и снова — и всё без толку. Так проходит два с лишним месяца...

И вот новость — были вчера в одном магазине, уже нет!.. Ясное дело, разошлись «по благу». Что же делать? Завести знакомство с каким-нибудь «завом», дать взятку?

Не очень хотелось этого, не умею я завязывать деловые связи, да и неохота обращать на себя внимание. К тому же, труженики торговой сети — народ осторожный, берут с опаской. Узнаю у продавщиц, звоню на торговую базу: кажется, будут в апреле. Ну, теперь не упустить. Времени осталось не так уж много. Кто знает, когда будет следующая партия. Нет, будь я проклят, если снова прозеваю! Я стал заходить в спортмагазины еще чаще. С приятной улыбкой расспрашивал продавщиц, наладил кое-какие знакомства. А лодки всё не было.

Лодка! Она стала моей навязчивой идеей. Мысль о том, что кто-то может перехватить «мою» лодку, не давала мне спать. Что будет, если я не успею достать ее к сезону? Снова пропадет столько времени, и опять — целый год ожиданий. Нет. Надо закончить всё в этом году. О-бя-зательно. Хоть сдохнуть.

Так прошло еще около месяца. Кошмарное время. Из Ленинграда ничего утешительного... Сколько еще ждать?

И вот, наконец, в начале марта — *есть!!! 100 рублей.*

Зеленый тугой мешок с лодкой и пара небольших весел в чехле. Это то, что даст свободу, или погубит. Ну, камень с души!

Конец осточертевшим поискам, беспокойным мыслям, тяготившим меня все эти дни.

Я сообщил приятелю, что дело сделано, позднее приеду сам, договоримся, как и что.

Однажды я вытряхнул корабль из мешка, прочел инструкцию. При лодке были меха со шлангом, тент и пара надувных кругов — сидений.

Да еще — мешочек с резиновыми заплатками (будем надеяться, что ремонт в пути не понадобится!). Посмотрю, в чем же предстоит покорять море. Разворачиваю лодку. Какая она тонкая, ненадежная с виду! Прямо в дрожь бросает, как подумаешь, что ждет впереди. Привинчиваю шланг, засекаю время, начинаю качать. Помпа для ноги, но руками жать удобно. Шипит воздух, борта начинают вздуваться... четыре минуты. Хватит, как будто. Лодка лежит передо мной на полу поперек комнаты — легкая, маленькая, — как легко вминаются поплавки. Уключины из черной резины.

Вставляю весла. Влезаю, сажусь, примериваюсь. Нужно сидеть в самом носу, борта на ширине бедер, ноги достают чуть ли не до кормы. В этой штуке я должен переплыть Черное море. Да еще со своим спутником. Ложусь, вытягиваюсь на дне — длина внутреннего пространства — точно в мой рост, ширина — полметра. Если считать толщину бортов, — лодка в длину 2,3 метра, в ширину — около метра.

Как же всё-таки мы тут уместимся? Тесновато будет. Да, ничего не скажешь, пахнет мировым рекордом — если, конечно, он будет установлен. Ну, тут выбирать не приходится — других-то лодок нет. Очень уж непрочная она с виду. Если лопнет в море, смогу ли я ее заклеить? На это надеяться особенно нечего. Нужно будет ухаживать за лодочкой, как за девушкой-недотрогой. Очень беспокоят уключины — нетолстые резиновые пластины с дыркой — выдержат ли? Впереди ведь около трехсот километров пути, примерно двести тысяч взмахов весел, — огромная нагрузка на уключины, на ткань бортов рядом с ними, на клееные швы этой посуды.

Не скрою, с большой опаской поглядывал я на свое приобретение. Дикая моя идея обретала реальность и от этого казалась еще более страшной.

Но ведь не отступать же. Ясное дело, нужно всё проверить, всё обдумать. Тут нельзя делать ошибок. Ошибешься — будешь покойником. Не хотелось бы.

Зато — какая задача впереди! Это дело, достойное настоящего мужчины. Пожалуй, не уступит по трудности и риску знаменитым плаваниям тех людей, которыми я восхищался. Я вспомнил всех их, гигантов человеческого духа. Да, вот это люди! Будь я проклят, если дрогну перед опасностью. Я сделаю, что задумал. Я должен сделать это, чтобы получить свободу. Да и поглядеть, чего я стою. Я подумал об американце Джонстоне,

первым переплывшем океан в рыбацкой лодке. «Я совершил это, — сказал он, — чтобы показать, что мы, янки, способны на всё». Не слабо сказано.

Я знал — когда настанет время действовать, я сделаю всё как надо. Нужно только всё тщательно продумать, решить множество вопросов, из которых каждый — главный. Один — что есть? — Очевидно, консервы. Что пить? — В основном морскую воду. Тут всё ясно.

Я хорошо помнил беспримерное путешествие Алэна Бомбары, его книгу. Теперь я перечитал ее с профессиональным, так сказать, интересом, извлек много полезного. Удивительно отважный человек, железная воля.

Особенно сильное впечатление произвел на меня один момент: в конце путешествия, после тысяч миль одиночества, он встретил корабль, взшел на борт. Нужно ли продолжать плавание, ведь основная часть пути пройдена. Цель достигнута. Он был в море долго, без воды и пищи, и выжил, переплыл океан. Остаться?.. Тут он слышит слова: «Никогда не знаешь, чего ждать от этих французов...» — и все колебания забыты. Истощенный, смертельно усталый человек снова плывет навстречу всем опасностям.

Ничего не скажешь, это — мужчина. Завидно. Черное море, конечно, не океан. Но зато наша лодка — малютка рядом с Бомбаровой, рекордно мала. И идти всю дистанцию надо на веслах — такого, вроде бы, еще не бывало. А начнется это путешествие так, как ни одному покорителю морей не снилось.



Через некоторое время я снова ехал в Ленинград. Следовало согласовать наши дальнейшие действия. И поглядеть еще раз на этот город. Всё-таки он был лучшим из городов. Из тех, что я знал. Я привык к его каналам, серым тусклым домам, мутному дымному небу. Привык даже к скверной сырой погоде. Город и погода как-то гармонируют. И белые ночи, к которым я никак привыкнуть не мог — плохо спал.

Хорошо, бывало, идти по пустым прохладным набережным, мимо молчаливой шеренги дворцов, только слышны по камням неспешные твои шаги. Утренний озноб выгоняет остатки ночного веселья, и всё видится необыкновенно остро: светлые улицы

умершего города, слепые окна домов. Лишь одинокие роботы-дворники несколько оживляют пейзаж.

Питер мог бы быть вполне приличным городом. Да и был когда-то.

В газете опять статья: ...я — как пример не поддающегося идеологической обработке. Ребята смеются: «Не могут тебя забыть». Ну что ж, это приятно.

Вообще-то намозолил я тут всем глаза, пора и честь знать.

Поболтаюсь еще тут немного, похожу по Эрмитажу; навещу свой любимый рыцарский зал. Иногда после картин хорошо бродить в малолюдных отделах древних кочевников, среди истлевших костей, ржавого оружия...

Быстро проходит время. Скоро мне собираться в дорогу, браться за дело. А компаньон мой уезжает в Сибирь, к матери — идея, на мой взгляд, не лучшая, но можно понять человека.

Договорились списаться, выяснить время и место встречи. Недели через две двинулся и я. Лучше всего видишь город, когда уезжаешь.

Прощай, Санкт-Петербург, прощайте, друзья, как ни прискорбно, но я сделаю всё, чтобы не увидеть вас больше. Думаю, вы не забудете «Гиганта», все же такой экземпляр не часто попадает. Прощайте, девушки — вы-то будете меня помнить? Честное слово, мне жаль оставлять кое-кого.

Возможно, мои поступки объяснили бы некоторые странности моего поведения. Чего ты хочешь? — спрашивали меня. Чего я хочу? Я хочу многого...

НЕ ВЕЗЕТ

Билет достался нелегко. Уехать всегда трудно, а летом на юг — и подавно. Жаркие озлобленные толпы у всех касс, толкотня, ругань. Привычная картина вокзала. Если бы собрать всю энергию, затраченную всеми пассажирами России на покупку билетов за последние пятьдесят лет — получилась бы фантастическая величина. Может быть, даже достаточная для построения «светлого будущего».

Но я всё же в вагоне, на третьей полке.

Тело обливается потом. Мы трогаемся. Страсти понемногу утихают, глядишь, — и спят уже люди, кто где.

Киев. Много еще нужно сделать, достать кучу разных вещей, всё окончательно подготовить, рассчитать. Времени — око-

ло полумесяца, не так уж много. А только для покупки веревки понадобилось несколько дней. Я обошел весь город; хозяйственные магазины, колхозные рынки — ничего, только тонкие какие-то веревочки... не плести же из них! Наконец, в одном спортмагазине нашел капроновый пятнадцатиметровый шнур — тонковат для лазания, но вдвое сойдет. Для воды купил литровых пластиковых фляг четыре штуки, больше брать некуда, да и ни к чему — всё равно пресной воды не хватит. Купил семь пяти-сотграммовых банок говядины, маленькую детскую лодку-поплавок, еще разную мелочь... Как я упакую всё это в рюкзак с лодкой?

Лодка прошла последнюю проверку, затем я аккуратно скалал её, выдавил воздух, привинтил шланг с помпой, клапан помпы заклеил пластырем. Тент, кое-какая одежда, консервы, веревка, малая лодка, фляги — мешок раздулся так, что больше уж ничего бы не запихнуть. И вес приличный — килограмм за сорок. Пусть теперь стоит наготове.

День отъезда я уже знал. Мы с приятелем обменялись серией писем и телеграмм, билеты я заказал за неделю.

День отъезда. Короткое прощание с родными, обычное прощание человека, уезжающего из дому на месяц-другой. А я ведь, наверное, не вернусь никогда, — или, если не повезёт, вернусь очень нескоро.

Вскидываю на плечи каменный свой рюкзак, вытаскиваю из угла чехол с веслами (он смахивает на подводное ружье, пусть так и думают), быстро выхожу. С трудом влезаю в троллейбус — проклятый мешок не проходит в дверь.

Зеленые улицы Киева, вокзал. Посадка в общий вагон — рубаха на спине лопается, хорошо, что взял другую. В вагоне обычная духота, крепкий запах ног. Едем. За стеклом бегут пологие холмы, белые домики в кудрявых деревьях, степи — с детства знакомый пейзаж родины. Не первый раз я уезжаю. Всё уже прочувствовано ранее. Но многое жаль оставлять, жаль... Скучно тянется время, спать что-то не хочется. Красивая девушка в соседнем купе, заговорить с ней? — К чему? Знакомство оборвется быстро, у меня не будет времени. Всё же заговариваю. Славная девушка, жаль, что нет времени, честное слово...

А вообще-то пора ложиться. Надо выспаться как следует.

Пробуждаюсь, когда поезд уже вблизи Симферополя. Собираю вещички. Вот и перрон. Суется люди, заглядывают в окна вагонов. Знакомая фигура за стеклом — мой компаньон на месте,

пробирается в вагон. Привет! Подхватываю мешок — и на вокзал — надо еще взять Эдуардов рюкзак из камеры хранения и сразу к троллейбусу. До Ялты добраться не просто, — человек сто в очереди, придется постоять немного.

Припекает. Минут через сорок мы у кассы, а там и в троллейбусе; путь долгий — часа два впереди. Подремлешь, снова глядишь в окно. Хорошо бы сразу сесть на пароход...

Поворот дороги — и меж выбеленных солнцем холмов встает море, синяя стена, растворяющаяся в небе. Люблю смотреть на море. Всегда это радует меня. Тут, в Крыму, я увидел его в первый раз, вошел в ласковые зеленые волны. Незнакомый вкус на губах. Мутные солнечные блики на песчаном дне. Когда переворачиваешься на спину, над лицом колыхнется в воде солнце.

Море не было для меня просто водой, оно казалось скорее огромным каким-то существом, спокойным и сонным, лениво лижущим берег, или злобным, с бессмысленной яростью бьющим тело о камни.

Меня не пугал шторм. Лучше всего плавать тогда, веселое какое-то возбуждение гонит в море. Любопытно, как оно встретит меня теперь? Где-то там, за горизонтом, я прыгну в ночную воду.

Хорошо, если бы удалось с первого раза. Может и не получится так, слишком уж было бы всё гладко, может быть, понадобится несколько рейсов — ну что ж, будем ездить, пока не выберем момента. Только бы удалось. Хватит уж судьбе испытывать меня.

Дорога ныряет вниз, пропало море. Каменистые склоны, пыльная зелень. Вот и Ялта. Стоп. Выгружаемся, садимся перекусить за каким-то киоском на горке.

Затем на троллейбус, в порт. Там — удача. Теплоход прибывает в 4 часа, отправление в 7. Нужно обязательно сесть. Это задача сложная, толпа дежурит у касс, записываются в список под номерами. Записываемся и мы — примерно 150-м номером. Плохо дело.

Повезет, если много свободных мест. А если их нет? — придется проникать без билета, с грузом не так-то просто. Сговориться бы с кем... Рядом стоят девочки — едут в Сухуми. Болтают с ребятами, у тех один втерся в очередь в районе кассы, наверное, возьмет несколько билетов. Следует столкнуться с парнями — могут пригодиться. Зондирую почву.

Кассу скоро откроют. Очередь напряглась — вывешивают

«места». Ну, так я и думал — нам не хватит. А может, прибавят мест? Будем ждать.

Наконец, кассы открыты. Наблюдаю взволнованную толпу со стороны. Каждый держится соседа, глядит неприветливо, тут же и блюстителю порядка. Не влезешь. Что-то на нашего восточного человека насаждают — ага, он и девицу за собой втащил — крики, брань, апеллируют к милиции, как бы не выперли его. Нет, кажется, удержался. Берет? Есть! В результате — 5 билетов на 12 человек. Это не так плохо. Сядем, пожалуй, только не отрываться от коллектива. Стаскиваем вещи вниз, к выходу на причал, ждем. Корабль уже прибыл. Большая посудина — «Россия». Название очень уместно для данной ситуации. Переносим все имущество к посадочному трапу. Посадки еще нет, но по второму трапу снуют пассажиры, — те, что приехали. Можно попробовать пройти без вещей, их занесут другие. Просачиваемся. Внизу остается груда рюкзаков и чемоданов и пятеро ребят с билетами — они и вносят весь этот груз.

— Ну и мешок у тебя, сломал плечо, — жалуется восточный человек.

Угощаем всех кедровыми орехами — у Эда внушительный запас, пусть грызут, чем меньше будет имущества, тем лучше.

Оставляем вещи на палубе, возле спутников, весла прикрываю мешками — к чему лишние разговоры, ещё заинтересуется кто моим «подводным ружьем». Изучаем корму. С верхней палубы на швартовую ведут два трапа у кормовой надстройки. Верхняя палуба короче нижней, сверху корма не прикрыта, лишь голый каркас палубного тента. С тентом было бы удобнее — очень уж просматривается это место со всех сторон. В коридорах по бортам — скамейки, там уже располагается публика. Ночью здесь будет полно народа. Вверху устроились туристы, растянули палатки у самого края, — из палаток, правда, много не увидишь, авось не будут мешать.

Скоро отчаливаем. Матросы возятся на корме, трапы подняты. Заработали машины. Зеленая вода у бортов стала мутно-желтой, глубоко внизу винты поднимают ил. Всё шире полоса моря между нами и берегом, медленно движется огромное тело корабля. Люди внизу и вверху машут руками, кричат что-то друг другу. Удары винта сильнее. Уходит причал, тугой ветер уносит звуки земли. Глухой гул машин. За кормой — широкий след вспененной воды. И чайки летят за нами, ловят что-то в волнах, тоскливо вскрикивают...

Пора, однако, браться за работу — нужно переложить часть вещей из моего мешка в другой, всё на свои места, всё проверить. Работа на первый взгляд несложная, но заняла она часа полтора.

В главном мешке я оставил только большую лодку с помпой и маленькую, вспомогательную, и кроме того, в карманах — консервы, фляги, клей, камеру для мяча. Я решил сунуть внутрь и одно из надувных сидений. Остальные вещи — тент лодки, одежда и часть продуктов пошли в другой рюкзак, меньший. Постепенно маленький тоже раздулся до предела, а мой вроде бы и не уменьшился, стал разве что помягче...

У приятеля оказалась куча вещей — от рубах с запонками до ботинок, — один пиджак с брюками сколько занимал места! Чёрт знает, о чем человек думал, когда собирался «на дело». Много было всякой мелочи, коробки какие-то, сувениры, вдобавок обнаружился еще мешок с кедровыми орешками — хорошо, что наши спутники справились со вторым.

Что со всем этим делать? — не выкидывать же за борт, кто знает, как пойдут дела сейчас. Я решил провести некоторую чистку, кое-что изъять. Компаньон мой, человек довольно упрямый, сопротивлялся, отстаивая каждую мелочь; всё это вызывало у меня изрядное раздражение. В конце концов решили лишние вещи сложить в «авоську» — дальше будет видно, что делать с этим добром.

Некоторые вещички могли бы вызвать ненужный интерес соседей, поэтому я старался не слишком привлекать внимание к своей работе.

Один из ребят, такой с виду пляжный парень, спросил не без иронии: «С этими мешками вы по горам ходите?» Подобное времяпрепровождение, видимо, не слишком ему импонировало. Да и сам я не такой уж энтузиаст туристских походов. Любопытно было бы увидеть реакцию нашего спутника, знай он, что с этими мешками мы собираемся прыгать в море.

А времени, между прочим, оставалось не так уж много до срока. Следовало выбрать позицию поудобней. Мы перенесли вещи ближе к корме, к трапу — тут и вода недалеко, внизу гальюн. Уж стемнело. С освещенной палубы еще черней казались волны. Они шипели у бортов — не так уж далеко, но и не близко, примерно метрах в шести. Лучше, конечно, спускаться по веревке, это надежней. Удар о воду при прыжке с такой высоты вызовет сильный шум, и рюкзаки могут оторваться. Зато спуск потребует дополнительного времени — тоже опасно, могут заме-

тить. Но все же будем лезть по веревке. Для меня, даже с тридцатикилограммовым мешком за плечами — это дело несложное; еще весла — привяжу к мешку, да не упустить веревку потом — ну, уж как-нибудь справлюсь. Эдуарду трудней, придется ему поднатужиться. Только бы выдался удобный момент, где-нибудь между часом и тремя. Будем ждать.

Пока что на палубе народа хватает, ложились бы спать скорее. Туристы в основном уже устроились, влезли в свои спальные мешки, только головы торчат — народ бывалый.

Неплохо бы самому прилечь — дневная усталость вяжет тело, туманит глаза. Нет, нельзя, проспшишь время. Посижу, послушаю музыку. Сквозь пелену ветра рвется из репродуктора бодрый английский голос. Приличные вещи. На верхней палубе танцуют. Долго ждать...

...То ли дело уходить в рискованное плавание с легкой душой, когда тебя провожают друзья: в море будут с тобой их сердца и мысли; о тебе знает мир, и, если не повезет, ты не будешь забыт, смелость будет твоим памятником.

Ты не таишься от всех, не несешь груз вины перед близкими, которым в любом случае причинишь горе... У меня большая коробка с домашним печеньем, мамино изделие — грех выкидывать, усердно жую.

Эдуард ушел вниз контролировать корму, там и задремал на бухте троса. За кормовой надстройкой сидит на скамейке влюбленная парочка. Еще нет одиннадцати.. Полежу немного, слегка отдохнуть не вредно полчаса. Шумит ветер, подрагивают звезды. Приятно лежать. Зябко чуть, — это неплохо — не уснешь. Всё же я задремал, ненадолго. Хорошо во сне, уходит тревога, нет корабля, ночной воды... Стоп! Что это я? Сейчас нельзя спать. Как расслабляет сон! слабеет воля, вялым становится тело, диким представляется то, что ты должен сделать. Холодный ветер гудит над палубой, и черная вода за бортом кажется еще холодней.

Который час? — Уже около двенадцати. Пора готовиться. Стало поспокойней, многие уже уснули, спят и туристы в палатках. За рубкой по-прежнему сидит пара, лицом к корме — интересно, надолго их хватит? Спускаюсь по трапу. Внизу еще бродит кое-какая публика, несколько человек спит на канатах, среди них Эд. Пока не стоит его тревожить. Возвращаюсь к рюкзакам. Прохладно тут всё-таки, как бы не продуло — совсем это ни к чему, болеть нельзя.

Быстрее бы кончилось ожидание, скорей бы начать действовать. Трудней всего — ждать.

Жду еще час. Иногда заглядываю за рубку — как там? Тесно прижавшись друг к другу, сидят влюбленные — этим не до сна. Плохо дело. У них, правда, свой интерес, но прямо перед глазами — освещенная корма, не хочешь, а увидишь. Проклятье! Как я не догадался занять сразу эту скамью — отпала бы лишняя забота. Теперь их выжить трудновато. Подхожу, становлюсь рядом — может, это подействует? нет, не берет. Да и мне как-то не по себе — я всегда уважал любовь, грешно мешать влюбленным. Отхожу в сторону. Проходит еще с полчаса — то же самое. Ну, людей тоже можно понять. На корме торчит еще кто-то, смотрит в бегущую воду. Жду.

Ну, наконец-то! Парочка подымается со скамейки — уходят?! Нет, остановились... И смыкаются в тесном, страстном объятии. Проходит минута — и они снова садятся на скамью. Намертво!..

Неужели случай помешает нам? Пропадет рейс — и опять всё. Снова обязательные очереди, ненужные волнения и усталость. Спускаюсь вниз, все же надо подготовиться, может, улучшить момент. Поднимаю мешок, один, другой — какая все-таки тяжесть! И с этим грузом за плечами нужно лезть в воду. Прямо жутковато как-то. Понятно, что в воде они легче, да и поплавки там, а все же... Теперь мы километрах в ста пятидесяти от Ялты, а ближайший берег километрах в пятидесяти-шестидесяти. Схожу вниз. На корме всё тихо, спят люди. Сваливаю груз под рубкой у канатов.

По трапу — спотыкающиеся шаги, громкий кашель, спускается какой-то тип в белой рубашке, парень лет двадцати.

Скрылся в гальюне. Вскоре появился вновь — ухмыляющаяся пьяненькая рожа, ежится как-то.

— Что, не спится, а? — Разговора я не поддерживаю. Еще не хватало приятеля, чёрт принес.

Приходит и второй. Долгая беседа.

— Что-то спать неохота, а? Сделать бы чего-нибудь чудное, а? Охота чего-то такого...

Тоже жаждет по пьянке приключений.

Идет время. Бужу Эдуарда. Пусть подежурит, хватит с меня. Ложусь на палубу у мешков. Хороший угол. Гудит вентилятор, гонит откуда-то теплый воздух. Изрядно я продрог. Погреюсь немного. Хорошо... Глохнут в ушах бессвязные речи соседа, мертвый сон наваливается на меня.

Будит внутренний толчок, таращу глаза — хмурая физиономия партнера говорит, что хорошего мало, да я и сам слышу — проснулись и другие, разбудил их этот кретин. Всегда не любил пьяных. Ладно. Сплю дальше. Просыпаюсь.

— Как там наверху?

— Сидят.

Ну, ясное дело, сидят. Будут до утра сидеть теперь. Я сам, бывало... Так проходит время до четырех. Дальше ждать не имеет смысла, скоро будем вблизи берегов. Пропало дело.

Ладно. Берем вещи, поднимаемся на крытую палубу. В шезлонгах и на полу густо спят пассажиры. Находим свободное место, засовываю весла под скамью, ложусь на палубу. Тут нет ветра. Дыхание спящих людей. Теперь можно не вставать до утра. До Новороссийска. Спим.

ИСПЫТАНИЕ ТЕРПЕНИЕМ

В Новороссийск пароход приходит в 7.30; часов с шести пассажиры готовятся к высадке. Еще не совсем проснувшись, мы провели краткое совещание и решили, что лучше сойти не здесь, а в Туапсе: там места знакомые, найдется где и переночевать — кто знает, сколько ждать обратного рейса. Высадимся через пять-шесть часов после Новороссийска, это дела не меняет. А теперь поспим еще...

Спали часов до девяти, потом вышли на палубу. Яркое светило солнце, голубая вода выглядела куда приветливей, чем ночью. Валялись, щелкали кедровые орешки — запас их казался неисчерпаемым, время от времени наведывались к вещам — как бы не утащили чего, это подсекло бы весь план под корень.

Может, все-таки можно было прыгнуть? Выбрать момент? — Нет. Всю ночь бодрствовали влюбленные и не спали ребята на корме. Совесть как будто чиста.

Тянется знакомый берег, вон и Туапсе показался, город краткой моей карьеры в Художественном фонде. Вскоре поравнялись с портом. Что такое? Корабль идет прежним курсом, к берегу не поворачивает — неужели не заходит в порт? Ясно, так и есть. Опять сюрприз. Ну что ж, высадимся в Сочи, делать нечего. Это несколько усложнит дело. А впрочем, может быть, это к лучшему — не придется беседовать со знакомыми, объяснять причины нашего появления и скорого отъезда. Скучновато, прав-

да, плыть столько. Пожуеть сала, попьешь водички — и на боковую. Тихо-мирно. «Какие скромные ребята, прямо как девушки», — умилилась одна тетка.

К вечеру прибываем в Сочи. Тут много выходит пассажиров, вся палуба у сходней забита людьми и вещами. А у выхода два контролера проверяют билеты. Опасно. Только разогналсЯ к другому трапу — стоп! милиция. Ну, нет. Лучше иметь дело с теми, у первого. Поворот. Держа на весу внушительный свой рюкзак и авоську, лезу напролом, соответствующее моменту выражение лица. Прошел. Сзади Эд. Что-то у него не так.

— Ваш билет? Билет!

Быстро выхватываю у компаньона чехол с веслами, прохожу вперед.

— Ваш-ши билеты!?

— Коля! Коля! — ору я в чьи-то спины, создаю видимость коллектива — где-то там, мол, билеты.

Вот и Эдуард вырвался. Еще не хватало, чтоб нас задержали тут. Поток пассажиров катится в город. Мы сразу к камере хранения — сдать вещи, затем к кассам. Корабль приходит завтра.

Записываемся. Дело привычное. Народа пока немного, дали бы только места, теплоход небольшой, «Таджикистан». Ну, «утро вечера мудренее».

Идем в город. Теплый южный вечер, дефилирует публика, — удивительно, что не попадаетсЯ никто из знакомых (и слава Богу). Посидели у моря, потом отправились на вокзал искать местечко для ночлега. Зал ожидания совсем пуст, скамейки по углам. Заняли одну, легли валетом. Куртка под голову, рукавом прикрываю глаза — очень яркие лампы, и засыпаю часов до шести утра...

Позднее я с удовольствием вспоминал этот ночлег, сон на твердой полированной скамье. Было тепло, и никто не будил ночью — всегда бы так.

Уборщица подняла рановато, но выспались хорошо. Теперь можно и в очередь, народ уже появился у касс. Снова какие-то списки, выясняем свое местоположение, пристраиваемся вблизи окошечка. Часы ожидания — и вот билеты в кармане. Мы свободны, можно пойти к морю. Уходим далеко от пляжа по скользящему карнизу дамбы, тут только ребятинки — ловят рыбу, плюхаются со стенки в зеленую воду. Чудесно отдыхать у моря, всем телом чувствовать мощное его дыхание, нырять в прохладную глубину. Стайки мельчайшей рыбёшки снуют туда-сюда, мгновенно

венно меня направление... Часа через три ушли. Хорошего немного, не стоит перегреваться на солнце, тратить энергию — она нам еще пригодится.

Сидели в парке, бродили по городу; корабль уходил поздно вечером и времени было хоть отбавляй.

В спортмагазине я увидел нечто знакомое — родная сестра нашей лодки висела на стене; на расстоянии она выглядела еще менее надежной, «воздушной» в полном смысле. Я указал на нее Эду:

— Вот она, ознакомься, — отошел, стал наблюдать его реакцию.

Долго глядел он на неё. Зрелище, конечно, было не слабое. Не знаю, какие мысли бродили в его голове тогда, особого оптимизма я не заметил, услышал только:

— Это примерно то, что я ожидал увидеть.

Наконец, посадка. Забираем вещи и с билетами, как порядочные люди, поднимаемся на борт. Впереди спокойная ночь. Не нужно ничего предпринимать, так как идем мы вблизи берега. На крытой палубе отличные диваны, мягкие. Тут и расположимся. Тепло, не дует. Славная будет ночь.

Снова день на корабле. Раньше я всегда плавал здесь ночью. Курс не совсем обычный — идем в Ялту, не заходя в Новороссийск.

Вокруг яркое солнечное море без берегов. Здорово было бы прыгнуть сейчас, горячее солнце быстро высушит одежду, корма низкая, если повиснуть на руках, будет метра два до воды. И винты неглубоко, шум их заглушит всплеск. Может, удастся как-нибудь? Оглядываю палубу. Нет, и думать нечего, невозможно, как бы ни хотелось — десятки людей на корме, многие рассматривают море. Ничего тут не сделаешь.

Буду и я любоваться пейзажем, другого не остается. В Ялту пришли под вечер, высадились и сразу на вокзал.

У причала — большой корабль. Скорее! — успеть бы на него, взлетаю по знакомой лестнице к кассе:

— Дайте билеты — два!

— Что вы, молодой человек, уже нет посадки, корабль уходит через пять минут.

Чёрт побери, не везет.

— Когда следующий?

— Послезавтра.

Снова ждать... и две ночевки. Снова надоевший ялтинский «зал ожидания». Поехать бы в Алупку, но там куча знакомых,

не стоит мозолить глаза, лучше тут. Занимаем скамейки. Жуем хлеб с салом, усиленно пьем воду (чтоб не обезвоживаться). Лягу я — делать всё равно нечего. Мешок под голову, спортивную шапочку на нос — засыпаю.

...Что-то тревожит во сне, неприятно-знакомое, чей-то голос — надо проснуться.

— Кто такие? А вот сейчас проверим документы! Ваши документы! Почему здесь? Туристы? Ишь ты, из разных городов — странно. Вещи в камере? И вещи проверим...

Сон слетает мгновенно. Милиция. Рядом скверный разговор. Продолжаю лежать, никуда не денешься. Спокойно! я сплю! Кого это они зацепили? Какие-то девочки. Сейчас возьмутся за нас. Мы — туристы, вещи при нас — а вдруг полезут? — к этому идет. Содержимое может навести на размышления. Опять начнется, как в Выборге. А в паспорте нет штампа с места работы — придерутся... Шаги. Кто-то трогает за плечо, мычу что-то, «просыпаюсь», хлопаю глазами с непонимающим видом.

— Ваши документы!

Достаю паспорта. В штатском, невзрачный такой. Вежливый. Листает паспорт. Мой. Эдуарда. Отдает.

— Извините!

— Пожалуйста.

Вежливый... Снова ложусь. Шаги. Толчок — ну, это уже милиция.

— А ну, вставай!

Приподнимаюсь с безропотно-ошалелым выражением.

— Документы!

— Я уже проверил, — голос штатского.

— Проверил? — и отходит, неохотно так.

Да, удачно обошлось. Обмениваемся с приятелем взглядом. Пробуждение не из приятных, сразу и не уснешь теперь. Не нравится мне это. Надо отсюда сматываться.

Дотянем до утра — и в Алупку, теперь это самое разумное. Утром так и сделали: сдали багаж, записались в очередь четырнадцатыми и на морском трамвайчике поплыли в Алупку. Катер шел у самого берега. Красивые места. Скалы, заросшие лесом склоны... Правительственные дачи. Вон то прозрачное сооружение — бывшая хрущевская купальня, вода, говорят, подогревается.

А вон и знакомые камни пошли, Воронцовский дворец. Как домой едешь. Порядочно я тут болтался, есть что вспомнить...

Неплохо прошло время и теперь. Море, скалы, деревья пар-

ка... До чего красивы эти жители земли — стволы, ветви, протянутые к небу. Будь я реалистом — всё время рисовал бы деревья.

На следующий день мы отправились назад в Ялту. Пришел «Таджикистан», но билетов не было, сесть не удалось, как я ни старался.

Пришлось возвращаться ни с чем. Я бросил в воду жестянку с надписью: «Никола-угодник, помоги нам!»

Помоги мореплавателям выйти в море! Необходимо сесть на следующий корабль — через два дня приходит «Россия».

Два дня пролетели быстро. Мы плавали, ныряли со скал и не очень-то думали о будущем.

Всё уж и так передумано. Неплохо, что мы здесь, невредно рассеяться после этих нервных дней. А в общем-то, кочевая жизнь пошла вроде бы и на пользу — организм как-то втянулся, вошел в форму — теперь всё нипочем.

Как-то одна девица пошутила: «Смотри, там за морем Турция: давай плыви туда». Забавно было слышать.

И вот день отъезда. Снова эта осточертевшая Ялта, видеть бы её в последний раз. Что-то история затянулась. А если не удастся и сейчас? Эд говорит, что, может быть, уедет, у него авиабилет в Ленинград, через три дня ждет работа в театре. Ну, дело хозяйское. Я не вернусь. Денег вот маловато...

С билетами всё прошло гладко — взяли себе и еще какой-то юной парочке, почему не сделать доброе дело? Билеты в кармане, не нужно утомлять себя «телепатической» посадкой.

Сидя на набережной, мы смотрели на теплоход — он стоял у причала, большой, белый, два матроса, вися над водой, красили борт. Высоко всё-таки. Ну, веревки должно хватить.

Надо поесть как следует на земле. Я купил охалку мясных пирожков и в дорогу пару банок сгущенного молока. Да еще три порции пенициллина — от простуды.

Всё. Теперь можно и отправляться. Берем вещи — и опять на «Россию», а там — сразу же на корму, занимать ту проклятую скамейку, приют влюбленных.

Где же она? — Нет ничего, убрали, а над всей кормой, вровень с верхней палубой, натянут тент, так что сверху ничего не видно. Вот удача! Это здорово упрощает дело. Располагаемся на скамье у одного из трапов.

Дрожит палуба, отваливает от причала корабль — всё, как в первый раз. Как будет дальше? Ну, теперь хоть душа вон —

я выберу момент. Буду стеречь каждую минуту, каждую секунду. Ведь и нужно-то секунд десять-пятнадцать.

Опять, как тогда, стелется широкий след за кормой, уходит, синее берег, летят чайки, отстают, снова догоняют нас.

Отступают горы, теперь до них — километров десять... потом — двадцать, если судить по скорости корабля. Как далеко можно видеть берег? Вечерний воздух постепенно поглощает его, и вот не разобрать уже — земля это или закатные облака, укрывшие солнце.

Мы сидим на толстых чугунных кнехтах, еще теплых от дневного жара, смотрим, как все, на струи винтов, на шумящую пену, на чаек, всё летящих за судном, для них всё море — дом, садятся, ныряют в волны, проносятся совсем рядом. Мне приходит хорошая мысль — не спускаться с рюкзаками, а опустить их вначале на веревке.

Надо подумать. А место это удобное — по крайней мере контролируешь один из коридоров, а другой прикрыт рубкой.

Чтобы пройти расстояние до кормы (увидеть нас!), понадобится секунд пятнадцать-двадцать. Трапы рядом, можно быстро проверить верхнюю палубу. У туалетов еще выход снизу — многовато всего, глаза разбегаются...

Ну да ладно, только бы не мешал кто на корме. Сработаем. Железная стойка тента торчит над бортом, её надо использовать. Борт у кнехтов прорезан овальной дырой — можно и сквозь неё, снизу, если понадобится, а лучше, конечно, махнуть через борт — проще.

Тумба лебедки, метрах в пятнадцати, отчасти закрывает от взглядов из коридора — слабое, конечно, прикрытие, но все-таки кое-что.

А где винты? Как бы не угодить: от кормы метра три-четыре. Гляжу за борт, вода бурлит под нами, ближе к носу. Можно, я думаю, тем более, что винты глубоко. Скорость большая, сразу очутишься позади.

Сейчас мне всё ясно. Можно уходить отсюда. Надо еще проверить вещи, переложить кое-что.

Зажглись лампы на палубе, музыка. Как много всё-таки вещей, из малого мешка часть придется вынуть — некуда сунуть поплавков.

Заставляю Эдуарда выкинуть еще кое-что. Однако это проблемы не решает. Придется сунуть излишки в сетку, — прицеплю к мешку.

Порядочный тючок: костюм, ботинки, рубахи — чёрт бы их взял! Если в авоське кусок сала и пирожки — никак не доесть, а надо бы — в море с пищей будет слабовато.

Пока все. Теперь времени много, часов до двенадцати не уйдут.

Эд бродит по кораблю. Скучноват он что-то. Я его понимаю. Было и у меня кое-что в тот рейс. Теперь — нет. Я спокоен и бодр. Плохие предчувствия, тягостные мысли не тревожат меня. Сейчас я верю в успех. Близость действия возбуждает, весело даже как-то.

Мои родные... может быть, они простят меня... они должны понять — нет мне жизни в клетке! Что поделаешь, я не рожден рабом.

Время близится. Пора сделать еще кое-что, последние приготовления. Я проверил надувные сиденья лодки и вложил по одному в каждый рюкзак, а трубки вытянул наружу — теперь их можно надуть за полминуты. Кроме того, в карман большого рюкзака сунул резиновую игрушку, а в малый — камеру мяча, для верности; хватило бы, конечно, и кругов, но в таком деле лишняя пловучесть, думаю, не повредит. Теперь очередь веревки. Присев за мешком, я начал сматывать шнур в клубок. Пятнадцать метров — не так уж мало, получился моток объемом в два кулака, сунул его под клапан рюкзака с лодкой, а конец привязал к кольцу и к одной из лямок накрепко, было бы невозможно оторвать. Проверил лямки второго мешка, чехол с веслами — как будто всё. Да, еще авоська, пристегнул её к одному из рюкзачных карманов. После этого оделся: под рубаху — шерстяную фуфайку, на ноги — толстые носки и спортивные тапочки, те самые, что участвовали в батумской аванюре.

Готово.

Можно взглянуть на корму. Спускаюсь. Эдуард спит на своем обычном месте, на канатах. Тут же парочка — без этого, видно, не обойтись... хорошо, хоть скамейки здесь нет!

Парень старается вовсю, песни поет, чуть не пляшет — девица-то ничего. Ладно, пойду наверх пока.

Поднялся к вещам, лег. В темном небе подмигивали злые звезды. Прохладно будет, ясное дело. Не скоро высохнешь. Ничего не поделаешь, придется терпеть. Хорошо бы вздремнуть, но нельзя, нечего расслабляться, и времени мало — уже одиннадцать, успокаивается народ. Ходят еще вниз-вверх по трапу в

гальюн. Иногда проходят дежурные с повязками, показалась пара милиционеров — носит их чёрт тут!

Как там корма? — иду туда — ага, парочка уходит. На канатах у трапа (слева) спят двое, третий улегся на палубе рядом с Эдуардом — метрах в пяти от «нашего» места. Останавливаюсь над ним — как будто хорошо спит.

Что в коридорах? — там всё утихло, люди лежат на скамьях.

Время — около двенадцати. Пора. Подхожу к Эду, трогаю его, открывает глаза.

— Пора!

Идем к вещам, всё надо снести вниз.

Складываю рюкзаки у тросов, за которыми спит человек, сцепляю их лямками, одну пропускаю через ручку чехла с веслами — пришита крепко, должна выдержать. Готово.

Теперь напиться воды в последний раз. В туалете пока никого. Наполняем пустые фляги, одна уже упакована. Документы! Паспорта лежат в полиэтиленовом мешочке — вкладываю его в другой, туго закручиваю и перетягиваю резинкой, кладу в карман брюк. Компас засовываю в самое удобное для этой надобности резиновое изделие. Часы. В последний раз смотрим на циферблат: половина первого. Упаковываем и часы, они еще пригодятся для определения курса.

Как бы не зацепился шнур, всякое бывает. Открываю нож, окручиваю бумагой лезвие, — будет в кармане под рукой, резаю, если что.

Ну, как будто время действовать. Быстро надуваю поплавки. Оглядываю коридор — в порядке. Как второй, с правого борта? — нормально. Время? Стой, стой, только не ошибаться. Снизу выходит человек, поворачивается, идёт вдоль борта. Чёрт! Опасный трап, не видно, что делается внизу. Как на верхней? Поднимаюсь, прохожу по палубе — те же лежащие люди. Вниз. Пора. Каждый нерв напряжен — ну, что ты слышишь? Начинать? Смотри, не ошибись, — наверняка, только наверняка. Компаньон говорит, что одна фляга неполна, — отпили, надо бы долить, — нет, чувствую — не время, нельзя терять ни секунды. Давай!

Подтаскиваю вещи к борту — порядочный груз. Начинать? Стой, последняя проверка — сверху по трапу — никого, вниз — коридоры? — в порядке, Эд рядом — пошел!

ПРОЩАЙ, РОССИЯ!

Раз шнур в руке зацепился, сволочь... Идут секунды — ослабляю пряжку — вытащил, швыряю клубок за борт, рядом со стойкой тента, — разматываясь, летит в темноту. Крепко захватываю шнур, переваливаем всю связку за борт, шнур натягивается, тонкий и скользкий.

Широко перехватываю руками — раз — два — три — четыре, — как там? — пять, — шумит темнота — рвануло веревку — стоп! Груз на воде. Стискиваю в кулаке двойной теперь конец, перемахиваю через борт — крепче руки, не скользить — раз, раз, раз — темп! — свистит по ногам шнур. Внизу, в шуме, брызгах, пене — темное, прыгает — оторвёт? — что-то мелькнуло, пропало. Дернуло ноги, холод — как тащит! Гул, резкое шипенье воды — как Эд там? — вверху болтающиеся ноги, спускается — скорей! — руки у моих рук — всё.

— Пускай! Всплеск, темнота — и тишина.

Миг — и снова видят глаза, под руками упруго колышется рюкзак, плавает, как пробка. Где пароход?

Огни в темноте, видна корма — уже далеко, но еще так близко — большой корабль.

Уходит? Всё в порядке? Никто не заметил?

— Стал!

Не понять, неужели стал, что делать?

Не-ет, идет, слышу гул машины. А ведь действительно не разберешь сразу, идет или стоит. Вроде бы и не уменьшается в размере.

Уходит. Ну, прощай, «Россия». Твердая сухая палуба. Теперь всё вокруг — вода, только вода и ночь. Дикое несколько ощущение. Мы висим на мешках. Два мешка — а вёсла?! — тут... А вот авоськи нет, оторвало-таки. Ну и чёрт с ней, с гардеробом, меньше хлопот, сало жаль только, большой еще был кусок, плывет теперь где-то.

Система сработала идеально, свободный конец шнура легко выдернулся; разжав руки, мы упали на мешки и не почувствовали никакого рывка.

— Руки, — говорит Эд, — руки ободрал, пролетел метра три по веревке...

— Что ж ты?

— Да так как-то вышло. Болит.

Плохо. Знаю, как это бывает, сразу горит кожа. Всё ведь говорил ему: перехватывай! ну, в такой момент мог и забыть.

Где наш кораблик? Пропал — ага, вон он, теперь уже меньше огонь. Прохладно всё-таки. Вода спокойная, чуть плещет волна, вспыхивает под рукой яркими огоньками, прямо как во сне.

Во все стороны — небо и звезды. И мы одни в море...

— Давай доставай лодку.

— Сейчас.

Я не спешу. Лучше не торопиться. Все помнить и делать на-верняка. Как там лодка, всё ли в порядке — столько дней ведь в мешке.

Холодная вода, дрожь пробирает. Длинная ночь впереди. Расстегиваю мешок, достаю тугой пакет — детская лодка. Сбрасываю чехол, трубку в зубы — вдох носом — выдох, зажал зубами, вдох... быстро пухнет вспомогательная лодочка. Готово. Сажусь сверху, осела, но держит на поверхности — вполне можно работать.

Теперь очередь большой.

Вытащить её — дело нелегкое, мешок крутится в воде, не во что упереться, — плаваешь, как в космосе, в невесомости, да и сильно дергать опасно, вдруг оторвется что-нибудь, тогда скорее всего наше путешествие не состоится. Призрачно светящийся Эдуард подплыл с другой стороны, ухватился за мешок, общими усилиями мы вытряхнули лодку. Она распласталась на воде, поперек моих ног. Как будто все в порядке: шланг — на месте, заклейка на помпе — на месте, воды, значит, нет внутри, отдираю пластырь, — можно качать. Сжимаю помпу ладонями — почему-то очень туго идёт, с хрипом... странно, сильнее давить не стоит — еще лопнет клапан или другое что. В чем дело? Проверяю шланг — ну, ясно. Перегнулась трубка и воздух не проходит. Качаю дальше — как будто никакого результата, еще качаю.

И вот стала толчками вздуться серая масса, выпрямляются вялые борта, корабль приобретает форму. Работаю еще с минуту. Туго пошло, кажется, хватит. Щупаю — вроде бы готова лодка, невесомо качается на волнах, гладкие тугие поплавки.

Переворачиваем судно, выливаем воду, Эд переваливается через борт внутрь. Забрасываю мешки, весла, круг, маленькую лодку, забираюсь сам. Можно было бы и не выливать воду — сейчас ее опять полно.

Минут десять работаю кружкой, посуда мала, медленно «осушаемся».

Ну, сойдет пока, все, видимо, не вычерпать, своей тяжестью мы вгибаем тонкое днище, вода заполняет вмятины. Хорошо хоть сиденья есть, а то бы совсем сидеть в воде. Я и не предполагал, что будет так сыро на «палубе».

Осторожно отвинчиваю шланг — клапан в порядке, где пробка? Ага, вот она, на шнурке — туго её завинчиваю (как бы не перестараться, место слабое!), окручиваю шланг вокруг помпы, сую всё в рюкзак, рюкзаки кладу на корму за сиденье — тут будем спать.

Вытаскиваю тент, будет ли с ним теплее — увидим. Сейчас пора заняться веслами. Вынимаю их из чехла, вставляю в уключины, насаживаю резиновые втулки — теперь можно и плыть.

А что было бы, оторвись вёсла тогда? — наверное, пришлось бы ждать утра, вплавь прочесывать этот участок. Только случай мог бы тут помочь, это ясно.

Берусь за вёсла. Куда плыть, где наш ориентир? Никак не увидеть Большую Медведицу... Крутится лодка, кружатся звезды — ага, вот она. А вон и Полярная звезда, путеводная. Нужно проверить компас. Вытаскиваю его из кармана, надеваю на руку, отпускаю стопор — что такое! — стрелка не движется. Этого еще не хватало. Щелкаю по стеклу, встряхиваю — качнулась немного, остановилась. Не работает машинка. Неприятный сюрприз. Вода, что ли, внутри? Сейчас не разглядишь. Ладно, после разберемся. В крайнем случае, обойдемся и без компаса, труднее будет, конечно.

Я разворачиваю лодку кормой к Полярной, несколько правее, — отныне это наш курс, мы должны держаться его всё время, чтобы доплыть.

ПЕРВАЯ НОЧЬ

Ну, двинулись! Чтоб не мешали колени — вытягиваю ноги, они ложатся Эдуарду на живот. Мала посудина. Как будет, когда я лягу? Взмахиваю веслами. Лодка легко сходит с курса. Чёрт! Верткое судёнышко, так и крутится на воде. Наверно, слишком загребая правым — после гребка лодка становится боком. Раза три гребу левым, торможу правым — вперед, раз! раз! — опять сбился.

Похоже, что проклятый поплавок совсем не слушается весел. А ведь дистанция-то километров триста. Ну, делать нечего, как-то надо плыть.

— Правым, еще правым, левым, — помогает Эд.

Тяжело идти. Вдобавок темень, вёсел не видно, иногда они проворачиваются в уключинах, и гребешь не лопастью, а ребром.

В такой работе проходит минут десять. Вдруг...

— Корабль!!

В темноте перед нами близкие огни, они делаются всё ярче, идут на нас.

На нас? Я не понимаю, куда движется корабль — прямо к нам? Правее, левее? Наверно, пассажирский, много огней. Что делать? Ну-ну, спокойней. Ночью ведь нас увидеть трудновато, даже с небольшого расстояния. Будем держаться курса. Если увидим, что идет прямо на нас — успеем отойти в сторону — хватит нескольких гребков. Не утопит.

Вскоре корабль прошел за кормой, совсем близко. Светились ряды иллюминаторов, огни палубы. Пассажирский, из Новороссийска.

Нагнал страху. Вроде бы и грести я стал получше. Пройти бы до утра километров десять, убраться подальше отсюда. Опасное место. Гребу часто, лодочка хоть и петляет, но идет довольно быстро — за кормой журчит вода, темная, пронизанная странными огнями. Огоньки повисают на вёслах, умирают, зажигаются опять. Долго еще до утра. Мокрая одежда облепила тело. Судорожно застучат иногда зубы — озноб пробирает не на шутку.

Зря я не надел вторые штаны. Ну, не буду сейчас возиться, все вещи на корме, в мешке, только тент мы расстелили по дну. Ноги лежат в воде.

Наши тела греют воду в лодке, иногда набежавшая волна добавляет свежую порцию — эта холодней.

Холодная спина, стынет поясница.

Согреваюсь греблей — чаще, чаще, продержаться эти часы до утра. Как там мой партнер, жив еще? — надеюсь на его выносливость, он легче меня переносит холод.

Держаться, держаться, терпеть...

Что еще сказать об этой ночи? Она, наверное, была не слишком холодной, а море сравнительно спокойным; но для нас, до нитки промокших, трясущихся от озноба в резиновой посудине, она тянулась бесконечным кошмаром. Голубые огоньки за бортом, ледяные звездочки над головой — кажется, никогда не загорится в этом сыром мире солнце. Хлюпающая в ногах вода,

бесчисленные взмахи вёсел, кусок черного неба, куда я гляжу, не отрываясь, всё время — справа от Полярной звезды...

Когда же утро, наконец? Как понимаешь северян, молившихся божеству — солнцу, прекрасному, тёплому. Ад для них — вечное царство холода и мрака...

Час идёт за часом. Медленно, едва заметно бледнеет небо, мягче глядят звёзды. Рубаха на плечах почти высохла, но греет слабо, мокрые, твердые от воды брюки леденят ноги.

Я работаю веслами, как автомат. Сколько мы прошли уже? Сколько проходим в час — километра два с половиной? три? Уйти подальше бы от трассы, не поздоровится, если встретим кого днем.

Днем... когда настанет этот день? Когда-нибудь... Сколько дней впереди? Ночь хуже всего. Высохнуть бы. Согреться. Когда светает? часов в пять? Сколько я уже на вёслах? — вроде бы долго, а утра всё нет.

Уключины — помнить всё время об этом, это ведь наша жизнь. Жизнь — всё в лодке, самая малая деталь. Просто смотреть не хочется на это сооружение — очень уж хлипкое. Как долго держится воздух? По инструкции через четыре-пять часов надо подкачивать. Пока еще ничего, чуть только ослабли борта. Дотянем до утра, солнце нагреет воздух, надует.

Уже исчезают звёзды, моя еще видна. Пропадет, буду смотреть на другую, некоторое время можно, потом — компас. Спать еще не хочется, тут не до сна. Уходит ночь. Светлее стало море. Идет низкая пологая волна, мягко встряхивает лодку.

Утро настало не скоро. К этому времени я несколько выдохся — греб около пяти часов. Звёзд не было, приходилось идти по компасу, с трудом определяя курс — проклятая стрелка почти не двигалась, липла к влажному стеклу. Постучишь, потрясёшь — кое-как работает. Волны помогали держать направление — плыви только под определенным углом.

Совсем рассвело. Вокруг, во все стороны — серая вода, сливающаяся с небом, ничего не видно в море. Пора мне ложиться, впереди еще много будет работы.

Хочется пить. Ну, попробуем морскую воду — зачерпываю кружку, пью. Передергивает, но ничего, холодно только, выпить бы сейчас чего-нибудь горячего. Взошло бы скорее солнце.

Сейчас будем меняться местами — штука сложная, тут разойтись нелегко, видимо, каждый должен ложиться на борт. Становимся на колени, лодка так и пляшет под нами — как бы не

опрокинуться... Стараюсь полегче упираться — очень уж прогибается ткань, совсем ослабли поплавки.

— Давай! — валюсь на левый борт, на корму, Эдуард — на нос.

Лодка сильно качается, зачерпывает с полведра воды. Переворачиваюсь на спину — не слишком мягко, какие-то твердые предметы вдавливаются в тело, банки, наверное. Что делать с ногами? — согнуть не могу, будут мешать вёслам. Вытягиваю их вдоль бортов, над ногами спутника. Он полулежит на носу, спиной упираясь в поплавок — поврежденное бедро не позволяет сидеть. Втискиваю ступни между его боками и бортами, куда-то подмышки.

— Так не мешает?

Пробный взмах вёсел.

— Убери колено.

— Теперь ничего?

— Ничего.

Передаю компас. Накрываюсь тентом, голова лежит на корме. Сдвигаю свою голубую шапочку на нос. Возле уха журчит, всплескивает вода.

— Держи курс.

Вверх, вниз-из лодка. Проваливаюсь в сон...

Д Е Н Ъ

Когда я открыл глаза, солнце уже взошло. Стало теплей, ласково голубело вокруг море. Я лежал в том же положении, наверное, и не пошевелился ни разу.

Сколько я отдыхал, часа два? Эд работает. Неловко ему. Ничего не поделаешь, я должен был поспать.

А сейчас пора меняться. Мы снова проделываем эту сложную процедуру. Борта еще мягкие, но, думаю, вскоре раздуются. Здорово всё-таки — мы в открытом море, вопреки всем препятствиям, что бы ни случилось дальше...

Как там ноги, совсем окоченели, надо снять носки — пусть отходят на солнце. Жаль глядеть на своё тело. Мертвенно-белая сморщенная кожа — не верится, что это мои, живые ступни. Хорошенькое дело!..

Берусь за вёсла. Сейчас нужно держаться солнца — звёзд-то нет. Ночью намного проще идти. Выпиваю еще воды, запоминаю,

сколько пью — чтобы литр в день, ни больше, ни меньше, необходимый минимум.

Солнце поднимается всё выше, окрепли поплавки. Днем, вероятно, не стоит подкачивать. Открываю зажим, перекрывающий трубку между носовым и кормовым отсеками (по инструкции), осматриваю уключины. Уключины как будто в порядке, а вот ткань под ними — где задевают вёсла, — нехорошо выглядит: уже стерлась и края начали отклеиваться. А ведь всего одна ночь прошла! Необходимо быть осторожней. Повыше держать руки, чтобы весла не терли бортов. Это не слишком удобно — когда толкаешь рукоятки вперед, лопасти цепляются за воду.

Надо что-нибудь подкладывать под уключины, а сами уключины поливать водой, чтоб не перегревались, и борта тоже смачивать не мешает — кто знает, как чувствует себя этот материал на солнце. А солнце греет всюю.

Сохнет одежда, верх почти высох, брюки вот только мокры, особенно сзади — сидишь низко, а в лодку частенько захлестывает волна; теперь-то не страшно, теплая такая сырость, разве сравнишь с ночью.

Да, эта ночка запомнится! Недаром я больше всего опасался холода. Сколько можно выдержать таких ночей? И сколько их еще будет?

Интересно, далеко ли мы ушли — этого ведь не увидишь, вокруг пустое море (слава Богу!), только трава плывет навстречу и ветки, много веток, часто попадают. Откуда они? Ведь мы далеко от берегов — наверное, какое-то течение несет их в море.

Позднее одна из этих веток чуть не сыграла с нами скверную шутку: тяжелая, с торчащим вперед загнутым острым суком, она проплыла под веслом сантиметрах в двадцати от борта. Если бы лодка напоролась на нее, наше путешествие, верно, закончилось бы ранее, чем предполагалось... В дальнейшем мы старались оглядываться почаще, чтобы не прозевать подобной встречи; это, правда, могло помочь лишь днем, ночью приходилось надеяться на счастье, всё равно ничего не увидишь. Часто еще встречались нам узкие прозрачные ленточки, очевидно, водоросли. Да иногда пролетали чайки.

Время от времени я внимательно осматривал море, опасаясь кораблей, но их не было, горизонт оставался чистым. Несколько раз доносился какой-то рокот, скорее всего гул самолета, летящего на большой высоте; может, это был пассажирский Крым-Кавказ, а может, и военный, патрульный — ничего не видно было в

небе. Однажды мы слышали другой звук, возможно, шум двигателей подводной лодки.

Только звуки и тревожили нас — море было пустынным.

После полудня, проголодавшись, я вскрыл консервную банку: мясо жирное, в соленном соусе; еще порция соли к суточному рациону — не слишком ли много? Мы съели ложки по две — довольно сытная штука и вкусная, жаль, хлеба нет. На десерт — кружечка морской воды.

После обеда лег вздремнуть. Приятно спать под солнцем, нужно только беречь лицо — всё время лежишь навзничь, если перевернешься на живот — меняется точка опоры, корма опускается, и вода льется внутрь.

Сон крепкий. Изредка войдет в него ощущение моря, плеск, холод брызг — и растворится в дрёме.

Обычно отдых мой длился часа полтора, да полежишь еще минут десять (всегда любил вставать не спеша), потом опять на вёсла, часа на три-четыре.

Я греб, когда Эд крикнул:

— Корабль!

Оглядываюсь — и просто глаза на лоб полезли: корабль был тут, близко, устрашающе-огромный и — красная полоса на трубе.

— Ложись!

Мы лежим друг на друге, накрывшись тентом, я высунул голову, слежу за судном, шевелю вёслами, разворачивая лодку под углом к его курсу — больше шансов остаться незамеченным.

Кажется, очень медленно проходит соотечественник. Это танкер, курс на Кавказ, наверное, в Новороссийск, от Босфора, — расстояние между нами километра два. Не видит? Видимо, нет. Идет. Белый бурун на носу.

Подправляю лодку. Вот понемногу показывается задняя сторона надстроек — проходит. Уменьшается внушительный корпус, высоко сидящий в воде.

Пронесло. Для верности еще полежим, рисковать ни к чему. Как же это мы не доглядели? Нужно будет всё время осматриваться — пароходы идут с большой скоростью, наверное, и этот минут за пятнадцать до встречи был еле виден. Чуть не напались. Будет наука.

Снова ложимся на курс. Стекло компаса высохло, стрелка работает исправно. Еще раз определяю курс танкера — да, скорее всего, это трасса Босфор — Новороссийск, проскочить бы ее

побыстрее. Надо отметить, что ночная встреча произвела большее впечатление. А сейчас я был почти спокоен, привыкаю, видно.

Когда мы сменились, я разложил на горячих бортах носки, вторые штаны, куртку — пусть сохнут, вечер не так далек. Одежда на нас высыхает и намокает снова, но теперь, когда зальет, — всё же остаются сухие места. Я периодически поливаю борта, уключины, смачиваю затылок — припекает здорово, Эд замотал голову майкой. Раздеваться, пожалуй, не стоит — обгорим, и пить будет хотеться больше.

Нахожу в мешке лодочную инструкцию — вернее то, что от нее осталось, даю проштудировать Эду.

Мы едим еще раз, часов в шесть — ложка мяса, ложка соуса, — ложки-то, впрочем, нет, я раскладываю еду в пластиковые стаканчики от фляги, — и, конечно, порция воды из-за борта. Как подумаешь, что пить её еще три дня... Как отнесутся наши желудки к такому рациону? Пока всё в порядке, самочувствие нормальное.

Приближается вечер. Все ниже опускается солнце, — теперь оно где-то за левым виском, вечерняя дымка заволакивает горизонт.

Мы видим еще один далекий корабль — этот нам не опасен. Солнце угасает, проваливается в фиолетовую мглу, вставшую из моря. Вот еще виден край, еще немного, полоска — всё.

Сразу падает на воду холодная тень, серым становится море. Кончился день. Впереди долгая мокрая ночь. Нужно готовиться.

Во-первых, надуть лодку, воздух остыл и борта здорово ослабли. С некоторой опаской приступаю я к этой процедуре. Осторожно отвинчиваю пробку — шипения не слышно — всё в порядке, привинчиваю помпу (Эд следит, чтоб не перекручивался шланг), открываю зажим, начинаю качать. Помпа работает с хрипом, внутрь попала вода. Снова напрягаются борта — хватит? Еще пару раз — теперь хватит. Семнадцать раз. Отвинчиваю шланг, закручиваю пробку, перекрываю трубку. Помпа укладывается в мешок, — теперь это наша постель, так же, как банки консервов и фляги с водой, жестковато, но ничего не поделаешь.

Мы одеваемся. Я натягиваю штаны (надеть штаны в лодке — тоже проблема), Эдуард берет куртку. Есть еще одна куртка, парусиновая, но толку от нее мало — не высыхает, подлая. Одеваем носки. Приятно быть в сухих носках. Скоро они опять вы-

мокнут. Надо бы закрепить тент, на бортах есть железные кольца для маленьких карабинов. Зацепляю один, другой, — третий не поддается: деталь такой крепости, что максимальный мой нажим не помогает.

Узнаю родную работу! Приходится привязывать веревочкой.

Наконец, тент растянут, он закрывает сверху почти всю лодку, только нос открыт — там сидит гребец.

Я надеваю тонкий пластиковый плащик, отнюдь не защитного, ярко-красного цвета — может быть, он защитит меня от холода и брызг? Ну, тронулись. Теперь нет солнца и нет еще звезд, можно пока ориентироваться на какое-нибудь облачко, лишь сверяться почаще с компасом. Море посвежелело, идет небольшая волна, удачно, что с кормы. Окрепшая наша лодочка бодро переваливает через гребни.

Далеко-далеко в вышине загорается первая звёздочка, можно смотреть на нее, пока нет других, приходится только предельно задирать голову. Немного погода появляется еще одна, пониже — мы прозвали её «Канопус», потом звезды высыпают густо, среди них — наша Полярная. Теперь до рассвета она будет вести нас.

ДНИ ТЯНУТСЯ...

Ночь эта проходит спокойно, если не считать волн, частенько перехлестывавших через борта. Тент в какой-то мере укрывает от брызг, но мало помогает, когда набегает высокий гребень — вода льется внутрь, тяжело плещется на дне. Время от времени бросаю весла, работаю кружкой. Нельзя сказать, чтобы было очень тепло, особенно когда лежишь в мокрой постели; но после первой ночи, когда на нас не было сухой нитки, эта кажется не такой уж плохой.

Гребу в хорошем темпе, я никогда не работаю в полсилы. Жаль, лодочка слабовата — можно бы еще нажать.

Теперь мы движемся почти ровно — сказывается практика. Ночью легко держать курс.

Огромный темный купол вздымается над нами. От края до края пересекает его дуга Млечного пути, широкая сияющая дорожка, звездная пыль бесчисленных миров. Тут, в море, ничто не мешает свету звезд, в черноте неба они необычайно яркие, колючие. Всегда любил смотреть на звезды. Тревожно и радостно на сердце, и одиноко...



Утро пришло ветреное, со свежей волной. Смутно белеют гребни, догоняют лодку — по ним я ориентируюсь. К рассвету заканчиваю свой литр. Скорей бы взошло солнце, — под утро теряешь всё тепло.

Сейчас можно вздремнуть — бужу партнера, меняемся, ложусь на влажное ложе, размещаю ноги и сразу засыпаю.

А когда просыпаюсь — солнце в небе. Море не успокаивается. По-прежнему гонятся за нами волны, подбрасывают лодку, плещут внутрь. Мягкий оглушительный шум заполняет всё. Пора меняться.

Перебираюсь на корму, стаскиваю носки — та же картина, что в первый раз. Ничего, отойдут! Берусь за вёсла.

Идем в основном по солнцу, по тени от головы. Теперь я знаю — в полдень тень лежит на правом борту, в час — на левой ноге, к четырем переползает на левый борт. Вот когда нет ни звезд, ни солнца — часы не помогут.

Море пустынно. Колышутся в волнах слепящие блики. Время от времени встречаются ветки, да загадочная прозрачная травка. Иногда проплывает совсем уж истлевший кусок дерева, источенный волнами, расползающийся в пальцах.

В море интересна каждая такая встреча: увидишь издали какой-нибудь предмет и гадаешь — что это? Изредка навещают нас чайки — что носит их тут, вдали от берегов? — знакомые белые и другие, — серые, быстрые, раньше я как будто не видал таких. Больше ничего.

Пока все идет нормально — тьфу, тьфу, чтоб не сглазить! Иногда разворачиваю лодку, оглядываю море за спиной. Солнце туманит горизонт, слепит глаза, тысячи сверкающих блесков прыгают в воде — легко проглядеть корабль. Это было бы непростительно именно теперь, когда мы уже далеко в море. Для всякого «нормального» мореплавателя радостна встреча с судном, но для нас это угроза, возможный плен, долгие годы тюрьмы.

Внимательно «прочесываю» горизонт — ничего, мерещатся только в солнечном мареве какие-то призрачные столбы, словно далеко башни — там, где море сливается с небом. Снова доносится звук невидимого самолета. Скорость у лодки как будто неплохая, это видно по струе за кормой, по веткам, быстро теряющимся вдали. Километра два с половиной — три в час я должен делать. У Эда будет километра полтора. В среднем, километра по

два с лишним должно быть. Если так, дней через пять от старта можно высматривать землю — еще, значит, более трех суток, еще три ночи! Не очень-то приятная перспектива.

До чего надоела эта сырость, — не заболеть бы. Днем, под палящим солнцем, забываешь о ночи — сейчас бы напиться вволю холодной воды, без соли, пересыхает горло. Выпиваю полкружки забортной. Да, привыкнуть трудновато, а до «пресного» дня еще долго. Намачиваю голову, шею, обливаю борта, уключины. Спина затекла. Эдуард шевелится на корме.

Пора мне на его место. Я лежу, глядя в небо, и вспоминаю один свой давний детский сон. Сколько мне было тогда — лет пять? Это из тех снов, что не забываются...

...Я лежу на спине под солнцем на дне какого-то судёнышка, вижу только небо и борта, старые и растрескавшиеся, и высокий голос поет романс:

Белеет па-арус одинокий...

Невыразимо-жалостно... Я плачу и просыпаюсь в слезах...

Удивительно — сон, как говорится, «в руку». Я плыву в далекие страны...

Наверное, так предопределила судьба, что я теперь в море. Всё шло к этому. Все мои замыслы терпели неудачу, все пробы легально пересечь границу провалились. Видно, не для меня был этот путь ухищрений и притворства, попыток казаться не тем, кто я есть. Это было недостойно меня. Для чего-то ведь даны мне сильные мышцы, ловкость, вечное стремление к первенству. Неудавшиеся авантюры закалили волю, подготовили для последнего дела.

Мой партнер, пожалуй, наиболее удачный спутник для этого путешествия. Грести ему, конечно, трудновато с его ногой — это ничего, основную работу я беру на себя, — зато он не подведет в тяжелую минуту, терпелив к холоду и голоду.

Обедаем. На крышке банки я рисую схему моря и наш курс — для Эда, чтоб не сомневался. Проходит какое-то время, я снова на вёслах. Эдуард лежит на корме, свесив голову за борт, малоприятные звуки свидетельствуют, что с ним неладно. Совсем выворачивается наизнанку парень. Еще не хватало, чтобы вышел из строя, трудней мне будет. С чего это он, укачало, что ли? А может, водичка всему виной — «не пошла». Ну, ничего. Придется ему выздороветь — деваться-то некуда.

Гребу часа четыре, хватит, пожалуй. Эду полегчало.

— Как ты?

— Так, ничего.

— Можешь работать?

— Давай сяду.

Меняемся. Меня ждет скучное занятие — починка плаща, за ночь он лопнул, в общей сложности, на полметра. Хорошо, что нитки захватил. Штопаю эти дыры, наверно, с час — до чего же нудная работа! Сделал всё, но ясно, что долго швы не продержатся, слишком непрочная тонкая пленка, хоть польза от нее есть.

Уходит день. Опадают борта, — скоро снова подкачивать. Пока что лодочка держится молодцом — два дня и две ночи, но еще много впереди. Еще раз проверить груз — вдруг трется что-нибудь о борт? Осматриваю мешки — всё в порядке, они лежат плотно, спрессованные нашими телами, ремни с пряжками внутри, ничего острого снаружи. Беспокоит меня трубка, соединяющая отсеки, — когда я на вёслах, нога частенько цепляет за неё. Замок зажима тоже не слишком удачно пристроен, все время давит на косточку щиколотки; очень неловко, а чтобы закрыть его, требуются поистине титанические усилия. Я начинаю опасаться, что в один прекрасный день лодка будет разрушена. Чтобы этого не случилось, решаем не перекрывать трубку на ночь. Ведь если лопнет один из отсеков, другой вряд ли нам поможет. С этого дня замок не закрывался, но продолжал мешать.

Настала третья ночь. Она была похожа на предыдущую — ветер, небольшая, с кормы, волна, вода в лодке, дрожь, попытки согреться под тентом.

Огни далекого корабля. Бесконечный сырой рассвет, долгое ожидание солнца.

Утро.

Ласковые горячие лучи отогревают тело под влажной одеждой, медленно розовеют ступни, разглаживается кожа.

Денек выдался ветреный, даже зябко было иной раз, хоть пекло вовсю. Я решил соорудить парус, так как ветер дул по курсу, чуть западнее, — не следовало пренебрегать этой помощью.

Малая лодка была надута, установлена поперек большой и привязана шнуром к бортовым кольцам. Я дремал на корме, придерживая парус, когда услышал:

— Смотри!

И в ту же минуту на грудь мне села птица, небольшая, с воробья, с яркими красивыми перьями. Бедная сухопутная пташка, видимо, совсем выдохлась — пролетела полморья, а отдохнуть нег-

де больше. Я пошевелился, птичка вспорхнула, поднялась метра на два и снова опустилась — прямо мне на нос! Как бы в глаз не клюнула. Взял ее в руку, осторожно, чтобы не помять, — маленькие бусинки глаз совсем рядом с моими глазами. Пойдет ей на пользу такой отдых? Подержу немного и отпущу.

Отпустил, птица взлетела — и покинула нас. Мы следим за полетом гостыи — куда это она направилась? Курс противоположный нашему, на север. В СССР. Куда летишь, дура? Глупая, несознательная пташка. Счастье ее, что попались мы, беглецы «оттуда», а то бы конец. Интересно, долетела она до земли? Надеюсь, передышка восстановила ее силы.

Нас оживила эта встреча, необычная для берега, а сейчас — неизбежная в море.

— Видал? она на парус села!

— Она мне на грудь села, а потом на нос!

Боялась, конечно, а тонуть не хочется. А может, чувствовала, что мы не обидим. Полетела себе дальше, в Россию. Что ее туда несет?

Поплыли дальше. Парус стоял часа четыре. Когда мы менялись, он отправлялся за борт, потом снова на место. Позднее ветер упал, и я убрал эту систему. Снова только вёсла движут нас вперед.

Удивительно, что не очень хочется есть. То есть, хочется, конечно, но не чувствуешь острого голода. А ведь расход энергии велик. Как-то справляется организм. Смешно сказать — одной 500-граммовой банки тушёнки хватило на два с половиной дня, сейчас доедаем остаток. Я счищаю жир со стенок — ничего не должно пропасть, острая жёсть режет палец у основания, порез небольшой, но неприятный, а руки надо беречь. Пока они у меня в порядке, лишь наметилось несколько пузырей. У Эдуарда дело похуже — кожа в местах, обожженных веревкой, слезла, вёсла держать ему трудновато. Приспособился, гребет в меру сил. Воду вот только пьет слабо, после своего приступа — совсем перестал, давлю на него — не хочет, не вливать же насильно. Ну, как знает, авось не умрет. Я держу свою норму строго — литр. Впереди неизвестно сколько времени в море и много работы, для работы нужно горячее.

И у меня соленая водичка иной раз идет со скрипом — так и передергивает всего. Чтобы «подсластить пилюлю», решаем открыть баночку сгущенного молока — у нас их две. Пробиваю ножом маленькую дырку, прижимаюсь губами. Невыразимый, сла-

достный вкус. Один глоточек, другой — всё. Языком размазываю этот нектар во рту.

Райское ощущение. Прекрасная закуска. Передаю банку Эду. Два глотка. Блаженство на физиономии. Жаль, что молока так мало. Отрезаю клочок полотенца, кончиком ножа забиваю в отверстие, ставлю банку в угол кормы, за мешок. А банка из-под тушёнки отправилась за борт. На жести я выцарапал: «Никола-угодник, помоги нам, дай хорошей погоды и удачи» — и наши инициалы.

Уплывает за корму жестянка с письмом покровителю всех мореплавателей, исчезает в волнах, снова взлетает на пенный гребень, блестя на солнце. Пропала.

Я укладываюсь спать, разложив по бортам мокрые носки. Один из них вижу в последний раз: когда просыпаюсь, носка нет, не доглядел вахтенный. Это была большая неприятность. С босой ногой плохо ночевать в воде. Хорошо, что в рюкзаке нашелся еще маленький шерстяной носок, его и надел виновник. Теперь уж нельзя терять ничего, заменить будет нечем, а еще быть дня три в море — в лучшем случае. Мы где-то посредине, если верны расчёты, — почти трое суток плывём, даже не верится. За сутки проходим километров пятьдесят. Ну, еще нет полных трех суток — пусть прошли 130, еще, значит, осталось километров 170-180. Километров за сорок можно увидеть берег. Дня через два с половиной будем смотреть.

Самочувствие пока ничего, бурчит слегка в животе да язык покрыт каким-то белым налётом — тоже от воды, что ли? И губы в слизи, противная, липкая такая, склеивает рот, никак не избавиться, как ни вытирай. Если бы посуше — всё бы ничего; вода теперь с «сахаром», это здорово улучшает настроение, прибавляет энергии, о еде особенно не думается, — я, правда, много сплю, почти всё время между вахтами. Может, сон заменяет пищу?

Чайки еще навещают нас, они ведь могут летать вдали от берегов. Мы видим еще корабль: он идет на значительном расстоянии, но красная полоска на трубе различима.

— Всё море, что ли, набито советскими кораблями? — возмущается Эд.

Ужинаем, открыв вторую банку, ее должно хватить дня на два. Штопаю плащ. Когда солнце садится, начинаю подкачивать лодку. Все шло как обычно, но когда я, кончив качать, отвинтил шланг помпы, послышалось шипение воздуха — слабый свистящий звук, от которого мурашки побежали по спине. Я приник

ухом к клапану — тут. В чем дело? поврежден ниппель? — что еще может быть? Я смог бы, наверное, его заменить, в мешке есть запасной, но пришлось бы спускать воздух, снова мокнуть в воде...

Поплотней закрутил пробку. Что бы там ни произошло, пока еще нечего особенно волноваться, — посмотрим, как будет лодка вести себя ночью.

Ночь проходит спокойно. Ветер стих, волна слабая. В небе молодой узкий месяц. По-прежнему вспыхивают огни в воде, спорят с огнями звезд. Я не устаю любоваться удивительным небом.

Крохотная лодка, невидимое море, ты в Космосе, охваченный сверкающей конструкцией Вселенной Линии, сочленения созвездий — грандиозная архитектура, воздвигнутая неведомой нам силой, — картина настолько мощная, что просто переворачивает душу.

Увидеть бы «летающую тарелочку» для полноты ощущения... А еще — слетать на ней когда-нибудь в жизни. О, тарелочники, услышьте мой призыв!

Наконец-то, ночь приносит нам отдых, почти нормальный сон. Не так уж тепло, но по крайней мере мы не трясемся от холода. Потом эти часы вспоминаются не раз...

Утреннее солнце совсем разморило нас, согрело настолько, что решено было раздеться. Сдираю рубаху, фуфайку, — она влажно липнет к телу, — стаскиваю мокрые брюки. У кожи нездоровый вид, кое-где она покрылась сыпью, — мелкие водянистые пузырьки усеяли руки, живот. В паху образовались какие-то фиолетово-серые слизистые пятна — вид устрашающий. Трое суток в мокрой одежде не прошли даром. Нужно будет обязательно раздеваться, сушить вещи, прогреваться на солнце — в меру, конечно, — а теперь надо помыться, очистить кожу.

Около полудня прыгаем в море, купаемся по очереди — один в лодке, другой за бортом, — плаваем, скоблим тело. Процедура недолгая — некогда, нужно идти вперед, поменьше останавливаться, наверняка в море есть какие-то течения, и кто знает, куда влекут они лодку.

Вокруг не видно ничего — ни травы, ни веток, ни птиц. Горизонт чист. Мертвое какое-то море. Ну что ж, значит, мы движемся, ушли далеко. Совсем одни теперь.

Через некоторое время обнаружилось, однако, что мы не одиноки — в лодке оказались «жильцы», какие-то жучки ползали по бортам, откуда они взялись, неясно, возможно, перебрались

к нам со встречающих кусков дерева. Однако такого гостя покрупней я спровадил за борт: кто его знает, вдруг прогрызет дыру в корабле?

Сменившись, решил заняться рыбной ловлей. Не очень-то верилось в успех, но отчего не попробовать, всё-таки маленькое развлечение. Свесив голову, я смотрел в бутылочно-зеленую глубину, видел узкие тела рыб, следующих за нами, — вдруг какая и ухватится за крючок, неплохо бы слегка разнообразить меню. Раздергав на нитки кусок шнура, связал длинную леску, прицепил пару крючков, можно еще сделать блесну, если вырезать полоску жести из консервной банки.

Режу. Неосторожное движение — и маленький зазубренный кусочек железа куда-то отскакивает. Я обыскал всё — нету. Значит, за бортом, волноваться нечего. Всё же позднее решаю еще раз проверить лодку, на всякий случай, — и оказывается, что проклятая железка здесь, завалилась между днищем и поплавком. Что могло произойти — легко себе представить! Со вздохом облегчения швырнул я находку за борт. Больше никаких таких изделий не будет!

В качестве грузила были использованы пряжки от рюкзака, ничего другого не нашлось. В то время, когда я соображал, чем бы наживить снасть, навстречу попался истлевший кусочек дерева, приютивший семейство каких-то черных рачков — им и пришлось сесть на крючки. Леска косо ушла в воду, вытянулась за кормой, помогая держать направление. Это была единственная польза от эксперимента, — рыбка не ловилась. Я еще раз подтвердил свой класс «рыболова».

Когда мы останавливались, леску сразу заносило под корму, к левому борту — отчего, я так и не понял: то ли нас тащило верхним течением назад, то ли снасть — вперед. Ветра тогда не было.

Надо нажимать. Чувствую я себя недурно. Руки пока ничего, но почему-то начали болеть кончики пальцев. Мышцы в порядке. Поспать бы еще в нормальном положении, и чтоб была сухая постель. Я засыпаю сразу — мертво.

Короткий сон — и снова напряженная работа в одном и том же положении, после двух-трех часов совсем затекает поясница. Откинешься спиной на нос, полегчает на время, потом снова ломит.

Спина болит и от банок. Когда спишь, жестянки и помпа врезаются в плечи, а иначе никак не расположиться. Не будь этой

прослойки, пришлось бы всему телу лежать в воде, так хоть верхняя часть сравнительно сухая. Не слишком освежает такой сон. Иногда мы представляем кого-нибудь из знакомых в этой ситуации, выходит очень смешно.

Чтобы войти в ритм работы, запеваю какую-нибудь бодрую песню. Странно звучит она в этом мире воды и неба, голос гложет в шуме волн. Этот шум стал привычным фоном нашей жизни так же, как качка. Лодка так мала, так низко сидят в воде мягкие борта, что чувствуешь себя как бы частью волны — тем более, что влаги в нашей посудине всегда хватает. Вычерпывание — такая же постоянная работа, как гребля.

Сегодня я отличился: опоражнивая лодку, выронил кружку за борт, — как это она выскользнула из пальцев, сам не знаю. Я рванулся и ухватил было ее — но нет, вывернувшись, ушла в глубину. Теперь лежит где-то посреди Черного моря. Жаль было кружку, хорошо служила, много воды вылило за борт и выпито немало — в основном, правда, мной, что-то спутник мой совсем не пьет, ждет, видимо, пресного дня. Пытаюсь повлиять — мол, сгущенное молоко только на закуску, — ругается.

Я по-прежнему выдерживаю норму. После потери кружки пью из фляжного стаканчика, на литр идет семь.

Вычерпывать воду трудно, раза в три дольше работаешь. Ночью у меня, вероятно, будет много практики — море неспокойное.

Вечером, когда подошло время качать, я с большой опаской отвинчивал пробку клапана — вчерашнее шипенье очень мне не понравилось. Но сегодня всё было в порядке, видно, тогда попала в ниппель вода из помпы — в рюкзаке постоянная сырость. Теперь, перед тем, как привинтить шланг, хорошенько его продуваю. С красным плащом опять возня — лопнул по всем швам; ремонт становится моим привычным занятием, отнимает один сон.

Тент я укладываю по особой системе: длинными складками вдоль борта, одна на другой, и когда волна захлестывает лодку, часть воды удерживается, потом приподнимаешь тент, сливаешь воду за борт, снова раскладываешь. Часто приходится вычерпывать, и лодка стоит. Завтра сделаю черпак из жестянки — вторая банка кончается.

Ночь скверная. Не балуют нас ночи. Одна только была теплой и тихой. Но мы привыкли ко многому, притерпелись. То, что раньше казалось из ряда вон выходящим, — теперь обычное дело.



Наконец, настал этот день — день пресной воды! Целый литр ее ждет каждого из нас. Если пить по одному стаканчику, выйдет семь раз, — до следующего утра. Достая из мешка флягу. На ней «серб-и-молот» и цифра 50. Пятьдесят лет советской власти. Полвека гегемонии ничтожеств, стремящихся подавить Дух. Ну что ж, я посвящаю свое «спортивное мероприятие» этой прискорбной годовщине. Разливаю воду в стаканчики. Медленно, маленькими глотками выпиваю свой. Долгожданная влага льётся в просоленное горло.

Не знаю, пил ли я в жизни что-либо вкуснее этой тепловатой, с запахом пластика, воды... Я так увлекся поглощением чудесного напитка, что наклонил флягу, и несколько капель пролилось в лодку. Надо же мне было оставлять фляжку открытой, нехорошо. Завинчиваю, укладываю в мешок.

Сегодня мы сразу снимаем одежду, пусть дышит кожа. Вахты идут, как обычно.

Море по-прежнему пусто. Птиц нет. Солнечные блики слепят глаза, ровными рядами набегают волны. В плещущем гуле звучат странные голоса...

То двое мужчин ведут долгую, неспешную беседу, низкий тембр...

А теперь о чем-то говорит женщина — так ясно слышно, вот-вот, кажется, разберу, о чем.

Целый хор детских голосов — тонкие такие, звонкие голосочки, лопочут что-то, смеются вокруг... Удивительно похоже, жутковато даже, так и тянет оглянуться. А иногда прилетит среди молчания одно какое-то слово, может быть, твое имя...

Недаром в рассказах о море так много таинственного. Иной раз мерещится, что загадочные морские жители где-то тут, между волнами, под сверкающей рябью их спин.

И еще...

— Слушай, тебе не кажется, что в лодке кто-то третий? — спрашиваю я.

— Мне давно кажется то же самое.

С некоторых пор ощущение, что кто-то здесь, рядом с тобой, не оставляет меня. Когда я сижу на вёслах, он стоит за моим левым плечом. То словно советует что-то, говорит со мной, когда я вхожу в сон. А сны по-прежнему, как по заказу, земные и спокойные, без страстей и тревог.

Днем мы доели вторую банку консервов, этой ночью в нее зали-

лась вода, не помогла и клеенка; мясо плавает в какой-то сомнительной жиже, но вкус его не очень изменился — такое же соленое, как было, можно есть.

Аккуратно вырезаю крышку банки, загибаю острые края внутрь — и черпак готов. Нет худа без добра — теперь вычерпываешь вдвое быстрее, чем кружкой, вместительная посудина.

После обеда лежу на корме, щелкаю кедровые орешки — на корабле их съесть не удалось, остался изрядный запас; как и всё в лодке, они пропитались водой, стали солеными. Всё же это вносит некоторое разнообразие в наше скромное меню, да и лишние калории не повредят. Грызу, плюю шелухой...

Позднее, уже после ужина, сидя на вёслах, я почувствовал ноющую боль в животе, сначала слабую, едва заметную, затем резко усилившуюся. С час еще грёб, надеясь, что пройдет, — не тут-то было, вскоре меня скрутило так, что я попросил смены. Полежу немного, может, полегчает...

Однако облегчение не приходило, боль становилась сильнее. Что со мной, отравился, что ли? Что-нибудь в консервах? А может, это солёные орешки виноваты — я сегодня много их перещелкал. Наверное, они; помнится, раньше, дня два назад, побакивал живот, и тоже после орехов.

Тем временем стемнело. Море стало беспокойным, вода обильно вливалась в лодку. Мне становилось все хуже.

Что делать? Очистить желудок, вызвать рвоту? Надеюсь, вода уже усвоилась — угораздило же заболеть в «пресный» день...

Теперь пришла моя очередь «страдать» на корме. Боль такая, словно кишки из тебя вытягивают, вдобавок всё время окатывает водой, начинается шторм.

ШТОРМ

Темные волны с белыми гребнями идут на лодку с носа. Я очень ослабел, пытаюсь заснуть — хоть ненадолго. Может быть, сон поможет. Короткое забытие, на какое-то время стало легче... Снова приступ, совсем уж зверская боль, так скверно мне никогда не было. Лодка полна воды, всё мокрое насквозь, как в первую ночь, нужно вычерпывать, но нет сил. Проклятье, когда кончатся эти муки... Что это я совсем расклеился (отравился, ясно!). Умереть не умру, желудок крепкий, однако, приходится туго, и обстановка как раз, чтобы хворать животом — просто смешно.

Опять прилег на мокрые мешки, натянул тент на голову.

Я так измучен болью, что такие мелочи, как фонтанами льющаяся вода и холод, как-то не очень меня трогают. Снова короткий сон, сколько — полчаса, час? Сколько Эд на вёслах? Пора его сменять, он не жалуется, но, верно, уже выдохся. Надо встать, не валяться же вечно. Встаю, перебираюсь на нос, теперь это сделать непросто, лодка так и пляшет на волнах, черпает добрую порцию воды.

Сейчас это не имеет значения — ведром больше, ведром меньше... Отяжелели вот только, воды почти по пояс, нужно все же вычерпать, хорошо, что банка большая. Вычерпываю, затем берусь за вёсла.

Каждое движение причиняет боль, но работать надо, не умирать же здесь. Звёзды качаются в глазах, качается лодка, хлещут в спину волны... не думать, не чувствовать, только грести в нужном направлении, грести, грести, грести...

Эта ночь тянулась бесконечно, страшным каким-то сном — яростью воды, свистом ветра, болью. Не было мыслей, только одно в сознании: выдержать, дотянуть до утра.

В небе сиял полный месяц, бесстрастно так глядел с высоты на двух человечков, скорчившихся от холода в крохотной, залитой водой лодке — одних среди взбесившегося моря.

Море словно задалось целью вышибить из нас дух. Дальше уж, кажется, некуда...

Когда нет сил грести, забираешься на корму, ложишься прямо в воду — удивительно, что можно еще спать в таких условиях и даже видеть сны, самые обыкновенные...

Просыпаюсь оттого, что лежать дольше — значит заболеть. Все тело трясется, стучат зубы... Встать, не поддаваться холоду! И снова долгая работа, бессчетные взмахи вёсел, волны разбиваются о спину...

Никогда не ждали мы солнца так, как в эту ночь. Когда, наконец, небо начало светлеть, шторм несколько стих. Утихла и моя боль. А может, холод заглушил ее.

Сил осталось мало. Перед утром мы допили оставшуюся пресную воду, впереди снова четыре дня соленой, если раньше не доплывем до земли... Когда день, наконец? Рассвет длится вечно... Солнце, видно, никогда не выглянет из вставших над горизонтом туч.

У коллеги физиономия совсем серая, у меня она должна быть зеленой. Потрепала ночка. зуб на зуб не попадает, в теле, кажется, нет ни градуса тепла.

Удивительно все же, как много может вынести человек. И лодка «на высоте», я и не ожидал такого качества от советской продукции.

Кончатся наши мученья. Вот выглянул багровый туманный диск, узкая полоска, снова пропавшая в туче...

Еще немного — и первые лучи упали на хмурое море. Не дай нам Бог еще раз вытерпеть такое. Первая ночь в сравнении с этой — просто удовольствие. Ну, теперь все позади, чувствую я себя не так уж плохо, отогреюсь, и все будет в порядке. Море почти утихло, ветер изменил направление, дует теперь в правый борт. Волна какая-то неопределенная, еще не установилась. Солнце всё жарче. Стаскиваем облепившую тело одежду, раскладываем по бортам. Теперь можно и вздремнуть...

Теплый сон здорово взбодрил меня. Не без некоторого опасения проглатываю стаканчик забортной воды. Перебираюсь на нос. После отдыха нелегко браться за вёсла — сильная боль в пальцах, их не разогнуть, кожа кое-где лопнула, у ногтей образовались маленькие вспухшие язвочки, очень болезненные. Опускаю кисти в воду, шевелю пальцами — порядок. Выверяю курс. Поехали.

Дует сильный ровный ветер, волны теперь идут за нами, с северо-востока, иногда только правильные их ряды пересекает одинокая боковая, остаток шторма. По-прежнему ничего вокруг. А пора бы уж чему-нибудь появиться, более пяти суток позади. Километров двести пятьдесят... Где-то недалеко должен быть берег, однако, на это не похоже. Третий день мы ничего не видим в море, может, к вечеру что-нибудь покажется — птицы хотя бы... Стоит поставить парус — хороший ветер, больше, правда, к западу... Часов около десяти волнение резко усилилось. Волны росли на глазах! Мощные крутые валы шли на нас слева с кормы, холодно взблескивая на солнце. Тяжелые их спины, покрытые рябью ветра, казались выкованными из стали. Счастье, что эти махины не движутся навстречу. Я чуть изменил курс, поставил лодку круче к западу — так меньше заливало водой и парус был полезней; его, правда, вскоре пришлось убрать — когда мы проваливались вниз, в ложбину между валами, ветер не доставал, и лодка-парус только мешал видеть волну.

Лодочка наша держалась отлично, легко взлетала по крутым склонам. Когда зеленая гора нависала над нами, не верилось, что отделаешься так легко. Я сторожил волну, в нужный момент всей

тяжестью откидываясь на нос, корма приподымалась, пропуская воду под собой. Конечно, это удавалось не всегда — иногда накачивал такой гребень, что все уловки были тщетны, тогда приходилось работать черпаком, одной рукой выравнивая лодку.

Днем, при солнце, шторм не страшен, но что будет ночью? Об этом не хотелось думать. Волны увеличивались. Наш отважный кораблик выглядел совсем несолидно.

Какая реклама могла бы быть для этой речной посудины! Что бы там ни было дальше (постучу три раза по веслу), она уже продержалась пять с половиной суток. Сколько еще держаться? Где мы, наконец?

Сейчас некогда высматривать землю, но, кажется, нет ничего.

Следует поесть — я совсем пустой после ночи.

Подталкиваю спутника. Принимаем стартовое положение, равняю лодку. Пора? Нет, лучше пропустить эту волну. И эту. Давай! Падаем вдоль бортов, лодка качается, взлетает вверх, поворачивается, быстро переворачиваюсь на спину, толкаю весло — совсем было развернуло, не хотелось бы опрокинуться сейчас, утопить что-нибудь из вещей — помпу, например. Или консервы. Достая банку. Это третья. Обедаем. Пью воду, «закусываю». Какой вкусной была вода вчера. Теперь пустые фляжки лежат в постели, на сиденьи. Осталось еще две, два литра. Нет, меньше, минус примерно четверть фляги.

Ложусь, холодная пена вливается за шиворот, течет по спине. Опять вся рубашка мокрая. Ну, делать нечего, вздремнем. Глаза слипаются, козырек на нос. В ушах шипит вода. Хорошо, если с тобой надежный спутник. Вни-из, вни-из — запрокидывается голова, — вверх... вниз... укачивает... засыпаю. Сны самые приятные, безоблачные такие. Сейчас могло бы сниться что-нибудь и пострашнее. Иногда только море напомнит о себе — плеснет в лицо, гулом наполнит сознание. И снова спишь.

После очередного душа я проснулся. Валы стали выше и круче, набегали с какой-то свирепой живостью. Когда мы проваливались вниз, тяжелые вершины вздымались над нами метров на шесть.

Ветер швыряет в лицо клочья пены, соленую пыль. Если такая погода продержится до утра, нам не поздоровится. Хуже всего будет, если волны изменят направление. Какова скорость теперь? Бросаю в воду банку из-под сгущенки, высосанную абсолютно, — по традиции я кое-что написал на ней...

Смена прошла гладко, вычерпываю воду, берусь за вёсла. Лодка в порядке, борта тугие, гребу и разглядываю волны — таких я еще не видел. Приходит мысль, что этак можно и не доплыть... Лопни поплавки — им сейчас достается — и всё...

Конец наступит не скоро, я ведь буду плыть, пока не умру, не подарю ни минуты жизни, хоть разумнее было бы тонуть сразу.

Проходит часа два. Всё без изменений. Когда лодку вскидывает вверх, оглядываю горизонт за спиной.

Пусто. Ничто не попадает на пути. Волнение не уменьшается. Похоже, что предстоит неуютная ночь, до нее не так и долго — уже пять...

Проходит еще с полчаса — и происходит удивительное: шторм стихает, как по волшебству! Даже не верится. А еще минут через двадцать моря не узнать, оно успокоилось так же быстро, как разбушевало. Сейчас обычное среднее волнение, не выше двух метров, и чем дальше — тем меньше. Очень странный шторм, и начался и кончился он необыкновенно.

ГДЕ ТУРЦИЯ?

Мы ужинаем. Пью воду, пробиваю новую банку молока, первой хватило на три дня.

— Надо было еще взять, — сожалеет Эдуард.

Вообще-то надо бы — пару баночек. Но мало ли чего надо еще. Вспоминаются плотно набитые мешки, груз на конце шнура — всего не возьмешь. Я захватил только пружинный нож, старинную монетку из коллекции и фотографии некоторых своих композиций.

Когда ж мы увидим землю? Скоро ведь кончаются шестые сутки.

Мы должны быть у берега, километров двести пятьдесят прошли как минимум. А земли нет...

Неужели расчеты неправильны? и мы движемся медленнее? Птиц не видно. А ведь тогда они летали далеко от берегов. Может, относит нас? Всё может быть. В одном я уверен твердо — лодка идет по курсу, на юг. К Турции. Как бы мы ни плыли, рано или поздно должны упереться в турецкий берег.

Когда это будет — что гадать? Увидим. Не стоит делать чрезмерно оптимистических прогнозов. Нужно быть готовым к худшему.

— Знаешь, — говорю, — будем настраиваться на десять суток.

Десять суток... Еще четверо суток мокнуть в воде, трястись от холода, коченеть в неудобном сне на консервных банках. Стертыми ладонями тысячи и тысячи раз тянуть вёсла.

Палящее солнце, жажда, скудные порции соленой воды — придется выдерживать и это. Деваться некуда. Наши жизни в наших руках.

Вечер. Солнце садится в красную мглу. Очень красивыми бывают закаты, всегда разные... Один раз я даже разбудил Эда, чтоб и он полюбовался: необычной формы облака висели в бирюзовом небе, как розовые спруты, протянув вверх длинные фиолетовые щупальцы.

Какая будет сегодня ночь, будет ли спокойным море? Передохнуть бы. Сейчас надо штопать плащ. Штопаю. Достāju помпу, выливаю мутную воду, качаю. Перебираюсь на вёсла. Пристегиваю, привязываю к бортам края тента, поднимаю капюшон плаща, натягиваем друг другу штаны на щиколотки. Поехали. Я сижу на свернутой и слегка поддутой лодке-парусе — так мягче и суше, но высоковато, хуже грести. Все же даю хороший ход. Волна совсем слабая, ветра почти нет, до утра бы так.

Зажглась первая звезда. А вон и «Канопус». Яснеют звезды Медведицы...

Проходит час, другой. Что-то в сон клонит, всё расплывается. Мгновенные картины снов врываются в сознание. Таращу глаза, стряхиваю дремоту. В черном небе горят непонятные созвездия. Где я? — ничего не соображаю... Ага, стал боком к курсу. Не спать. Р-раз-два, раз-два... Какие яркие звёзды, как дома, когда спишь в саду... Что за чёрт, опять засыпаю, клонится голова. Руки машут вёслами. Что это я? Трясу головой.

Сияющий туман Млечного пути. Медведица правее... Ничего не понять, где же она?

Разворачиваю лодку, Медведица оказывается за спиной. Что со мной? Минут десять иду правильно. Опять наплывает что-то. Слабеет шея, резко падает голова, будит. Нет, видно, дело не пойдёт. Расталкиваю Эдуарда:

— Смени, засыпаю совсем.

Снимаю плащик, перебираюсь на корму. Сразу сплю...

Потом я снова сидел на веслах. С час все шло нормально, море совсем успокоилось, легкая низкая волна баюкала лодку. Было тепло. Давно не было так тепло. Вскоре небо начало покрываться

тучами, густые темные тени быстро надвигались с запада, гася звезды. Ориентироваться стало трудно, картина неба всё время менялась, и приходилось то и дело сверяться с компасом — только установишь направление, как снова ничего не понять, звезды появляются, исчезают...

Далеко-далеко беззвучно вспыхивают молнии. Наверное, будет гроза, очень неплохо было бы. То есть, неплохо, если будет дождь, — запастись бы пресной воды, наполнить две фляги, напиться вволю. Если пойдет дождь, будем собирать воду в тент — он сейчас соленый, но вымоется.

Пока дождя нет, ни капли. А тучи такие, что почти невозможно плыть — всё небо в движении, не на что смотреть, не знаешь, куда поворачивает лодка. Тревожу компаньона.

— Да ложись, спи, — говорит Эд.

Спать? Поспать бы хорошо сейчас, всё равно мало толку от гребли — больше смотришь на компас... Да, пожалуй, лягу — на часок, не больше. Сползаю с сиденья, удобно вжимаюсь плечом в носовой поплавок, укрываюсь тентом — сейчас можно лечь по-свободнее, ноги не мешают веслам. Как приятно лежать в другой позе... Будет дождь — я проснусь.

Засыпаю... Крепкий, теплый, сладкий сон среди спокойного моря. Впервые мы спали одновременно. Пропало часа три. Я был зол на себя за эту слабость, но, поразмыслив, решил, что так уж, видно, было нужно — наверно, силы были на пределе, организм хотел передышки. А ведь еще плыть и плыть. Я наверстаю упущенное.

В покаянном настроении я взялся за вёсла и «наверстывал» часа четыре, пока не настал новый день.

Седьмой.



Утренний туман растаял, мы начали оглядывать горизонт. Никаких признаков земли. Ничего. Мы всё еще в мертвой зоне.

Хоть я и настроился на десять дней, всё же хотелось бы доплыть быстрее. Однако непохоже, что берег близко.

В чем же дело, может, течение держит нас? — в море много течений. Ветер-то скорее помогает, чем мешает, да и слишком низко сидит лодка, чтобы ветер ощутимо влиял на скорость. А вот течение... Так и видишь эту картину — как бы с птичьего полёта: где-то посреди моря крохотная лодочка, беспрерывные взмахи весел — и ни с места!

Может быть и такое... Мысль эта настолько страшна, что я предпочитаю на ней не задерживаться. Это ни к чему. Нужно грести и держать курс, сушить одежду, пить скверную морскую воду — жить. Не думать попусту о том, чего нет. Сейчас мы — частица моря, ничто не связывает нас с землей, разве что сны. Мы одни, мы живем жизнью моря, пьем его, страдаем от его капризов, наши дела, желания, отдых обусловлены железными законами лодки, нарушать их нельзя.

Мы и лодка — кажется, ничего больше нет в мире. Наш мир — круг зеленой воды, накрытый куполом неба, солнце, звёзды, неумолчный шум волн...

Я скоро совсем язычником стану, буду молиться этим богам. Как там мой соратник? Что-то он заскучал последнее время, очень молчалив, невесел как-то. Часто не спит, о чем-то думает. Подумать, конечно, есть о чем. Позади осталось многое — вся жизнь. Что впереди? неизвестно. Не зря ли втянул я его в эту авантюру?

Все идет обычным порядком; оглянешь море — ничего, только призрачные столбы на горизонте. Ладони болят всё сильнее, совсем скрючило, размачиваю за бортом, и спина ноет постоянно — и во сне и наяву. Трудно высиживать три часа. Саднит лицо, обожгло-таки. И слизь эта жирная. Губы здорово потрескались, особенно нижняя, засмеешься — лопается поперек. Достая маленькое зеркальце, по частям рассматриваю физиономию. Коричнево-красная обветренная кожа, заросшая выгоревшей щетиной, остро, воспаленно глядят глаза в трещинках морщинок.

Брови выгорели. Здорово я изменился. Вид вообще-то ничего, кинематографический, интересно бы сфотографироваться таким.

Нет, морю не сломить меня, буду бороться, пока жив. Времени еще много. У нас около двух литров воды, через два дня выпьем по литру — это избавит от накопившейся соли, потом снова можно пить морскую — дней пять, и еще не умрешь несколько дней...

Идут часы.

После полудня событие — среди волн показался стебелек травы, знакомая прозрачная ленточка. Значит ли это, что берег близко? Вряд ли, если вспомнить, где мы их видели. Всё же приятно эта встреча. И кто знает, может быть...

Через какое-то время еще трава. Позже — толстый стебель, что-то вроде тростника — это уже с берега...

Снова встреча, нечто новое. Подгребаю, вылавливаю пористый камень, очень легкий, как пемза. Что это? Кусок берега? А может, груз корабля? Хотя какой смысл возить такие камни. Видимо, с берега. А сколько до него — это вопрос.

Еще камни. Я уже не подплываю к ним, но каждая встреча радует.

Проходит час-два, и в воде появляется странный предмет, не понять, что — белёсое и гладкое, как брюхо большой рыбы. Быстро подходим — ага, пластиковый прозрачный мешок, вымазан чем-то жирным, ну, это уж явно с корабля. Неужели мы на трассе?!

Ну, дай Бог. Отрываю кусок пленки на всякий случай. Потом встречается загадочный круглый комок, смахивающий на гнилое яблоко, хватаю его и тут же раскаиваюсь в этом, — возможно, это и яблоко, но насквозь пропитанное мазутом. Теперь проблема — чем вытереть руку, в лодке ненужных тряпок нет.

Плывем дальше. Вылавливаем толстый черный кусок коры, снова пластиковый пакет, небольшой, что-то написано на нем — не разобрать, внутри маленький уголек. Тоже с корабля?

Пока что кораблей не видно, и берега нет. Однако веселей как-то стало.

— Сегодня, наверно, увидим землю, в ночь с понедельника на вторник, — говорит Эдуард. — У нас всё происходит в понедельник.

Действительно, первый рейс — в понедельник, второй, 7-го — тоже. Посмотрим.

Уходит день. С надеждой поглядываем вокруг, но ничего. Тихий вечер, всё пронизано золотистым маревом уходящего солнца. Снова интересное ощущение: мне всё время мерещится справа, за плечом, какое-то строение, вроде досчатой будки; кажется, вижу его краем глаза, только голову повернуть... А слева — низкий берег, поросший кустарником, уходит в воду — вот-вот лодка ткнется в него. Так, пожалуй, и чёрта скоро увидишь. Ровно гребу, ориентируясь на вечерние тучки... Вдруг что-то заставляет меня оглянуться. Я так и подскочил — прямо на нас шел корабль, легкий силуэт четко голубел на горизонте! Да, на нас, виден точно с носа.

Еще далекий, но будет здесь минут через пятнадцать. Успеть отойти в сторону!

Яростно налегаю на весла — тут не до уключин, выбирать не приходится. Лодочка так и прыгает — еще быстрее, еще! Силуэт растет, темнеет на глазах. Эх, мала скорость... Успею? Еще несколько минут... Нельзя грести дольше, пора ложиться.

— Ложись!

Близко, слишком близко.

Раскидываю тент, осторожно выглядываю — одни глаза. Всматриваюсь в корабль — так и есть, красная полоса на трубе, как чувствовал. Ну, пронеси! Подгребаю, держусь кормой к судну. Медленно, как медленно идет оно мимо... Хорошо виден корпус, палуба. Не пойму, что за корабль. Цвет штатский... Близко, чёрт. Только бы не поглядел кто в нашу сторону. Долгие минуты...

Теперь видна корма. Странная корма, с какими-то воротами сзади, сверху два столба с перекладиной, очевидно, кран. Грузовая посудина. Ну, давай проходи...

Долго проходит. Сюда вроде бы быстрее двигался. Корма. Уменьшается понемногу. Фу-у, кажется, пронесло! Засаекаю курс: идет от Босфора куда-то на северо-восток. Это не батумская линия? Новороссийск? Нет, пожалуй, южнее. Наверно, арабам что-то возил. Значит, мы недалеко от берега. Вот угораздило встретиться. Обидно было бы погореть сейчас. Да, не оглянись я вовремя...

Теперь корабль далеко, светлый корпус всё меньше. И не разглядеть нас против солнца, можно вставать. Прощай, «земляк»... Однако, нужно почаще оглядываться — мы в зоне, не хочется повторения.

ЗЕМЛЯ !

Часов около девяти Эд замечает далекий огонек. Это не звезда, очень уж низко. Еще корабль? Каким курсом идет?

Определить несложно — берешь звезду по вертикали от огня, минут через десять он сдвинется в сторону или будет ярче, если идет на нас. Через десять минут всё без изменений. В чем дело? Стоит на месте? Стоять может только военное судно, сторожевик, или потерпевшее бедствие. Если военное — значит, турок, это неплохо. Поглядим еще. Пока не меняю курса. Ждем еще минут двадцать — всё по-прежнему... Нет, что-то еще: слышен далекий низкий гул, гудок как будто, с паузами. Что это? сигнал корабля? Вряд ли. А если маяк? Наверное, маяк! Неподвижный огонь и

ревун. Нужно менять курс. Огонек на юге, немного к востоку, не очень-то большая разница для нас — всё равно к берегу. Точно замечаю направление, проверяю по компасу и звездам. Полярная теперь справа.

Всю ночь мы вели лодку на огонь. Всю ночь был слышен далекий мощный гул, только к утру он затих. Погас и огонек.

А ночь опять была грозовая, погромыхивало, сверкали молнии — вот-вот, кажется, разразится ливень; я растянул было тент, но тщетно — упало несколько капель, и всё. Жаль, пресная водичка не повредила бы даже теперь, хоть теперь (тьфу, тьфу!) это не имеет особого значения — если берег близко, можно попить и морскую. Вообще-то у меня была одна идея — выпаривать пресную воду в маленькой шлюпке, накрыв ее пластиковой пленкой, но пока был какой-то запас, с этим не стоило возиться, а теперь и подавно.

Море, как по заказу, гладкое, почти зеркальное, только бунчики за кормой.

Я всё быстрее и быстрее взмахиваю веслами. Работа увлекает, забывается усталость этих дней, я снова полон сил и свеж.

Быстрее, быстрее! Интересно все же, с кем я соревнуюсь, с самим собой? — никто ведь не видит... Так проходят часы ночи. Но понемногу знакомая тупая боль поднимается вдоль спины, затекают бедра, ломит таз... Я стараюсь не замечать этого, меняю позу, подкладываю под себя согнутую ногу, — легче, но ненадолго, так долго не высидишь, — нога «засыпает». И я начинаю клевать носом. Пора в «постель».

Проснулся от тепла, солнце светило вовсю. Эд устало сидел на вёслах.

— Земля, — сказал он.

Я начал вглядываться, но ничего не видел.

— Да вон там, не туда смотришь!

Ага, вижу как будто. Едва заметная серая полоска, словно туман над водой. Не знай я, что земля близка, не обратил бы на нее внимания. А выше — справа и слева совсем уж призрачный контур далеких гор. **Земля!**

Сколько до нее — тридцать километров, пятьдесят? Не понять! Это и неважно, главное — вот она.

В это уже можно поверить. Совсем другое дело, не то, что те неопределенные дни, когда мы плыли в пустом море.

Сейчас цель близка, с каждым часом четче линия берега, хоть и не так скоро он приближается, как хотелось бы. Нас наве-

щают чайки, белые и серые. Пролетела стайка птиц, похожих на нашу гостью.

Кораблей нет. Эд говорит, что неплохо бы встретиться с кем-нибудь, попросить воды, — странные слова, даже в виду турецких берегов. Меня перспектива возвращения не привлекает. И еще — я не хочу никакой помощи, даже попадись нам друг. Я не хотел ее и раньше, когда мы не видели земли. Конечно, случись нам встретить западный корабль, я поднялся бы на борт — важна ведь конечная цель; но я не хотел этого — надо проплыть самому, от начала до конца. Кто знает меня, тот не усомнится в этих словах.

Сегодня третий «солёный» день, но можно, пожалуй, откупорить одну флягу — Эд подкрепится, и мне приятно. Снова прекрасные минуты. На радостях балуем себя и сгущенным молоком — сверх нормы.

Берег виден хорошо. Маяка не разглядишь, но виднеется силуэт какой-то башни с круглым куполом — что бы это могло быть? В обед начинаем четвертую банку тушенки.

Накладываю порции больше обычного — теперь можно не экономить. И снова стаканчик воды. Жизнь всем хороша, но очень уж ломит спину и пониже, неумогуто сидеть.

У Эда разболелась шея, ему трудно держать голову — и понятно, он гребет, сильно запрокинувшись назад. Я здорово отощал — одни мышцы, думаю, килограмм семь слетело как минимум. Крепко обожгло нос — не прикоснуться, и пальцы болят. Но это мелочи. Дотянем, недолго уже.

Интересно, как примут нас турки? Поверят ли? Случай, скажем прямо, феноменальный, мировой рекорд. Ну, там будет видно.

Во второй половине дня стал различим маяк, светлая башенка у самого моря.

Час за часом она росла, и казалось, что к вечеру мы должны доплыть, ну, самое позднее, к ночи. Эти расчеты и наблюдения несколько притупили бдительность, и мы прозевали корабль. Громадный черный корпус высился совсем близко!

Тут уж ничего другого не оставалось, как пасть на дно и укрыться. Этот был самым близким из всех нам встретившихся — пустой танкер, иностранец (уже легче!), в Туапсе я видел подобную расцветку, идет к Батуми. Хотя мы и рядом с берегом, встреча все же неприятная, — вдруг «демократ», кто их разберет!

Пропустили, поплыли дальше. Вечерело. Вскоре между нами и берегом прошло еще судно, белое, курсом на Босфор.

Скорей бы стемнело. Мы надеялись, что часам к 11-12-ти доберемся... сейчас башенка, освещенная закатным солнцем, была видна совсем четко. Солнце садилось, тускнело, дымка легла на море, и — недавно близкий, такой реальный берег стал туманиться, растворяться, растаял и исчез на глазах, как мираж, пугающе быстро.

Еще совсем светло, а берега, маяка уже нет. Неприятно как-то стало... Позже, когда стемнело, маяк вспыхнул и замигал ободряюще-ярко, указывая нам путь. Гудок не гудел.

Ночь была повторением предыдущей — спокойное море и грозовое, в тучах, небо. Приходилось оглядываться на огонь и лодка слегка рыскала.

Земля оказалась не так уж близка...

Трудно даются эти последние километры до цели, много отдано сил, и так хочется отдохнуть...

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

На рассвете девятого дня перед нами встал берег: пустынные каменистые склоны, лес, совсем близкая башня маяка. Маяк стоит на скале примерно такой же высоты, как он сам. А вчера башня словно вырастала из воды. Ну, вот ты и добился своего.

Серая неприветливая погода, растет встречная волна, плещет через борт. Теперь это не имеет значения. Теперь уж ничто не может помешать нам — хоть тони лодка.

До земли километров пять-шесть. Вот она, наша цель, Турция, рукой подать, всё ясней берег под бледным солнцем. Выпиваем по стаканчику воды, еще остается полфляги, пусть будет на всякий случай. Значит, за всё время (теперь более восьми суток) мы выпили три с половиной литра, нет, даже меньше — на стакан, который некогда было доливать тогда...

Всё ближе земля, но людей не видно. Я жму на весла. Всего лишь несколько сот метров осталось... теперь метров двести... Ага, вот человек у маяка. Вглядывается. Еще двое. Смотрят на нас. Машем им. Они сбегают вниз, из-за камня выплывает моторный бот — к нам. Трое мужчин рассматривают нас метров с тридцати. «Парле ву франсе? Ду ю спик инглиш?» — Нет. Показываю жестами: Телефон? — Нет. Один, помоложе, спрашивает (тоже жестами): Плыли? — Да, да. Где пристать? — Турки поворачивают к берегу — идите за нами. Плыву за ними.

Черно-серые скалы круто уходят в море, торчат острыми зубьями. А вот, за камнем, небольшой пологий откос. Хватаюсь за борт баркаса, подтягиваю лодку. Ступаю в воду — тут мелко, по колено, выносим лодку на берег. Что это со мной — совсем не держат ноги, берег качается, как море, валит меня. Держусь за камни, сажусь. Удивительное ощущение. Я слышал об этом, такое бывает, когда долго не стоишь на земле. Но тут дело не только в этом. Я не стоял вообще ни на чем все эти дни, только сидел и лежал, и почти не сгибал ноги. А всё же такая слабость — просто смешно! Поднимаюсь, приседаю несколько раз. Да, здорово ослабел...

Парень лезет вверх по скале, я за ним, меня удерживают, показывают путь полегче. Когда это я выбирал путь полегче? А теперь, пожалуй, стоит! Цепляясь за выступы, взбираемся наверх, к маяку.

Изгороди из жердей, нехитрая хозяйственная утварь. Один из турок — смотритель маяка, тут и семья его — жена, детишки, глазают на нас: люди с моря, обгоревшие лица в светлой щетине, растрескавшиеся губы и — неутолимая жажда...

И вот я лежу на земле, твердой, теплой, она пахнет сухим навозом и всеми земными запахами. Я прижимаюсь к ней всем телом... И пью, пью, глотаю горячий крепкий чай. Вокруг сидят наши турки, славные такие люди, глядят сочувственно... улыбки, незнакомые слова...

Позади, за башней маяка, за краем берега — море. Ветер гонит волны. Начинается шторм.



Что сказать еще? Турция — приятная страна, но, на мой взгляд, слишком уж гостеприимная, мы в ней несколько засиделись.

Конечно, я не жалею, что побывал там. Есть что вспомнить. Дикие прекрасные пейзажи, бесчисленные минареты мечетей, симпатичный народ, крепкий в своих обычаях. Своеобразная музыка, к которой трудно привыкнуть. Экзотическая турецкая баня, где мы парились, как истые мусульмане, прикрыв срам каким-то подобием юбок. Любопытные картинки восточной жизни, вот одна:

Старая высохшая женщина в темных одеждах, с закрытым лицом, толкает зад ишака, стоящего за стеной. Ишак небольшой, но какой-то каменный, — он вроде бы не упирается даже,

стоит себе... Вот переступил немного, теперь вровень с углом — полное впечатление, что старуха пытается опрокинуть дом, бьется о него, конечно, напрасно...

Стамбул. Каменный холм Айя-София, окруженный трофеями боевой славы, колоссальная султанская мечеть, чувство, испытанное мной под её голубыми сводами...

Наши физиономии в стамбульских газетах. Босфор, вереница судов. Несколько раз проходили корабли с красной полосой на трубе совсем рядом. Теперь это только забавно, уже не страшно.

Но еще долго я буду видеть сны, обычные сны беглеца-эмигранта: видишь себя на родине, в знакомых местах, среди знакомых людей, и мучительно удивляешься, что ты опять тут, после всего, что было, знаешь, помнишь, что был «там» — как же так, почему, зачем вернулся, придётся теперь снова, скорей, пока не арестовали... Сны, полные тревоги, когда просыпаешься с облегчением — нет, я здесь...



Самолет несется над Европой — в ослепительной голубизне облаков снежные кристаллы гор, расчерченные дорогами поля. Только тут по-настоящему понимаешь, какая огромная страна Россия. И несчастий навалено на нее по размеру. Видно, такой ей жребий в мире — не жить самой и мешать жить другим...

Позади Италия, удивительный Рим, грандиозные руины в иероглифах туристов — память былого величия. Прекрасный Неаполь. Жаль, что не смог я увидеть всю страну — как-нибудь позже.

Зеленые равнины Ирландии — вот замок мелькнул под крылом... Короткая остановка и — Океан, безбрежная масса воды с плавающими островками туч. Всё время мы летим за солнцем, за уходящим днем.

Понемногу темнеет. Темно-голубое небо и лиловый слой облаков разделяет пурпурная полоса заката. Потом она гаснет. В ночной синеве, среди звезд стоит молодой месяц рожками вверх. Внизу тоже появляются звездочки, одинокие и сплетенные в причудливые созвездия, как светящиеся паучки. Что это? — огни островов? материка? Непонятно. Их становится всё больше, вдали возникает дымное розовое зарево, свет гигантского города.

Всё ярче, ближе. Бессчетные разноцветные искорки, яркие огни.

Теперь не видно звезд. Самолет ложится на крыло, идет вниз.

Картина становится просто сказочной. Тысячи и тысячи огней, все мыслимые краски, фантастический узор из драгоценных камней. Бессмысленно рассказывать, нужно видеть. Все мы прильнули к иллюминаторам. Включаю транзистор, подбираю подходящую музыку. Летят навстречу синие огни аэропорта.

Толчок, долгий бег машины. Всё. Схожу по трапу, ступаю на землю новой своей страны. Как она встретит меня? Увидим.

Ну — хэлоу, Америка!

Между прочим, сегодня тоже понедельник.

1968 г.

ПАМЯТИ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЧЕЛОВЕКА

Есть люди, которые не привлекают к себе внимания, не ищут известности, даже сторонятся ее, но знакомство и дружественное общение с ними оставляет глубокий след в душе.

К таким людям принадлежал умерший десять лет тому назад, на 63 году жизни (годы жизни: 1896 — 1959), — историк, социолог, публицист — Константин Феодосьевич Штеппа.

Он много писал, печатался, но в русской зарубежной печати только под псевдонимами, и его имя теперь мало что говорит широкому кругу читателей.

Между тем статьи его, напечатанные и оставшиеся в рукописях, книги, изданные и неизданные, говорят о большом публицистическом таланте автора, о глубине социологического анализа; о вещем проникновении в будущее, которое так тревожило и пугало Константина Феодосьевича.

Он знал преступную сущность коммунизма, он звал к идейной борьбе против коммунизма — писал и на немецком языке, и на английском, — и видел, как на его глазах выхолащивается, свертывается, чахнет идейная борьба.

Он переживал это как предвестие катастрофы, как общее и личное его бедствие.

Он был последовательным, бескомпромиссным антикоммунистом, противопоставлял ему общечеловеческий гуманизм.

Коммунизм был его врагом, но он не искал недругов в нашем, антикоммунистическом лагере, не сторонился ни левых, ни правых, ни средних; в наше время пристрастных взглядов, индивидуальной нетерпимости и коллективной одержимости Штеппа проявлял исключительную терпимость, а в трудах своих — научную объективность.

Не принадлежа ни к каким организациям, ни к каким направлениям, он был прежде всего человеком, личностью.

Жизненный путь Константина Феодосьевича не был легким, и пережитое отозвалось на здоровье, привело к преждевременному концу. Инфаркт, бич нашего времени, не пощадил его.

Ежовщина, ожидание ареста, арест — и год в тюрьме. Моральные и физические пытки. Потом война. Редактирование антикоммунистической газеты в Киеве. Столкновения с немцами, изматывавшие нервы. Его призванием была чистая наука, а пришлось редактировать газету, заниматься публицистикой. В коммунизме видел величайшего врага России, и борьбу против него словом считал своим долгом.

После войны — страшное время насильственной репатриации, угроза выдачи. А Константин Феодосьевич снова берется за перо, чтобы обличать врага.

После войны сотрудничал в «Гранях» (статья «Кто победил?» в № 10)*), но главным образом в «Посеве». Под псевдонимом Н. Громов регулярно писал международные обзоры, широко освещая насущные вопросы, глубоко анализируя события.

Средства для жизни давала работа в библиотеках, сначала Гёттингенского и Мюнстерского, затем Гамбургского университетов. Перед переездом в США преподавал русский язык в американской школе под Мюнхеном. Это обеспечивало жизнь вполне. В США, куда переехал в 1952 году, тоже материально не нуждался, но не это было главным в его жизни. Научный труд, творчество — вот чем жил всегда.

Знал английский язык, стремился к научной работе, стремился получить кафедру, но безрезультатно.

«Он был замечательный человек и большой ученый, — писала мне жена его, тоже ныне покойная, — но на этой половине земного шара его недопонимали и недооценили».

На родине его преследовала ненависть врага. Здесь — нетерпимость недругов, которым Константин Феодосьевич не сделал ни малейшего зла.

Он долго пытался получить место профессора истории, писал во многие университеты, жаловался:

— Куда ни обращаюсь — отказ. В десятки университетов посылал бумаги — и отовсюду вежливое: нет.

С горечью рассказывал, как долго и упорно травили и преследовали его, украинца по крови, украинские сепаратисты:

— Украинец, а проданся москалям!

Никаким «москалям» он, человек русской и украинской культуры, то есть россиянин, не продавался, потому что матери-родине

*) Статьи: «Без числа и меры» («Грани» № 25), «Третье звено диалектической триады» («Грани» № 33), «Сталинизм» и «хрущевизм» («Грани» № 39). — Р е д .

не продаются, ей служат. Служение свое видел в идейной борьбе против ее врага — режима.

Научную работу Константин Феодосьевич начал в 1922 году, получив место лектора истории и филологии в Нежинском учительском институте.

В 1927 году защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук, в 1930 году получил кафедру истории в Киевском университете и занимал ее до ареста в 1938 году. В 1939 году был освобожден.

С 1925 до 1941 года вышло восемь его книг по историческим вопросам, появилось пять обширных статей в исторических журналах.

В годы войны занимался публицистикой.

После войны не оставил публицистики, но продолжал и научную работу. В 1949 году опубликовал большую статью «Теория Третьего Рима в истории России» в немецком историческом журнале.

В 1951 году в Лондоне вышла его книга на английском языке о советских тюрьмах и методах следствия.

В 1959 году, уже после кончины его, в Нью-Йорке вышел обширный (437 страниц) труд «Русская история и советское государство».

Куда обширнее список неизданных работ его — их более сорока. Наиболее значительные из них: «Идеократия», «Власть», «Правящая партия и политическая полиция СССР».

Писал и мемуары. Смерть прервала начатый труд. Оборвалась творческая и научная деятельность большого ученого.

Страшное время трепало и бросало, но никогда не сворачивал он с раз избранного пути. В Германии пришлось учительствовать, в Америке писал обзоры радиопередач на русском языке, а тянуло всегда к большой работе над книгами, к большим историческим и политическим проблемам.

Говорил не раз:

— Мне ничего не нужно, кроме моих книг.

Публицист-трибун по долгу, он был ученым-историком по призванию.

Если меня теперь спросят, какая наиболее характерная черта покойного Константина Феодосьевича, я отвечу тем, с чего начал: скромность.

Я встречался с ним с большими перерывами, то в Лимбурге-на-Лане, где издавался тогда «Посев», то в Гамбурге, где жили

мы с семьями. Потом в Нью-Йорке, где Константин Феодосьевич прожил семь лет и умер.

В Нью-Йорке одно время встречались регулярно, я бывал у него на Третьей авеню, обедал. И вот тут, в живых интересных беседах раскрывалась передо мною его огромная эрудиция, ясный ум, логичность мышления. И личное обаяние. Я не помню, чтобы он когда-нибудь повысил голос, сказал о ком-нибудь резко, даже о недругах, преследовавших его. У каждого есть недруги, но что они были у Константина Феодосьевича, казалось противоестественным.

Писал он на темы исторические и политические, вернее историко-политические, но прекрасно знал и литературу. Помню его блестящую лекцию о Достоевском в Лимбурге, на конференции сотрудников «Посева».

Раскрытие глубин человеческого характера у Достоевского привлекало Константина Феодосьевича, отвечало его собственным взглядам на человека.

И в литературе его интересовал главным образом человек, а в истории — процессы, происходящие в человеческом обществе, в сознании людей.

Не будь того, что было — революции, войны, ее последствий, — короче говоря, была бы жива Россия в мире и покое, Константин Феодосьевич внес бы немало в русскую историческую науку.

Удивляться только надо, как много ценного написал он в сложнейших условиях, как мужественно прошел свой нелегкий путь.

Судьба Константина Феодосьевича Штеппы — судьба многих выдающихся сынов России.

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ МАКСИМОВА

Сергей Максимов — русский писатель-эмигрант.

Родился 14 июня 1916 года в России, на Волге.

Умер 11 марта 1967 года в Америке, в Калифорнии.

За границей прожил больше двадцати лет, но как был, так и остался русским и писал только о России.

Роман «Денис Бушуев», пьеса «Семья Широковых», поэмы

«Иоанн Грозный» и «Танюша», все рассказы из сборников «Тайга» и «Голубое молчание», все рассказы, опубликованные за границей в периодической печати, — о России и только о России.

И силы свои жизненные и творческие разматывал тоже чисто по-русски, в нашем русском недуге — и оборвалась жизнь в пятьдесят лет.

А мог бы еще писать и писать.

Я знал Сергея Максимова больше двадцати лет. Познакомился во время войны в Смоленске, ранней осенью 1943 года. Через два года, уже после капитуляции Германии, увидел его в Гамбурге, где издавался тогда еженедельник «Путь», и мы бывали на литературных встречах в редакции. В 1946 году он уехал в большой русский лагерь Менхегоф, под Касселем. Через пять лет встретились в Америке. Жили в Нью-Йорке, в разных концах его, и встречались реже, чем в Смоленске и Гамбурге.

Начал писать Сергей еще до войны, сотрудничал в журналах «Смена» и «Мурзилка».

Писал во время войны, в годы послевоенные, в эмиграции — самые плодотворные его годы; писал и в Америке.

Родился Сергей Максимов в большом селе на Волге, в семье учителя.

В 1919 году семья переехала в Кострому, в 1923 году — в Москву, где он закончил девятилетку, поступил в один из московских институтов.

В 1936 году начались аресты среди студентов московских вузов. В числе арестованных был и Сергей.

Пять лет провел в северных концлагерях. Освободили накануне войны, в апреле 1941 года.

В Москве жить не мог, поселился в Калуге.

В последней части «Одиссеи арестанта», опубликованной после войны, описано то время.

Когда немцы подходили к Калуге, пытался уехать, чтобы добраться в родное село, куда к тому времени уехала из Москвы мать (отец умер до войны), но ссыльный, без документов, рисковал снова попасть в концлагерь.

Перед самым приходом немцев заболел воспалением легких, семнадцать дней пролежал в подвале на попечении чужих людей.

Калугу немцы вскоре оставили.

Уходить вслед за немцами или оставаться? Как и многим русским людям, решение нелегко далось.

Уходить — в неизвестность, оставаться — почти наверняка попасть в концлагерь.

Уходить пришлось пешком. Шел от деревни до деревни, ночевал у крестьян, питался подаением.

Обросший бородой, обмороженный (уходил зимой), пришел в Смоленск. Нашлись и здесь добрые люди: приютили.

Здесь, в Смоленске, встретил будущую свою жену, Соню С. Прав брат Сергея Николай, писавший мне:

«Она была его истинным ангелом-хранителем».

Она сыграла и большую положительную роль в его творчестве.

Хотя и временно, жизнь устроилась, наладилась — и Сергей начал писать. В 1942 году вышла книжка его стихов (под псевдонимом Сергей Широков) и повесть «Сумерки».

В Смоленске пришлось пережить еще один арест, тюрьму, камеру смертников.

Агенты советской разведки, проникшие в гестапо, погубили немало русских антикоммунистов. Сергей уцелел буквально чудом и через полгода вырвался на свободу.

Осенью 1944 года вместе с женой выехал в Минск, оттуда в Берлин.

В чужом городе, где воздушные налеты до предела изматывали людей, в постоянной тревоге за мать, за свое и жены будущее Сергей все-таки писал, потому что не мог не писать.

В Берлине начал «Дениса Бушуева», написал сборник рассказов «Алый снег». Издать не удалось, но рукопись сохранилась, и рассказы вошли в сборник «Тайга», выпущенный издательством имени Чехова в Нью-Йорке.

Перед капитуляцией Германии переехал из Берлина в Гамбург, в английскую зону оккупации.

Немцы, англичане, американцы... Не к ним уходили мы, а от врага нашего, от всего, что связано со словами: коммунистический режим.

Кончилась война — началась насильственная репатриация, охота смершевцев за бывшими советскими гражданами.

В списках тех, кого требовали выдать, был и писатель Сергей Максимов. Друзья из НТС (сам он ни в каких организациях не состоял) помогли бежать из Гамбурга, устроили в лагерь перемещенных лиц Менхегоф. В Менхегофе Сергей участвовал в редактировании «Граней». Из Менхегофа переехал в маленький городок Камберг, под Франкфуртом-на-Майне.

В то время много писал, заканчивал «Дениса Бушуева».

Первая книга появилась в 1949 году, в специальном выпуске «Граней» (№№ 6-7). В том же году роман вышел в Германии на

немецком языке, а в 1951 году на английском, в издательстве Скрибнер в США. В те же послевоенные годы написаны и в «Гранях» опубликованы поэмы «Иоанн Грозный» и «Танюша».

В 1949 году Сергей переехал с женой в США. Начал усиленно писать. Одно время преподавал русский язык в Фордэмском университете в Нью-Йорке.

В 1952 году в издательстве имени Чехова вышел сборник его рассказов «Тайга», в 1953 году — сборник рассказов «Голубое молчание», в 1956 году — второй том «Дениса Бушуева» под названием «Бунт Дениса Бушуева».

В 1951 году произошел разрыв с женой.

«Именно после разрыва с Соней он стал сдавать, — писал мне Николай. — Однако даже после второго тома «Дениса» у него, на мой взгляд, был еще один великолепный взлет — «Семья Широковых». Вещь эта еще ждет справедливой оценки».

Всё творчество Сергея Максимова ждет детального литературоведческого разбора, справедливой оценки.

Последние годы своей жизни Сергей жил то в Нью-Йорке, где я и встречал его, то в Калифорнии, у брата, то в Вашингтоне, у почитателей его таланта, то в Лос-Анжелосе. Ему многие помогали.

Писал между тем все реже. Все чаще болел.

Бунин и за границей мог писать о России — так неистощим был у него запас наблюдений, так полна была писательская память образами прошлого. Не в России, а в эмиграции, во Франции, написал он самое лучшее, что есть у него.

Куприн тоже обладал зорким глазом, увез в эмиграцию немалый запас наблюдений, а писать за границей не смог: иссякли источники творчества... И дело тут не в усыхании таланта, а в чем-то другом.

Это что-то крылось и в периодических снижениях творческого подъема Сергея Максимова, когда — к концу жизни — подолгу ничего не писал.

Оставила след и беспокойная юность, и пять лет концлагерей, и испытания военных лет. Надорвалось здоровье, надломилась воля.

Последние два года еще и болел после того, как упал в Нью-Йорке на улице и разбил голову.

И результат: кровоизлияние в мозг и смерть на пятьдесят первом году жизни.

Перед отъездом в Лос-Анжелос, где он умер, Сергей гостил у брата в городе Пало Алто, тоже в Калифорнии. Отдыхал, много читал.

Прочитал два тома Горького, говорил: «Больше из-за Волги...»

Считал, кажется, себя учеником Горького, но за учителем не шел — и хорошо делал.

Нет у Сергея ни манерности, ни красоты, — свидетелей ущербленности литературного вкуса.

Литературным вкусом обладал Сергей Максимов в полной мере.

Почти полжизни прожил он за границей и всё, не считая юношеских литературных опытов, за границей написал, но до конца дней своих оставался русским писателем.

Придет время, когда книги его будут читать в России.

МИР ГЕННАДИЯ АЙГИ – ТИШИНА

1. 1960 г. БОЛЬШАЯ ТРОИЦКАЯ, ДОМ № 65, ТРУСОВЫХ

...о эту рану сохраню как центр
пусть говорю я светит ею
светит существующее...

Геннадий Айги

Было это далеко-далеко от центра, на самой окраине Москвы. Название улицы — «Большая Троицкая» — внушало представление о чем-то великолепном; в действительности же, однако, эта улица напоминала скорее дорогу, проходящую через деревню; в середине — невылазная грязь, по краям — сараи, полуразвалившиеся лачуги.

В одной из самых неказистых лачуг обитали Трусовы, а у них квартировал Геннадий Айги, двадцатишестилетний выпускник Литературного института имени Максима Горького, подсобный научный работник в Музее Маяковского, поэт. Чтобы попасть в его комнатуху, надо было пройти черным коридором, затем — через полутемный хлев и, наконец, преодолеть пять ступеней, которые ежеминутно могли обрушиться. В комнате находился стол из необструганных досок, «диван», сбитый из ящичков, два стула. На столе — хлеб и чай. Ни разу Айги не переступил порога московского Дома литераторов, где был фешенебельный ресторан, получавший продукты из «специальных фондов»; как раз в те

годы — в течение ряда лет — здесь усмирялись «бунтарские души» представителей молодого поколения, к которому принадлежал Айги и его коллеги по Литинституту. На стенах убогой комнаты висели образцы графики, картины русских художников, живших в двадцатые годы, и современных, из категории тех, что «гордо несли на челе печать мировой скорби». На полках, на шкафу, на полу — груды книг; в углу, под четырехугольным окном — такие окна типичны для всех деревенских изб — стоял ящик, а на нем — магнитофон. Быть может, весь этот «интерьер» пришелся бы вам по вкусу. Прежде всего, вас заинтересовали бы книги: уникальные издания двадцатых лет, различные сборники поэтов-футуристов, выпускавшиеся «на рынок» всего лишь в нескольких десятках экземпляров, первые издания произведений Хлебникова, Крученых, Багрицкого, Мандельштама, Пастернака, Маяковского. Вслед за тем ваш взор остановился бы на пирамиде рукописей; тут, однако, никак невозможно разобраться без компетентных разъяснений владельца этого редкостного архива. Слушать рассказы Айги о людях двадцатых лет — поэтах, художниках, музыкантах, живших в ту эпоху, — это значит внезапно перенестись в те времена, узнать о них неизмеримо больше того, что допускается «официальной историей», взглянуть на них «без сучка в глазу». Приведем наудачу хотя бы один отрывок из не написанной Айги «Истории советской литературы».

«В 1926 году группа литераторов образовала »Объединение реального искусства» — ОБЭРИУ, в которое вошли люди, на свой лад понимающие европейский дадаизм, к тому времени уже сходящий со сцены. Они называли себя «естественными мыслителями». В сущности их характерной, типично русской чертой была подлинность и трагичность, хотя вели они себя подчеркнуто эксцентрично: катались в трусиках на детских самокатах по ленинградским улицам, наскоро сколачивали подмости и потрясали душную атмосферу конца двадцатых лет скандальными рассказами и стихами; на их языке это называлось «поэзия — театр».

Всего в «Объединении реального искусства» насчитывалось приблизительно пятнадцать писателей. Возглавляла его «троица»: Даниил Хармс, Александр Введенский, Заболоцкий. Лагерь, куда они попали в тридцатом году, удалось пережить всем. Однако из членов Объединения один только Заболоцкий оставил в литературе заметный след. Вскоре после выхода из лагеря Александр Введенский застрелился, а что касается Даниила Хармса, то здесь следует рассказать целую историю. Он существовал на гонорары,

изредка получаемые за стихи для детей. Пришла война. Всю одежду, которая у него была, он обменял на еду. Остался, как говорится, «без ничего». Но однажды нашел завалявшиеся где-то широкие штаны в клетку и клетчатую шапку — остатки «былого величия», символы померкшей славы ОБЭРИУ. Никакой другой одежды у него не было, волей-неволей облачился он в этот «маскарадный костюм» и отправился на скованные морозом ленинградские улицы в поисках какой-нибудь еды. Его арестовали по подозрению в шпионаже. Хотите знать, почему? Очень просто: подозрительный элемент, вычурно одетый, да еще на европейский манер. Вдобавок было установлено его еврейское происхождение. Разве не достаточно причин, чтобы «упрятать» в ленинградскую тюрьму? Все это произошло в начале блокады. А дальше, в общей суматохе, о Хармсе забыли, и он умер от голода в своей камере.

Такая доля досталась как раз ему — мастеру жестоких парадоксов», — заканчивает свое повествование Айги.

«Глава» производит подавляющее впечатление, слова застревают в гортани. Положение спасает магнитофонная лента, которая воспроизводит голос старого поэта Крученых. В те годы Айги еще встречался с ним иногда. Крученых, уже старец, получал ничтожную, лучше сказать — нищенскую пенсию. За бутылку хорошего пива или вина он декламировал для записи на магнитофонную ленту свои собственные футуристические стихи и стихи поэтов, с которыми дружил в молодости, причем замечательно имитировал их голоса. Например, он в точности воспроизводил манеру читать стихи Велемира Хлебникова (напевал тоненьким, монотонным голосом), Асеева, Бурлюка, Маяковского (Маяковский не читал, но выкрикивал свои поэмы, заглушая все остальные звуки; и однажды Мандельштам, когда Маяковский начал «выкрикивать» свою последнюю поэму в ресторане во время ужина, сказал ему: «Бросьте, Маяковский, ведь вы в конце концов — не румынский оркестр, вы — поэт»).

Покидаю обителище Г. Айги, держа под мышкой охапку рукописей. Вечерний мороз слегка прихватил грязь. Только в автобусе вдруг осознаю, что за исключением нескольких замечательных стихотворений, которые были мне известны и раньше и из-за которых в сущности и был «нанесен визит» Геннадия Айги, об его жизни и работе так и не удалось узнать ничего. О себе он не говорил, а между тем память подсказывает, что за время беседы, продолжавшейся много часов, вопрос об его личной жизни ставился несколько раз.

II. 1964 г. НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ, В ТОЙ ЖЕ ОБСТАНОВКЕ

— Геннадий, прошу вас, сейчас или уже никогда:
расскажите о своей жизни, творчестве...

— Мне хотелось бы кое-что снова переработать...

Родился Айги в 1934 году в Чувашии. Годы его учебы проходили под знаком «поредевших, обезлюдевших городов, обильных убийств». В его память врезался отчаянный крик матери «ай-ии», звуковые элементы которого имеются и в имени его рода. Вероятно, потому поэт продолжает носить имя «Айги», хотя его отец впоследствии взял фамилию Лисин.

Айги начал писать и печататься пятнадцати лет. Первые два сборника издал на чувашском языке («От имени отцов», 1958 г. и «Музыка на всю жизнь», 1962 г.). Уже здесь, в первом сборнике, более или менее в традиционном духе поэт стремится решить вопрос: «быть или не быть?» Этот вопрос стоял перед ним не только в пору возмужания, но и в раннем детстве. Когда он начал учиться в Москве, в Литературном институте, Назым Хикмет и Борис Пастернак убедили его писать по-русски. С 1960 года он стал писать по-русски, занялся переводом своих лучших чувашских стихотворений на русский язык, а на чувашский перевел сонеты Данте. Для него это было началом второго периода литературной жизни, и он был гораздо труднее первого. Айги переживал депрессию, волновался, все валилось у него из рук. Писал он с трудом, снедаемый страстью найти для себя нечто «особенное» — не похожее на то, что он слышал и видел вокруг себя, достичь наибольшей предметности, максимальной конкретности в структуре стиха. Он пишет «белыми стихами», ищет и находит закономерности этого способа стихосложения, работает над языком.

В сентябре 1961 года Михаил Светлов — его учитель в Литинституте — вводит Айги в русскую литературу. Светлов настаивал на том, чтобы в «Литературной газете» были напечатаны три коротеньких стихотворения чувашского поэта. В предисловии к ним М. Светлов старается убедить — не столько читателей, сколько сомневающихся редакторов — в подлинности дарования Айги. Он пишет:

«Юность поэта — закрытые пока ставни, сквозь которые проникает солнечный свет. В поэзии Геннадия Айги я увидел это проникающее солнце. Работать с ним было не легко. В шутку я называл его «советским Бодлером». Когда Г. Айги писал о соба-

ке, его собака лаяла совсем не так, как другие. Несколько лет мой ученик находился вне поля моего зрения. Недавно я перечитал его новые стихи. Я благодарен Айги за то, что не обманулся в нем. Его поэмы мудрые, талантливые, а главное — они человечны».

Однако истинными учителями Геннадия Айги были другие поэты: Хлебников, Пастернак, Лорка, Бодлер. Они, завещанный ими жизненный опыт, их творческое наследие дали Айги силу выдержать сначала вынужденную, а позже уже добровольную и сознательную самоизоляцию. Он написал пять сборников стихотворений, но напечатал только эти три ранние стихотворения в «Литгазете», о которых говорилось выше. За последние восемь лет он не опубликовал ни одной строфы. Он живет в одиночестве со своей поэзией, остается одиноким и среди своих сверстников. Он относится отрицательно к так называемой эстрадной поэзии и даже не владеет этим родом искусства. Айги признался, что во время своего первого и пока последнего общественного выступления в Музее Маяковского, где он работает, его охватила невероятная робость. Своеобразные взгляды его и непоколебимая преданность своим поэтическим методам никогда не дадут ему возможности завоевать популярность среди широкой публики. Однако он сохраняет спокойствие, подшучивает над собой: «Быть может, когда-нибудь о моих стихах будут писать (пожалуй, даже положительно) и такие люди, которые их вообще не читали. Признание по менделеевской системе элементов».

Поэзия Айги очень медленно и с большими трудностями проникает за границу. В Польше его стихи впервые напечатали в 1962 году; в Чехословакии в 1967 году были изданы некоторые его избранные стихотворения отдельной книжкой. Во Франции и в Западной Германии первые переводы его поэм появились в позапрошлом году.

В настоящее время выяснилось с полной очевидностью, что в пределах своего отечества Айги ожидает одна из самых тяжелых судеб.

III. 1967 г. МУЗЕЙ МАЯКОВСКОГО

....ВЫ где-то в поле на ветру как рукопись теперь
во сне — его поверхностью белеющей — светлы

Ничем не замечательный домик, окруженный несколькими деревьями. Сюда не долетает даже отдаленный шум столичных артерий. Полки с книгами, три письменных стола, заваленных

журналами, газетами, библиотечными карточками; тут же стоит увеличительный прибор для чтения неразборчивых текстов. Мир тишины. Айги — миниатюрный корректный, к этому времени уже женатый и отец семейства — гармонирует с ним во всех отношениях. Словно совершая торжественный обряд, он снимает с полок книги и отдельные номера редкостных журналов, передает их в ваши руки, чтобы вы могли прикоснуться к их страницам, чтобы вы навеки сохранили на своих пальцах ощущение шершавости бумаги далеко не первого качества, бумаги, на которой уже почти полвека назад, но все-таки были напечатаны поэмы и манифесты молодого советского литературного авангарда, имевшего мировое значение, несмотря на то, что сложившаяся общественно-политическая обстановка остановила его этический и художественный рост еще до наступления зрелости.

В Музее собрано все то ценное, что этот авангард дал современной передовой мировой литературе. Собрано и хранится в порядке не только для немногочисленных научных работников. Благодаря Геннадию Айги, Музей Маяковского живет не призрачной, но реальной жизнью; он и сегодня успешно служит литературной Москве.

В Музее есть небольшой выставочный зал. Достаточно взглянуть на фотографии и каталоги выставок, которые тут устраивались, чтобы понять, какую важную роль играет этот домик в тихой улице для соблюдения преемственности культурного развития, и это вопреки даже тому, что подобного рода выставки трогают умы и сердца только тех, в ком живет желание хранить преемственность. За последние годы были устроены выставки Хлебникова, футуристов, акмеистов, Елены Гуро, В. Н. Чекрыгина, литературной печати эпохи двадцатых лет и некоторые другие. Одну из них недавно запретила — спустя два часа после официального открытия — сама министр Фурцева. Она лично посетила выставку и свое распоряжение обосновала тем, что-де рамы повешены на стенах недостаточно надежно, могут упасть и разбиться.

С той поры над домиком в тихой улице скопляются грозовые тучи. Существует опасность, что находящиеся здесь коллекции будут переданы в какой-нибудь из крупных московских музеев и — как капля в море — исчезнут, растворятся среди стеллажей, протяженностью в несколько десятков километров. Для Айги это означало бы, что для него останется только поэзия. Поэзия и тишина, которую можно видеть, которую можно слышать и в силу

которой Айги верит непоколебимо, ибо в этой жизни тишина его — истина, и в то же время одно из средств поэтического выражения:

«Тихие места — опоры наивысшей силы пения. Она отменяет там слышимость, не выдержав себя. Места не-мысли, — если понято «нет».

Геннадий Айги

БЕЗ НАЗВАНИЯ

как сеть невиданная бабочек
убитые пока неотделимы:

ты так же красным многая
и горем полевых людей себя казавшая
единоость —

как долгое и всё таящее
соборное знаменье в поле

и навсегда стогами озаренная
и телом сына = то — меня
всё выбираешь осветить мне поле
где ты кому-то знаменем была

и раны принимая = сеть-покроющая
ты в красных пятнах пробыла

пока был избран я тебе

ЛЮБИМОЕ В АВГУСТЕ

светом в цесвете явившись
вздрагивая ждать

и создана там где обилие лета
склонно навверное к дару
где покорилося уменьшенной частью
тихим увидеть себя:
«быть»

как в сознании было бы птиц:
« — »*)

К УТРУ В ДЕТСТВЕ

так избран — будто одевают!
из белого металла что ли детского!
и белотело ловится как ум
иное легкое свое
когда колеблют где-то изначала

и — как туман — со старшим будто сердцем
свободя ре́пья при реке

не острова ли облака-идеи
рождения повсюду белокамня
— и рядом все как спящие близки
в себе ровней телесно как для поля —
тем — тело освещающим
покой даря

и спят еще: священны-милые...
гусятницы-небесно-ломти...
трехлетки... и серебро на берегу
себя то избегает
то ловит

то дух для волн творит
1965

ВТОРОЙ МАДРИГАЛ

спецобработка словно синим камнем
лицо твое пятнала тихо
и лампочкой зеленою на вышке
любили что ты есть

*) *Примечание автора.* При чтении вслух, последняя строка выражается глухим стуком.

а пепел
шеей ли во сне тебя касался
как дети — слабо а потом сильней!
и горсть его как дерево уместна
при свете праздничном она она
то ль к тополлю близка о через двор тропинкой
то ль где-то снова птицы запоют

а вечером жалки железки тачек
— кто более прощает чем они
зачем такие радуют уколы
и всё хотели вас украсить сами
но многие не зная как

о эту рану сохранию как центр
пусть говорю я светит ею
светит существующее
скользя уходишь и уже звезда

и чтоб была она одна
пора гасить конец где я

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ САДА

это облако взято
при утреннем зрении снизу наверх
одиноких полян
при свете похожем для блюда
чтобы лицо приподняв удивиться
рядом с лицом подоконнику
светлому для слабого глаза

и тронув слезой эта слабость опять одарит
далекими пятнами стен
проемы решеток и веток
и засветится подглазьями мягкими
на лицах у женщин
распределение настурций
среди кустов и скамеек

и лишь через сад разрешаю я зрение
ближе к себе затемняя
и на себя принимаю
легкую свежую тяжесть —
пробы соседнего дерева не отказать
от движения слабого

а в памяти август соседствует с мрамором
и в отсвете этом
и рядом в домах притеснений
сегодня победу хранит
день присутствия всех и всего:

совместности облака солнцестояния голоса матери
(светится соприкасается)
лестницы к астрам направленной
боли в висках

К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ САДА

и примем мы свет на движенья нескромные
от самих лопастей
сегодняшнего цветодержца

не зная что камни и ветки и кожа лица —
видимые раны его!

и «я» говоря называем его расхитителем
одного неизменного
праодного своего же сверхсада

и здесь за оградой астры
не утешая ярки
словно руки он режет себе!

1963

БЫЛА ЛИ РЕВОЛЮЦИЯ НЕИЗБЕЖНОЙ?

Прямой и, казалось, естественный ответ был бы: *не* была неизбежной, потому что она была не нужна. В предвоенные годы наша страна переживала расцвет во всех областях жизни — в экономической, социальной, научной, художественной. Никто никому не мешал работать и пользоваться плодами своих трудов. Перспективы были блестящи...

Но была одна старая наболевшая рана. Она была исцелена, но психологически еще не совсем изжита. Я имею в виду крепостное право.

Мы, живя в России, думали, что крепостное право было очень давно, что оно отошло в историю, как, например, татарское иго. Но это было не так. В наше время жили еще люди, детство которых прошло в эпоху крепостного права. Вот, например, Кузминская — сестра жены Льва Толстого — пишет свои мемуары в 1927 г.,*) т. е. спустя десять лет после начала революции. Она рассказывает, как праздновался день ее рождения, когда ей исполнилось десять лет. В числе подарков была *девочка!* Оторвали эту девочку от отца и матери, привезли из деревни в Москву и сказали барышне, что это — в приданое.

Видимо, мы просто себе не представляли, до какой степени силен был комплекс крепостного права еще в 1917 году. Ключевский в своих лекциях, читанных в девяностых годах, говорит, что нужно еще сто лет, чтобы последствия крепостного права были изжиты. Этих ста лет у России не оказалось. Мы же тогда не представляли себе всю динамичность этого комплекса. Может быть, тут правильнее было бы говорить не о комплексе, а о том глубоком повреждении народной психики, о том, что теперь называется «травмой». Революция была сделана не из-за этого, но из-за этого ее удалось углубить, и это, быть может, основная причина тому, что коммунисты держатся у власти до сих пор.

*) Т. А. Кузминская. «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», М. 1927 г.

Несколько лет назад исполнилось сто лет со дня освобождения крестьян. Советская власть, конечно, использовала этот случай, чтобы опять разбередить старые раны и лишний раз показать жупел — барина. Тема крепостного права должна и для нас оставаться неизменно актуальной, так как оно является основной причиной всех наших народных и личных бед.

Чем же именно вызвано было это повреждение народной психики? Ответ прост и ясен — *превращением крепостного права в рабство*. В период Московской Руси крестьянин был «крепок» земле, и этим он нес свои государственные обязанности так же, как другие сословия несли свои. Россия столетиями находилась в положении осажденной крепости. Подумать только: с 1240 по 1462 год, т. е. за 222 года на Россию было 200 нашествий, и еще на много столетий вперед на каждый год мира приходится два года войны. Это значит, что все видели пылающие города и села, все видели вереницы русских людей, уводимых в полон. Надо было защищаться, для этого надо было иметь войско. Тогдашние помещики были «служилые люди». Каждую весну они уходили в поход. Многие не возвращались, многие возвращались калеками. Мужик обрабатывал их землю и *знал*, почему он это делает — помещик тогда не был «барином», он был защитником своего мужика, его дома, его семьи. Время крепостного мужика было тяжело, но оно было социально оправдано — на Руси тогда всем жилось трудно.

При Петре к власти пришел новый класс — дворянство. Бремя, возложенное на него Петром, было тоже нелегко, в пятнадцать лет дворянин уходил из отчего дома на службу государству и обыкновенно больше не возвращался или, если возвращался, то только инвалидом, — служба была пожизненная. Мужик это видел, и как ему ни тяжело было тянуть свое тягло, он понимал, что и другим нелегко. Социальная справедливость не нарушалась.

Сразу же после смерти Петра началась борьба дворянства за освобождение от государственных повинностей и за расширение своих прав в деревне. Эта борьба продолжалась около сорока лет и закончилась полной победой дворянства в 1762 г. Петр III издает закон о вольности дворянства. Дворянин становится барином, свободным от обязательств по отношению к государству, мужик — его *рабом*.

Что же привело к этому вопиющему искажению социальной справедливости? Оно ведь не было оправдано ни политически, ни экономически. В нем не было никакой надобности, это было зло в чистом виде. Происхождение его объясняется случайно сложив-

шейся политической ситуацией, а именно отсутствием основных государственных законов о престолонаследии. Цитирую Ключевского:

«Законодательство Петра оставило один важный политический пробел; этот пробел состоял в уничтожении установленного обычая старого порядка престолонаследия. По закону 1722 г., назначение наследника предоставлено было личному усмотрению царствующего государя. Так как после Петра не осталось обычного наследника, то этот закон *отдал престол на волю случая*. С тех пор, благодаря указанному пробелу, на несколько десятилетий в государственном управлении водворился произвол лиц, *господство случая*, лучше сказать, водворилась воля случайных лиц. Среди этой борьбы случайностей разрушался и государственный порядок, завершённый Петром. Как мы знаем, этот порядок состоял в принудительной разверстке государственных повинностей между всеми классами общества, в государственном прикреплении сословий. Благодаря действию случая, одно сословие получило возможность несколько раз распорядиться престолом и начало превращаться из простого правительственного орудия в правящий класс, сбрасывая с себя одну за другой прежние свои государственные обязанности, но не теряя прежних прав и даже приобретая новые. Так одно сословие достигло государственного раскрепления, получило возможность жить для себя, руководясь сословными или личными интересами».

Одновременно с раскрепощением дворянина, т. е. к середине XVIII века, устанавливается взгляд на крепостного крестьянина как на полную собственность помещика. При Екатерине II крепостной крестьянин официально именуется рабом. Установление рабства в конце XVIII века в христианской православной стране — *факт чудовищный*. Народ не мог этого ни принять, ни понять. Народ слишком верил в социальную правду православной монархии, чтобы представить себе, что это рабство установлено с санкции царя. С точки зрения чувства справедливости у народа, за наказом о вольности дворянства должен был последовать наказ об освобождении крестьян от обязательств по отношению к помещику: другими словами, раз помещик не обязан больше служить государству, то и крестьянин не обязан служить помещику.

Такого наказа не последовало, и этим окончательно затянулся один из самых трагических узлов нашей истории. Развязать его удалось только через сто лет, но за это время сложились взаимоотношения и создалось положение, благодаря которым наша государственная жизнь проходила, как на вулкане. После 1861 г. этот вулкан стал быстро затухать, но где-то в глубине огонь еще теплился, и стараниями большевиков он был раздут во всероссийский пожар.

Каковы же были эти взаимоотношения? Чтобы разобраться в них, я постараюсь ответить на 4 вопроса:

1. Как крестьянство относилось к крепостному праву?
2. Как оно относилось к верховной власти?
3. Как дворянство относилось к крепостному праву?
4. Как к крепостному праву относилась верховная власть?

Ответить на первый вопрос просто: крестьянство крепостное право не приняло и никогда с ним не примирилось. В течение столетий крестьянские восстания вспыхивают почти непрерывно. Пугачевщина была крестьянским ответом на наказ о вольности дворянства.

В начале царствования Павла народ притих в ожидании перемен, но вскоре снова начались бунты, и в царствование Николая I их было около шестисот. За двадцать лет, с 1835 по 1855 гг., было убито сто пятьдесят помещиков и произведено не менее семидесяти пяти покушений на убийство. Эти восстания усмирялись вооруженной силой, но ничего не менялось в том, на чем социальный строй страны покоился в течение целого столетия — на явной несправедливости.

Другая сторона непримиренчества мужика выражалась в том, что он смотрел на свое положение как на временное и ждал его изменения буквально со дня на день. Он ждал освобождения по воле царя. Вера в царя была необычайно крепка и держалась очень устойчиво. По представлению мужика, царь был в своем роде в плену у дворян и только поэтому не мог прийти на помощь ему, мужику. Представление несколько упрощенное, но все же значительно более близкое к действительному положению вещей, чем это кажется на первый взгляд.

Характерно, что Пугачев выдавал себя за Петра III, спасшегося от дворян и призывавшего крестьян на восстание против них. Интересно отметить, что подобные представления мы встречаем у крестьян и через сто лет, то есть и после освобождения. Я имею в виду так называемое Чигиринское дело. Известно, что народники, «ходившие в народ», пытались поднять крестьян на революционные действия. Это им нигде не удалось, кроме как в Чигиринском уезде Киевской губернии. Удалось же им это тут только потому, что они обманули народ. Они напечатали и распространили якобы от имени царя «высочайшую тайную грамоту», призывавшую крестьян вступать в «тайную дружину», состоящую под покровительством самого царя и организованную для борьбы с царскими изменниками и помещиками. Народ поверил, так как

все это совпадало с его давнишним представлением о политическом положении в государстве российском.

В связи с этим надо упомянуть и о Столыпине. То, что он замышлял, было нечто вроде «мужицкой монархии». Он представлял себе монархический строй, основной опорой которого был бы крепкий и свободный мужик. Столыпин не сомневался в том, что исконная духовная связь между царем и мужиком не порвана, что в этом заложена громадная сила и что на этой основе можно строить государство.

Как бы то ни было, но мужик не обманулся в своих чаяниях: освобождение произошло по разным причинам с большим запозданием, но оно произошло «по мановению царя».

Значительно труднее ответить на вопрос об отношении дворян к крепостному праву. Когда мы об этом думаем, то, может быть, первым делом вспоминаем обличителей этого зла, начиная с Радищева и кончая Тургеневым, людей высококультурных, либеральных, гуманных. Роль их в ликвидации крепостного права была велика, но теперь, на шестом десятилетии «великой и бескровной», приходится говорить не о тех, которые содействовали разрушению крепостного рабства, а о тех, которые его создавали, успешно отстаивали в течение ста лет и оказывали упорное сопротивление его устранению; другими словами, говорить не об отдельных благородных личностях, а о сословии в целом. Дворянство же как сословие отвоевывало себе место под солнцем, не затрудняя себя никакими моральными преградами, устраняя все препятствия с беспардонностью, сравнимой разве только с приемами теперешнего «нового класса».

В 1767 г. Сенатом был издан указ, порывавший с исконным правом каждого русского человека жаловаться непосредственно великому князю, а потом царю. Это был указ, которым государственная власть отказывалась защищать крестьян от произвола и злоупотреблений со стороны господ. Указ гласил, что если кто «недозволенные на помещиков своих челобитные наипаче ее величеству в собственные руки передавать отважится», то и челобитчик и составители челобитных будут наказаны кнутом и сосланы в Нерчинск на вечные каторжные работы. Этот указ в течение месяца читали по всем церквам! Можно себе представить, с каким недоумением, с какой обидой слушали русские люди это чтение.

Но одновременно читался и другой наказ — правда, не в церквах и перед другими слушателями. Я имею в виду наказ Екатерины II для комиссии 1767 г. В нем говорилось о свободе

и равенстве, которые должны быть положены в основу государственной жизни.

На этой комиссии мне хочется немного остановиться, так как то, что в ней происходило, чрезвычайно показательно для отношения к крепостному праву в то время. Напомню, что это была за комиссия. Это было фактически законодательное собрание, созданное для пересмотра и дополнения законов государства российского. Депутатов было 564. Избирались они по всей стране, от всех слоев населения и всех народностей (были даже представители самоедов). Одно только сословие не было представлено, а именно русское крепостное крестьянство.

Депутаты плакали от умиления, слушая наказ императрицы, составленный совершенно в духе энциклопедистов. Они перестали плакать, когда дело дошло до дележа добычи. Добычей же был русский мужик. О нем в комиссии говорилось как о «рабе», и говорилось довольно много. Но никто не поднял голоса за его освобождение или хотя за какое бы то ни было облегчение его судьбы. Вопрос шел только о том, чтобы привилегию дворянства иметь рабов распространить и на другие сословия.

«В комиссии, — говорит Ключевский, — на крепостное право смотрели не как на правовой вопрос, а как на добычу, от которой, как от пойманного медведя, все классы общества — и купечество, и приказно-служащие, и казаки, и даже черносошные — спешили урвать свою долю. И духовенство не преминуло ухватиться за край медвежьего ушка: в один из городских депутатских наказов оно провело ходатайство о дозволении священнослужителям, наравне с купечеством и разночинцами, покупать крестьян и дворовых людей».

Из всех этих притязаний ничего не вышло — дворянство цепко держалось за свою добычу, и никакого «ушка» никто не получил.

Можно без особого преувеличения утверждать, что отношение к мужику как к добыче продержалось все сто лет крепостного рабства, вплоть до 1861 г. Дворянское сословие необычайно крепко держалось за свое право рабовладельца. Несмотря ни на какие хорошие слова, ни на Вольтера, ни на Монтескье, ни на масонов, ни на Фихте и Гегеля, дворянство не воспользовалось возможностью добровольно отпускать мужика на свободу, согласно закону о «вольных хлебопашцах», изданному Александром I в 1803 г. На этот закон Александр возлагал большие надежды. Он полагался на гуманность передового русского дворянства типа Пьера Безухова. Гуманное дворянство этим законом не воспользовалось,

как не воспользовался им и Пьер. На основании этого закона за все почти 60 лет его существования вышло на свободу только около 100.000 крепостных, т. е. всего 1%. Царь Николай I тоже напрасно апеллировал к доброй воле помещиков: изданным в 1842 г. законом о так называемых «обязанных крестьянах» воспользовались только три семейства.

Вся история освободительной реформы лишний раз подтверждает, как трудно было вырвать мужика из цепких рук помещика несмотря даже на то, что к этому времени он сильно изменил свой духовный облик и ближе подходил к той интеллигенции, которую мы знаем, чем к петровскому «новому классу».

Существует тенденция смягчать представление о крепостном праве. Говорят, что помещик заботился о мужике, ведь, мол, каждый хороший хозяин заботится о своем скоте. Аргумент этот довольно уничтожающий, и, кроме того, предпосылка его неправильна: помещик не был хорошим хозяином. Да и трудно было хозяйничать с мужиком, который работал на помещичьих полях так же охотно, как современный колхозник работает на колхозных. Помещик все больше и больше нажимал на мужика, и барщина иногда доходила до шести дней в неделю. «Русская деревня, — говорит Ключевский, — обращалась в южноамериканскую плантацию дяди Тома».

Естественный прирост крепостного крестьянства почти прекратился. Вся сельскохозяйственная жизнь страны все больше разваливалась. К 1861 году две трети всех поместий были заложены. Так как основным богатством России было сельское хозяйство, то от такого положения страдала вся экономия страны. (В связи с этим хочу упомянуть об одном факте, весьма знаменательном, но как-то почти забытом. Это тот факт, что и без большевиков, и даже без того промышленного подъема, который переживала Россия с конца прошлого века, наша страна вовсе не всегда была отсталой. В XVIII веке она даже была передовой. Пушкирев по этому поводу пишет:

«В конце XVIII века Россия в экономическом отношении стояла не ниже других европейских стран. По выплавке чугуна Россия стояла на одном уровне с Англией и даже вывозила ежегодно около 3 миллионов пудов железа. Но через 60 лет Англия уже превосходила Россию по выплавке чугуна в 12 раз».

Из-за пагубного влияния крепостного права Россия не смогла принять участия в промышленной революции, которую в это время проделали передовые европейские страны.)

Обратив мужика в раба, повергнув его в экономическое и моральное ничтожество, помещик присвоил себе к тому же еще какой-то совершенно пренебрежительный тон в обращении с ним. На каком другом языке, кроме русского, слово «мужик» употреблялось как ругательное? Почему у нас считалось естественным даже перед самой революцией обращаться к мужику на «ты»? Когда читаешь нашу классическую литературу, постоянно наталкиваешься на это презрительное отношение к крепостному, а потом и к освобожденному крестьянину.

«Мишка, Юшка! Водки батюшке!» — кричит помещик в рассказе Тургенева «Да помещика». Тут же пояснение: «Юшка . . . благообразный старик лет восьмидесяти...». Таких «благообразных стариков», к которым иначе не обращаются, как Мишка, Юшка и т. д., мы встречаем в романах и рассказах Тургенева сплошь и рядом.

А вот как Пушкин, по его же собственным словам, «увещевал» крестьян во время холеры:

«Я в церкви с амвона говорил им проповеди: холера послана вам, братцы, оттого, что оброка не платите, пьянствуете. А вот если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь».

Может быть, Пушкин рассказывал об этом шутя, но где, кроме крепостнической России, могли так шутить? Толстой в «Анне Карениной» описывает некоего помещика Свияжского. К действию он отношения не имеет и интересен только как наглядный портрет. Толстой говорит о Свияжском как о человеке образованном и характеризует его словом «либеральный». И вот этот либеральный помещик считает, что мужик по своему развитию находится на переходной ступени от обезьяны к человеку.

В «Бесах» Степан Трофимович Верховенский, считавший себя гонимым либералом-идеалистом, говорит о себе подобных:

«Сумели же они любить свой народ, сумели же пострадать за него, сумели же пожертвовать для него всем...».

На это ему возражает Шатов, сын крепостного, человек, вышедший из народа:

«Никогда эти ваши люди не любили народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! ...Нельзя любить то, чего не знаешь, а они ничего в русском народе не смыслили! Все они... просмотрели русский народ сквозь пальцы, а Белинский особенно. ...Вы мало того, что просмотрели народ, — вы с омерзительным презрением к нему относились, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и стыдились, что русский народ не таков».

Примеров из русской литературы можно привести сколько угодно, это могло бы быть темой специального исследования.

Невольно возникает вопрос: неужели у мужика не было защитников? Как относилась церковь ко всему комплексу крепостного права? Мне никогда — ни в исторических, ни в литературных трудах — не приходилось наталкиваться на факты, свидетельствующие о том, что церковь такого порядка не одобряла, что она так или иначе его обличала. Скорей даже наоборот. Ведь пытались же отцы церкви в комиссии 1767 г. ухватиться за «медвежье ушко». «Христианин может быть рабом, но он не может быть рабовладельцем», — это было сказано, но не представителем церкви, а отставным гвардии поручиком Хомяковым. А как высказывалась церковь? За девять лет до освобождения крестьян была издана инструкция для женских учебных заведений. В ней предписывалось внушать воспитанницам на основании Св. Писания, что крепостное право следует беречь как учреждение божественное, как одну из заповедей Божьих.

Когда задаешь себе вопрос, как мог народ без сопротивления отдать свою церковь на растерзание большевикам, то, быть может, ответ надо искать в том совершенно непонятном явлении, что церковь не только не противилась крепостному праву, но даже потакала ему, тем самым усугубляя обиду и дезориентируя народное представление о христианской правде.

И все же на вопрос, был ли у мужика защитник, надо ответить утвердительно. Этим защитником был сам царь. Может быть, это звучит парадоксально, но так оно было. Почему же в таком случае самодержавная монархия не воспрепятствовала превращению крепостного права в рабство, и почему она его так долго терпела? Вспоминается чье-то определение: Россия есть страна самодержавной монархии, ограниченной цареубийством. Нет ничего более драматичного, чем история борьбы царей за освобождение крестьян. Это — порой скрытая, порой явная борьба с дворянством, причем дворянство проявило себя крайне решительным, стойким, напористым и беззастенчивым. Если бы оно в 1917 г. так же боролось за сохранение монархии, то оно спасло бы Россию от катастрофы, еще небывалой в мире.

Екатерина II, воспитанная в духе энциклопедистов и известная своими либеральными взглядами, не одобряла крепостного права. Рабовладельческие притязания, так ярко выявившиеся в упомянутой выше комиссии, раздражали императрицу. Сохранилась ее записка, которая гласит:

«Если крепостного нельзя персоною признать, следовательно он не человек, так скотом извольте его признать, что к немалой славе и человеколюбию от всего света нам приписано будет. Все, что следует о рабе, есть следствие этого богоугодного положения и совершенно для скотины и скотиной сделано».

Но бороться с дворянством Екатерина не могла.

Привожу слова Платонова:

«Вступив на престол по желанию дворянской гвардии и правя государством с помощью и посредством дворянской администрации, Екатерина не могла порвать свой союз с главенствующим в стране дворянским сословием и поневоле вела дворянскую политику в вопросе о крепостном праве».

Поэтому при Екатерине не было издано ни одного указа в защиту крестьян. Но как только кончается эпоха императриц и на престол вступает Павел, проявляются новые тенденции.

«Инстинкт порядка, дисциплины и равенства был руководящим побуждением деятельности этого императора, борьба с сословными привилегиями — его главной задачей», говорит Ключевский.

Павел первый из царей пытался определить обязательства крестьян по отношению к помещику точным законом. Это закон об ограничении барщины тремя днями в неделю. Крестьянин, значит, должен был отдавать помещику половину своего труда, т. е. по нашим теперешним представлениям платить в его пользу 50% своего дохода. Закон этот для дворян, казалось бы, был не особенно обременительным. Тем не менее Павел поплатился за него жизнью.

Дворянство опять распорядилось троном и возвело на него Александра I. «Дней Александровых прекрасное начало» ознаменовалось искренним желанием молодого царя провести крестьянскую реформу. Но Александру дали понять, что касаться этого вопроса опасно, ему прозрачно намекнули на судьбу его отца. Все же Александр положил предел расширению крепостного права, прекратив раздачу казенных земель в частную собственность (закон о «вольных хлебопашцах» уже был мною упомянут). Кроме того, было много попыток частичного ограничения дворянского произвола, но на практике они ни к чему не приводили. Вот, например, было запрещено продавать крепостных с молотка. Стали продавать без употребления молотка.

Интересно, что и в период так называемой александровской реакции мысли об освобождении крестьян не оставляли царя, и он поручил Аракчееву составить план их освобождения «без отягощения помещиков». План этот предполагал постепенное приобретение крепостных с землею в казну покупкою на добровольных

условиях. При задолженности помещиков, план этот не был лишен реальности, но приступить к нему не удалось. Интересно сравнить план этого одиозного реакционера с планом светлых личностей первого набора — декабристов. Они собирались облагодетельствовать мужика: дать ему свободу, землю же оставить себе. Отблагодарил бы их мужик за такую свободу!

Так называемый реакционер на троне, Николай I, учреждал один за другим секретные комитеты, всего 10 комитетов. В них велась работа по сбору материалов, касающихся, как говорил Николай, «процесса, который я хочу вести против рабства». Использовать этот материал суждено было только его сыну.

В 1843 г. в беседе с Киселевым, касаясь своих идей освобождения крестьян, царь сказал:

«Я говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашел прямого сочувствия. Несмотря на это, я учредил комитет из 7 членов для рассмотрения постановления о крепостном праве. Я нашел противодействие. Помогай мне и для этого подумай, каким образом надлежит приступить без огласки к собранию нужных материалов для составления проекта к осуществлению мысли, которая меня постоянно занимает».

Киселев пишет, что, отпуская его, государь указал на необходимость держать все это дело в тайне. Один из деятелей освобождения, Заблотский-Десятовский, говорит, что

«Николай I вел войну с рабством во все свое царствование, но не решился взглянуть прямо в лицо чудовищу и дать ему генеральную битву».

Я оставляю в стороне Николаевскую реформу быта государственных крестьян, проведенную Киселевым, положившую основу благополучию не затронутой крепостным правом крестьянской массы и послужившую потом во многом примером для реформы 1861 года.

Мужик был прав: у него был защитник. Этот защитник не устанно думал и трудился над самой коренной и трагической проблемой русской истории, пытаюсь развязать узел, так путанно завязанный в течение веков. К сожалению, распутать этот узел удалось слишком поздно.

Личное участие в освободительной реформе императора Александра II достаточно известно — об этом говорить не буду. В 1861 г. удалось, наконец, вырвать «добычу» — русского медведя из капкана, в котором он так долго бился, но в этом капкане осталось не только какое-нибудь «ушко» медведя, — *в нем осталось доверие народа к слою, руководящему страной, ко всей культурной элите.* Крепко вошло в жизнь слово «барин», слово ни на ка-

кой язык непере译имое. Это слово стало одиозным, оно больше сделало для «углубления революции», чем вся программа коммунистической партии. Слово «барин» стало синонимом покорителя, который пришел в чужеземной одежде, говорил на чужом языке и обратил русских людей в рабство.

Вейдле говорит об

«исконной, хоть и дремотной вражде русского народа не столько к кулаку и толстосуму, сколько к барину, то есть человеку, может быть, и небогатому, но носящему пиджак и воротничок, читающему книжки, живущему непонятной и ненужной народу жизнью».

Что думал и чувствовал крепостной мужик в свое время, никого не интересовало. Вся бездна накопившегося недоверия выявилась сейчас же после реформы. Дворянство сделало все от него зависящее, чтобы освободительную реформу затормозить, урезать и сузить. В какой-то мере это удалось. По этому поводу Пушкин отмечает:

«Немудрено, что крестьяне ожидали какой-то «другой воли», которую будто бы дал им царь, но которую утаили от них помещики и чиновники».

От помещика мужик ожидал любой пакости и единственное, чему он верил бездоказательно, это тому, что у барина только одна цель — обмануть его, мужика. После освобождения крестьяне посылали ходоков к самому царю. Царь их принимал и лично терпеливо объяснял им реформу. Разочарованные ходоки рассказывали по возвращении, что помещики «подменили царя».

Это народное недоверие страшно затруднило проведение реформы и работу посредников. Вот что пишет об этом Самарин:

«Явление, которое теперь обнаружилось перед всеми с сокрушительной ясностью, это полное и безусловное недоверие народа ко всему официальному, законному, то есть ко всей той половине русской земли, которая не народ. Обыкновенно официальность и образованность относятся к народу как власть, т. е. передают приказание и требуют послушания. В настоящем же случае пришлось толковать, объяснять, убеждать и разуверять. Мы встречались с народным убеждением и сами убедились, что оно не только не подвластно нам, но что слово вообще не берет его, не действует на него нисколько. Спор возможен только при одном условии, — когда у спорящих есть хоть одна общая исходная точка, хоть один факт, в котором они не сомневаются. Этого-то и не оказалось на сей раз. Манифест, мундир, чиновник, указ, губернатор, священник с крестом, высочайшее повеление, — все это ложь, обман, подлог. Всему этому народ покоряется подобно тому, как он выносит стужу, метели и засуху, но ничему не верит, ничего не признает, никому не уступает своего убеждения. Правда, носится перед ним образ *разлученного с ним царя*, но не того, который живет в Пе-

тербурге, назначает губернаторов, издает высочайшие повеления и передвигает войска, а какого-то другого, самозванного, полумифического, который завтра же может вырасти из земли в образе пьяного дьячка или бессрочного отпускного».

Этой темы недоверия, чтобы не сказать вражды, касается и Достоевский в своих «Записках из Мертвого дома:»

«Человек интеллигентный, попавший на каторгу, остается барином. Ни арестантский халат, ни кандалы не меняют этого положения. Его не любят, ему не доверяют, он изолирован».

Достоевский добавляет, что это было самым страшным на каторге.

Касаясь отношения каторжан к телесному наказанию, Достоевский рассказывает, что провинившиеся считали удачей, если экзекуцией руководил поручик Смекалов. Никаких поблажек от него не было, да их не ждали.

«Дело в том, — пишет Достоевский, — что Смекалов умел как-то так сделать, что все у нас признавали его за своего. Странное дело, бывают из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда большую популярность. Не брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу, — вот где кажется мне причина. Барчонка-белоручки в них не видеть, духа барского не слышать, а есть в них какой-то особенный простонародный запах, прирожденный им, и Боже мой, как чуток народ к этому запаху! Чего он не отдаст за него! Милосерднейшего человека готов променять даже на самого строгого, если этот припахивает ихним собственным посконным запахом».

Слово «свой» для наших катастроф так же многозначительно, как и «барин». «Своему» все позволено, хотя бы только потому, что он не «барин». Вот Россию пятьдесят лет прогоняют сквозь строй, но делают это «свои», от которых «припахивает ихним собственным посконным запахом», поэтому получается не обидно.

Толстой в «Анне Карениной» уделяет много внимания работе Левина в деревне. Левин решил предложить своим работникам принять участие во всем его хозяйственном предприятии в качестве пайщиков. Толстой пишет:

«Трудность состояла в непреодолимом недоверии крестьян к тому, чтобы цель помещика могла состоять в чем-нибудь другом, кроме желания обобрать их сколько можно. Они были твердо уверены, что настоящая цель его (что бы он ни сказал им) будет всегда в том, что он им не скажет... Разговаривая с мужиками и разъясняя им все выгоды предприятия, Левин чувствовал, что мужики слушают при этом только пенье его голоса и знают твердо, что что бы он ни говорил, они не дадутся ему в обман».

Чрезвычайно интересна также реакция мужиков на попытку Нехлюдова отдать им свою землю даром. Нехлюдов созвал мужиков и стал развивать перед ними свой план. Толстой пишет:

«Серьезные лица крестьян становились все серьезнее, и глаза, прежде смотревшие на барина, опускались вниз, как бы не желая стыдить его в том, что хитрость его понята и он никого не обманет... Про помещиков же они давно уже, по опыту нескольких поколений знали, что помещик всегда соблюдает свою выгоду в ущерб крестьянам. И поэтому, если помещик призывает их и предлагает что-нибудь новое, то, очевидно, для того, чтобы как-нибудь еще хитрее обмануть их». После же мужики говорили: «Даром землю отдам, только подпиши. Мало они нашего брата околпачивали. Нет, брат, шалишь, нынче мы и сами понимать стали... Подпишись, он тебя живого проглотит».

В своих воспоминаниях земский врач Вербов рассказывает о недоверии крестьян к врачу, который был для них, прежде всего, «барином». А раз барин, то надо быть настороже, раз барин, то добра от него не жди! В связи с этим Адамович приводит слова Бунина, хорошо знавшего русскую деревню:

«Если русскому мужику сказать, что сегодня погода хорошая, а завтра, пожалуй, будет дождь, то мужик примется думать: зачем он мне это сказал? Не для того ли, чтобы у меня что-нибудь выманить, как-нибудь меня обмануть?»

И вот странным образом эту отчужденность народа, его недоверие и нелюбовь к нам мы мало замечали и, во всяком случае, никакого особого значения этому не придавали. Мы были так заняты нашей собственной любовью к мужику, мы казались себе такими доброжелательными, такими гуманными, что нам и в голову не приходило обратить внимание на то, что наша любовь безответна и что нам мужик никакого добра не желает. А ведь в 1909 г. Гершензон, точно в вещем предвидении, писал в «Вехах»:

«Народ, главное, не видит в нас людей, мы для него человекоподобные чудовища без Бога в душе... Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, — бояться мы его должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ограждает нас от ярости народной».

В заключение хочу подвести некоторые итоги и сделать выводы:

1. Элита русского народа Петербургского периода проявила исключительный талант в области культурного творчества и столь же исключительную несостоятельность в области государственного строительства. Несостоятельность эта сказалась в соз-

дании гнойника на теле русского народа — крепостного права, и в неумении своевременно этот гнойник исцелить.

2. Период времени от 1861 до 1917 гг. был периодом исключительного и прогрессивного расцвета во всех областях жизни. Последствия крепостного права казались ликвидированными. Мы ошиблись: воспоминание о нем таилось в подсознании народной психики, и в минуту национальной невзгоды это оказалось роковым.

3. Большевизм пришел к власти в результате никому ненужного переворота типа дворцовых, которых было так много в XVIII веке и цикл которых казался законченным в декабре 1825 г. Укрепились же большевики благодаря неискорененному недоверию народа к той разновидности рода человеческого, которую мужик называл «барин».

4. В арсенале большевизма «барин» и «помещик» до сих пор одно из самых сильных оружий. Даже при подавлении венгерской революции это оружие было пущено в ход: своим объясняли, что спасают венгерский народ от помещиков.

Пока этот комплекс не будет изжит, мало надежд на освобождение от коммунистического ига. Но клин вышибают клином: может быть, таким клином окажется «барин» новой формации — коммунист-аппаратчик.

Маршалл Мак-Луан - исследователь электронной среды

«При формировании обществ всегда более важную роль играла суть средств информации между людьми, чем их содержание. Любой технологии присуще свойство прикосновения Мидаса: когда общество развивается в определенном направлении и вырабатывает новые функции, все остальные его функции тяготеют к преобразованию с целью приспособиться к ним. Проникая в общество, новая технология немедленно насыщает все его институты: она, таким образом, является революционизирующим началом. В наше время мы это наблюдаем в электронных средах и могли бы наблюдать несколько тысяч лет назад в период изобретения фонетического алфавита: эти два явления представляют собой равно важные нововведения и равно богаты глубинными последствиями для человека».

Это — одна из основных мыслей «метафизика сред» и священнослужителя «культа поп»*) профессора Маршалла Мак-Луана. Можно у него найти и такие афоризмы, как: «электрический свет — чистая информация» или «газеты на самом деле не читают, а принимают их каждое утро, как горячий душ». О своей собственной работе канадский профессор говорит: «Я не претендую на то, что понимаю ее. Мои вещи ведь очень сложные».

Стоит ли заниматься идеями такого человека? Не фокусник ли он просто, водящий за нос своих читателей?

Именно так отзываются о нем его критики, называющие пятидесятивосьмилетнего профессора «канадским Нкрумой, присоединившимся к тем, кто нападает на разум», «метафизическим волшебником, одержимым пространственным сумасшествием» или «первосвященником 'поп-мышления', служащим черную

*) Pop art, pop culture, pop cult — все эти названия относятся к современному «популярному искусству» или «популярной культуре», в которых для создания произведений искусств используются буквально все объекты нашей ежедневной жизни, от рекламы до различных отбросов. — Д. О.

мессу для дилетантов перед алтарем исторического детерминизма». Так же относятся к нему гуманисты старой школы, самодовольные профессора и ученые фарисеи, словом, весь так называемый *establishment*, который, конечно, не в состоянии допустить, чтобы его мировоззрение было проникнуто новыми идеями, ставящими под вопрос его иерархию ценностей.

Ну, а что если Маршалл Мак-Луан — не фокусник? Что, если он прав? Ибо мысли его не столь уж абсурдны, если только принимать их всерьез и не обижаться на то, что в мире нашем действительно происходит болезненный процесс перерождения, в ходе которого расшатываются ценности, кажущиеся нам необходимыми и неприкосновенными. Ведь Маршалл Мак-Луан занимается открытиями совершенно не исследованных новых земель. Он не заверяет нас, что открыл или намеревается открыть последнюю истину. Нет у него и готовых теорий. В любой момент готов он опровергать свои собственные прежние высказывания, если дальнейший ход его исследований доказывает, что он был неправ, или если это способствует более глубокому проникновению в проблему. В своей работе Маршалл Мак-Луан преследует абсолютно прагматическую цель — он добивается понимания нашего технологического окружения и его психических и социальных последствий.

«Мои книги представляют собой, скорее *процесс*, чем готовые результаты открытий; моя цель — пользоваться фактами скорее в качестве пробных зондов, или средств понимания, или познания общей картины, чем употреблять их в традиционном и стерильном смысле классифицированных данных, категорий, образов. Вместо того, чтобы отмечать старые межвые камни, я хочу нанести на карту новые земли».

После таких высказываний не трудно согласиться с исследователем социальных вопросов Ричардом Костеланцем, который заявил: «Самое замечательное качество ума Мак-Луана то, что он различает смысл там, где другие видят лишь факты; он предлагает нам способы измерения феноменов, считавшихся до сих пор неизмеримыми».

Каких же областей человеческой жизни касаются исследования профессора Маршалла Мак-Луана? Из вышеприведенной цитаты, в которой Мак-Луан указывает, что книги его представляют собой не результат, а процесс открытия, даже читателю, не знакомому с книгами канадского профессора и не имеющему к ним доступа, станет, пожалуй, ясно, насколько трудно читать эти произведения. Автор не только часто меняет тему в середине логического развития одной мысли, но к тому же и стиль его на-

столько перегружен разнообразнейшими литературными и историческими намеками, что зачастую действительно легче всего объявить его просто сверхобразованным фокусником. Поэтому многие читатели и почитатели Маршалла Мак-Луана обрадовались появившемуся в мартовском номере журнала «Плейбой» (1969) интервью с ним. Форма вопросов и ответов значительно облегчила понимание некоторых мыслей Мак-Луана, придав им более конкретные и определенные формы. Именно по этим причинам мне хотелось бы главным образом остановиться на мыслях, высказанных в этом интервью.

Против готовности Мак-Луана в любой момент опровергать свои прежние высказывания, если это ему оказывается нужным для дальнейшего развития его работы, многие критики, конечно, возражают, что, мол, такая «эксцентрическая» методология легко может ввести в заблуждение. Однако Мак-Луан убежден, что именно такой подход необходим исследователю, занимающемуся проблемами нашего окружения. Он не считает себя специалистом, сосредоточивающим свое внимание на одном лишь определенном пункте и забывающим все остальное. Наоборот, он видит себя исследователем общих черт. Его работа представляет собой глубинную операцию того же рода, какая практикуется «в большинстве современных дисциплин, от психиатрии до металлургии и структурного анализа». Именно поэтому при серьезном исследовании сред нужно заниматься не только их содержанием, но и самими средами и всем культурным окружением, в котором они действуют. «На самом деле нет ничего удивительного или революционного в таком исследовании — кроме того факта, что мало кто догадывался им заняться. В течение последних 3500 лет существования западного мира наблюдатели социальных вопросов систематически недооценивали последствия сред — будь то среда речи, письменности, печати, фотографии, радио или телевидения». Причину такого пренебрежения Мак-Луан видит в том факте, что все среды, начиная с фонетического алфавита и кончая последними счетно-решающими устройствами, представляют собой продления самого человека, вызывающие в нем глубокие и продолжительные перемены и преобразовывающие его окружение. Такого рода продление является интенсификацией и расширением органа, чувства или функции. Когда же оно наступает, центральная нервная система реагирует, по-видимому, самозащитным застыванием данной области. Таким образом, эта область изолируется от сознательного понимания происходящего. Такой самогипноз или «нарциссический наркоз» способствует тому, чтобы человек не

был в состоянии осознавать психические и социальные последствия своей новой технологии, точно так же, как рыба не замечает воды, в которой она плавает. Следовательно, новая среда становится невидимой в то мгновение, когда она пронизывает все наше окружение и меняет наше чувственное равновесие.

Мак-Луан считает, что человек в наши дни, чтобы выжить, должен осознать, что с ним происходит, несмотря на болезненность такого осознания. Факт, что мы до сих пор не осознали еще своего окружения, способствовал превращению нашего века электроники в век страха. Правда, человек уже начинает осознавать свойства своей новой технологии, но пока еще это происходит в недостаточно широких масштабах. В большинстве случаев люди продолжают оставаться при своем понимании мира, которое основывается на прожитом. Это значит, что они обладают сознательным пониманием только того окружения, которое предшествовало нынешнему периоду. Таким образом, наше представление о мире в своем развитии всегда отстает на шаг от развития окружения. Поскольку мы застываем перед любой новой технологией, которая в свою очередь образует совершенно новое окружение, мы способны и склонны осознавать только старое окружение. Достигаем мы это тем, что превращаем его в формы искусства и связываем себя с его атмосферой. Этим мы повторяем процесс, который происходил с джазом и который происходит на наших глазах с отбросами механического окружения через «популярное искусство». Вследствие этого мы в дни электронного века все еще остаемся внутренне в веке механики. В период же наиболее яркого расцвета века механики человек обращался к более ранним периодам в поисках «пасторальных» ценностей.

«Возрождение и средние века ориентировались на Рим; Рим ориентировался на Грецию, а греки ориентировались на догомеровские примитивы. Мы выворачиваем старую поговорку об учении, требующую, чтобы мы двигались от известного к неизвестному, наизнанку тем, что мы следуем от неизвестного к известному; в этом именно и заключается механизм застывания, происходящего каждый раз, когда новые среды резко расширяют наши чувства».

Мак-Луан считает, что в наш век нельзя дальше прибегать к этому механизму, который до сих пор в известной степени защищал человека от влияния неожиданных последствий возникновения новых сред. В прошлом перемены происходили более замедленным темпом. В наши же дни, в дни электронного века, свя-

занного с молниеносной коммуникацией, осознание сущности нашего окружения является предпосылкой для того, чтобы человек выжил. В отличие от прежних перемен окружения, электрические среды способствуют полному и быстрому преобразованию культуры и внутреннему расщеплению шкалы ценностей. Этот переворот крайне болезнен и ведет к потере тождества человека. чему мы можем противодействовать только активным осознанием динамики данного процесса. Чтобы не стать рабами этих преобразований, а, наоборот, владеть ими, мы должны понять их законы.

Тут следовало бы задаться вопросом, в чем Маршалл Мак-Луан видит основное значение сред и их последствий для жизни человечества. Нельзя упускать из виду широту определения сред Мак-Луана.

«Оно включает в себя любую технологию, какова бы она ни была, которая производит продление человеческого тела или чувств, начиная с одежды и вплоть до счетно-решающих устройств».

Один из главных пунктов, из которого Маршалл Мак-Луан часто исходит в своих дискуссиях об основных последствиях новых сред, — это возникновение фонетического алфавита. По-видимому, он придает этому событию огромное значение. В чем именно заключается революционность открытия этой среды? Мак-Луан утверждает, что человек до открытия фонетического алфавита жил в мире, в котором владело равновесие и одновременность всех чувств. Этот «племенной мир» характеризовался устной культурой, основанной на том, что жизнь главным образом воспринималась через чувство слуха. В противоположность холодному нейтральному глазу, ухо человека, по мнению Мак-Луана, — чувствительное, сверхэстетически воспринимающее окружение человека и заставляющее участвовать в этом все человеческие чувства. Оно содействовало образованию целостной сети племенного родства и взаимосвязей, в которой все члены группы находились в полной гармонии. Исходя из того факта, что речь являлась главной средой коммуникации, Мак-Луан заключает, что никто как правило не выделялся большими знаниями. Поэтому в том обществе мало ощущался индивидуализм и специализация — характерные черты «цивилизованного» (кавычки Мак-Луана. — Д. О.) западного человека.

«Племенные культуры даже в наши дни просто не в состоянии понять концепцию индивидуума или отдельного и независимого гражданина. Устные культуры действуют и реагируют одновременно, между тем как спо-

способность действовать и не реагировать — специальный дар «обособленного письменного*) человека».

В связи с этой мыслью весьма важно познакомиться с определением Мак-Луана «акустического пространства», в котором жил «племенной» человек: в отличие от визуального пространства, представляющего собой продление и интенсификацию глаза, у акустического пространства нет ни центра, ни периферии. Акустическое пространство — органическое и целостное. Мир в нем воспринимается одновременным взаимодействием всех чувств, между тем как наше визуальное или «рациональное» (кавычки Мак-Луана) пространство — однообразное и последовательное — образует замкнутый мир. По мнению Мак-Луана, человек «племенного» мира вел сложную, калейдоскопическую жизнь именно потому, что ухо, в отличие от глаза, нельзя наставлять на фокус — оно синэстетическое, а не аналитическое и линейное. Человеческая речь является одновременным выражением всех наших чувств, и поэтому акустическое пространство — одновременное, а визуальное — последовательное. «Племенной» человек был более спонтанным, потому что он всецело зависел от устно выраженного слова, которое в гораздо большей степени эмоционально насыщено, чем письменное слово, и обладает возможностью одной интонацией передавать такие эмоции, как гнев, радость, сожаление или страх. Таким образом, человек устной «племенной» культуры участвовал в коллективном подсознании и жил в магическом целостном мире, в то время как «письменный» или «визуальный» человек создает вокруг себя окружение в большой степени фрагментарное, индивидуалистическое и логичное.

Мак-Луан считает, что именно фонетическая письменность разрушила свободное взаимодействие всех чувств. Более древние формы письменности — в Египте, Вавилоне, Майя и Китае — представляли собой расширение чувств человека, ибо давали образное представление реальности. Они требовали большого числа знаков для того, чтобы передавать всю широту фактов общественной жизни, между тем как «фонетическая» письменность, употребляя семантически бессмысленные буквы, может их горсткой передавать все значения на всех языках. Изобретение «фо-

*) В этой статье я нарочно избегаю слова «грамотный» и предпочитаю слово «письменный», потому что Мак-Луан этим термином обозначает человека, живущего в обществе, в котором распространена письменность т. е. в таком обществе, которое характеризуется влиянием среды алфавита. — Д. О.

нетического» алфавита потребовало отделения и зрения и звука от своих семантических и драматических значений, чтобы сделать видимым действительное звучание речи, создав, таким образом, барьер между человеком и объектом и вызывая дуализм зрения и звука. «Фонетическая» письменность изъясляла чувство зрения из взаимодействия всех остальных чувств и впоследствии привела к недоразвитости подсознания. Нарушилось равновесие в мире чувств, и взорвалась психическая и социальная гармония, обуславливавшаяся этим равновесием, так как чрезмерно развилась визуальная функция. Как мы наблюдаем в нынешней Африке, разрушение взаимодействия между зрением, звуком и значением вызывает соответствующий распад и обнищание в области воображения, эмоций и чувственного восприятия жизни. Человек начинает думать последовательно и линейно, он начинает создавать категории и классификации. Этот процесс формирует куда менее сложного и разнообразного человека, чем развивающегося в сети устно-«племенного» общества. «Племенной» человек не выделялся особыми талантами или явными характеристиками. Внутренний мир «племенного» человека состоял из творческого синтеза сложных эмоций и чувств, которые письменный западный человек подавил в себе ради эффективности и прагматичности своей работы. Алфавит нейтрализовал все это богатое разнообразие «племенных» культур, переведя их сложные внутренние построения в простые визуальные формы. А чувство зрения — надо снова подчеркнуть — это единственное чувство, которое разрешает изолировать, объективировать. Все остальные чувства интегрируют и вызывают в нас внутреннюю реакцию.

По мнению Мак-Луана, «племенная» культура окончательно разрушилась в XVI веке.

«Если фонетический алфавит упал на племенного человека как бомба, то изобретение печати ударило его как стомегатонная водородная бомба».

Печать привела к окончательной победе и распространению фонетической письменности.

«Новая среда линейной, однообразной, повторяемой литеры воспроизводила информацию в неограниченных количествах и не мыслимыми до тех пор скоростями, обеспечивая, таким образом, глазу положение полного преобладания в мире чувств человека. Как резкое продление человека она образовала и преобразовала все его окружение — психическое и социальное — и несет на себе непосредственную ответственность за возникновение таких разнородных феноменов, как национализм, Реформация, конвейер и его потомок — Индустриальная Революция, вся концепция причинности,

картезианская и ньютоновская концепции вселенной, перспектива в искусстве, повествовательная хронология в литературе и психологический метод интроспекции, или внутренней направленности, который значительно интенсифицировал тенденции к индивидуализму и специализации, вызванные к жизни фонетической письменностью две тысячи лет назад. Раскол между мыслью и действием был доведен до своих пределов, и фрагментарный человек, вначале расщепленный алфавитом, был, наконец, искромсан в съедобные куски. С этого момента западный человек может быть определен как гутенбергский человек».

В интервью журнала «Плейбой» собеседник Мак-Луана в этом месте упоминает, что многим читателям мак-луановских произведений не понятно, как он может делать ответственным развитие печати за такие, по-видимому, не связанные между собой явления, как национализм и индустриализм. На это Мак-Луан отвечает, что национализма в Европе не существовало до эпохи Возрождения, когда печать стала каждому грамотному человеку давать возможность аналитически *видеть* свой родной язык как нечто целостное. Распространяя печатные производства по всей Европе, печать превратила тогдашние региональные языки в однородные замкнутые системы национальных языков. Этот вариант того, что мы сегодня называем средствами массовой коммуникации, зародил всю концепцию национализма. Огромная скорость в распространении информации создала специалиста и способствовала вымиранию таких энциклопедических фигур, как Бенвенуто Челлини: *и ювелира, и солдата, и живописца, и скульптора, и писателя*; именно возрождение разрушило человека эпохи Возрождения.

Печать также была и первым сложным механическим ремеслом. Создавая аналитическое следствие последовательных процессов (печатные машины, шрифт и т. д.), печать стала прообразом всей дальнейшей механизации. Организовывая первое точно повторяемое производство, типографская печать создала также Генри Форда, первый конвейер и первое массовое производство.

В то время как все виды западной механической культуры образовались на основе печатной технологии, наш современный век является веком электронных сред. Эти среды создают окружения и культуры, противоположные тем, которые создавались при «механическом обществе».

Электронными средами Мак-Луан считает телеграф, радио, фильмы, телефон, счетно-решающие устройства и телевидение.

Все это «не только продлило отдельное чувство или функцию, как это делали старые механические среды, — например, колесо как продление ноги, одежда как продление кожи, фонетический алфавит как продление глаза, — но и вынесли на поверхность всю нашу центральную нервную систему, преобразовывая, таким образом, все виды нашего социального и психического существования. Употребление электронных сред представляет собой грань между фрагментарным гутенбергским человеком и целостным человеком, точно так же, как фонетическая грамотность была гранью между устно-племенным человеком и визуальным человеком».

После трех тысяч лет визуализации, атомизации и механизации, механический век, который в эпоху печати достиг своего апогея между 1500 и 1900 гг., представляется Мак-Луану как интермедия между двумя большими органическими эпохами культуры. Телевидение Мак-Луан считает абсолютно невизуальным средством.

«В отличие от фильма и фотографии, телевидение в первую очередь — продолжение чувства осязания, а не чувства зрения. А осязание требует наибольшего взаимодействия всех чувств».

Маршалл Мак-Луан видит тайну телевидения в том, что оно дает картину малой интенсивности и определенности и поэтому, в отличие от фотографии и фильма, не дает детальной информации об определенном объекте, а требует активного участия всех чувств. Телевизионная картина состоит из миллионов мельчайших точек, из которых зрительно, по своим физиологическим способностям, человек может воспринимать не больше пятидесяти или шестидесяти точек, и из этого небольшого числа он формирует образ данного объекта. Таким образом, человек постоянно пополняет неточные и расплывчатые контуры, восстанавливая взаимодействие между собой и экраном и проводя постоянный творческий диалог с иконоскопом. Сущность телевидения заключается в интенсивном личном участии и содействии зрителя. Поэтому телевидение, по определению Мак-Луана, является «холодной средой» в отличие, например, от радио, которое представляет собой «горячую среду», требующую от слушателя мало участия.

Различие между «холодной» и «горячей» средами играет важную роль в мыслях Мак-Луана. Он определяет его следующим образом:

«В основном горячая среда исключает, а холодная среда включает» (активное участие человека. Курсив мой. — Д. О.).

Фотография, например, — «горячая» среда, в ней даны все детали, и она не нуждается в интерпретации или дополнении со

стороны зрителя. Карикатура, наоборот, дает очень мало визуальных данных и заставляет зрителя дополнять образ, набросанный несколькими штрихами. Так же и телефон, и нормальная речь являются «холодными» средами, требующими от слушателя значительного дополнения. С другой стороны, радио — «горячая» среда потому, что оно дает большое количество точно определенной информации. Доклад — «горячий», а семинар — «холодный»; книга — «горячая», а разговор — «холодный». «Холодная» среда предоставляет публике возможность играть активную роль в процессе зрения или слушания. По мнению Мак-Луана, большинство технологий, возникшей после изобретения типографской печати, было «горячим», фрагментарным, исключая активное участие человека. Телевидение, однако, открыло путь назад к «холодным» ценностям, к интроспекции и внутреннему участию. Поэтому Мак-Луан считает, что важно в первую очередь не содержание, а сама природа среды, которая нас в случае телевидения заставляет принимать активное участие в том, что происходит вокруг нас.

По мнению Мак-Луана, электронные продления нашей центральной нервной системы ведут человека обратно к «племенному» обществу. Технология наших дней погружает человека в огромное движение информации и дает ему возможность вобрать в себя все человечество. Благодаря этой технологии, человек в состоянии восстанавливать связь с собой и с другими. Человечество снова превращается в разнообразные племенные общества. Этот процесс, в свою очередь, особенно в обществах с высокоразвитой грамотностью, ведет к проявлению насилия в больших масштабах. Этим и объясняется насилие, к которому в наши дни молодое поколение прибегает во всех странах мира. Молодежь, воспитанная новой электронной средой телевидения и не обладающая возможностью прибегать к механизму самозащиты через обращение к прошлому, на улицах ищет свое тождество, свою роль, а не свои цели.

Причину беспокойства нынешней молодежи Мак-Луан видит в устаревшей системе образования. Все наше образование направлено на ушедшие в прошлое ценности и формы технологии. В наш век пропасть между поколениями в сущности основана не на разнице между двумя возрастными группами, а между двумя в значительной степени разнообразными культурами. Аналитические методы нынешнего учения ставят ребенка между двумя мирами. Телевидение приучает ребенка к «холодной» среде, а школа без подготовки, смягчающей этот переход, заставляет его пользовать-

ся «горячей» средой книг, которые он должен читать. Нельзя забывать, что телевизионный экран предоставляет ребенку возможность быть свидетелем войны, преступления, расовой дискриминации, инфляции, сексуальной революции, убийства выдающихся политиков, полетов астронавтов и т. п. еще до того, как он начинает ходить в школу. Таким образом, наши дети, по сравнению с детьми прошлых поколений, действительно уже до первого класса основной школы прожили несколько жизней. После восприятия всего этого через «холодную» среду телевидения, аналитические методы наших школ такому ребенку ничего дать не могут. Наши дети хотят *говорить* по-испански, а не изучать язык аналитическим образом, они хотят *услышать* самих протагонистов литературных произведений, а не *учителя*, говорящего о них. Если мы не скоро предпримем нужные меры в этом направлении, то пропасть будет еще дальше углубляться и хаос будет неизбежен.

В период перехода к новому «племенному» обществу, по мнению Мак-Луана, дни индивидуалистического, фрагментарного человека сочтены. Это, однако, не означает, что ценности индивидуалистической культуры будут вымирать. Они только лишь вступят во взаимодействие с групповым сознанием, которое таит в себе возможность гораздо большего творческого элемента, чем старая атомистическая культура. Электронная среда преобразовывает фрагментарного, отчужденного, обнищавшего письменного человека в сложное человеческое существо с глубоким эмоциональным сознанием своих взаимоотношений со всем человечеством.

«Племя не конформистично только потому, что оно включает (активное участие человека. — Д. О.); в конце концов в одной семейной группе гораздо больше разнообразия и меньше конформизма, чем в городском конгломерате тысяч семей».

В каждом разговоре о личной свободе в письменной и «племенной» культурах мы наталкиваемся на основной парадокс. Письменно-механическое общество отделило человека от группы специализацией и индивидуализацией. Но одновременно оно приводит и к однообразию общества, создавая массовое мнение и массовый милитаризм. Печать ведет к централизации в социальном отношении, но к раздроблению в психическом отношении, между тем как электронная среда соединяет человечество в огромную «племенную» деревню, в которой больше места для творческого разнообразия, чем в однородном массовом обществе западного человека.

В политическом отношении переход к мировой деревне означает гибель той системы, которая наиболее тесно связана с индивидуальной свободой — демократии. В век электронной коммуникации выборы в традиционном смысле являются анахронизмом. Электронная среда предлагает новые способы для регистрации мнений народа. Телевидение могло бы проводить ежедневные плебисциты, представляя спорные пункты двумстам миллионам людей и принимая решения народной воли через счетно-решающие устройства. Вместе с временами классических выборов прошло и время политических партий и политических целей. Преобразование человеческой жизни в этой области представляет собой только одну из бесчисленных новых реальностей, с которыми мы встретимся во всемирной племенной деревне.

«Мы должны понять, что родится совершенно новое общество, которое отвергнет все наши старые ценности, условные реакции, отношения и институты».

Заключительная стадия такого развития, по мнению Мак-Луана, будет выражаться в вымирании живого языка. Уже в наши дни счетно-решающие устройства способны моментально переводить тексты с одного языка на другой. Пользуясь теми же устройствами, мы могли бы перейти от общения при помощи языков к их полному исключению из употребления, потому что их место займет мировое сознание. Через всемирное взаимное понимание и погружение в логос счетно-решающие устройства могли бы соединить человечество в одно семейство и создать коллективную гармонию и мир.

«Психическая всеобщая интеграция, которой в конечном итоге способствует электронная среда, могла бы создать универсальность сознания, предвиденную Данте, который предсказал, что человечество будет продолжать жизнь в состоянии раздробленности до тех пор, пока оно не соединится в едином сознании. В христианском смысле это только лишь новая интерпретация мистического тела Христова; а Христос в конце концов — окончательное продление человека».

Самая важная мысль Маршалла Мак-Луана во всем, что он излагает в своих произведениях, заключается в том, что мы должны осознать и понять электронную среду, формирующую наше окружение, для того, чтобы уметь ею пользоваться, а не стать подвластными ей.

Многое в мыслях Мак-Луана на первый взгляд кажется абсурдным и утопическим. Этому способствует, к сожалению, и неточная терминология автора. Он в одном и том же контексте го-

ворит об электрической и электронной среде, не решаясь ни на тот, ни на другой термин, хотя он ими явно обозначает одно и то же. Он говорит о фонетическом алфавите, явно имея в виду алфавит вообще в отличие от иероглифического письма, а не фонетический алфавит в научном смысле, в отличие от этимологического алфавита. В качестве современных научных дисциплин он перечисляет наравне психиатрию, металлургию и структурный анализ, забывая, что последний является не дисциплиной, а способом исследования во всех дисциплинах. Такие случаи несостоятельности, несомненно, приносят вред мыслям директора центра культуры и технологии при Торонтовском университете. Тем не менее основные наблюдения Маршалла Мак-Луана мне кажутся обоснованными и достойными самого пристального внимания.

Важнейшие произведения Мак-Луана:

„The Mechanical Bride: Folklore of Industrial Man“, 1951.

„The Gutenberg Galaxy“, 1962.

„Understanding Media“, 1964.

В частности, на немецком языке:

„Die Gutenberg-Galaxis“, Econ-Verlag, Düsseldorf, 1968, 390 S.

„Die magische Kanäle“, Econ-Verlag, Düsseldorf, 1969, 389 S.

MacLuhan, Herbert Marshall. „Das Medium ist Massage“.

Marshall McLuhan, Quentin Fiore. Koordiniert von Jerome Agel, Ullstein, 1969, Frankfurt/M., Berlin, 154 S. 8°.

Периодические издания Мак-Луана:

„The McLuhan Dew-Line“

„Explorations“

Критика идей Мак-Луана:

«Гений или фокусник». Сидни Финкельстайн. «Литературная газета» от 15 января 1969 г.

Библиография

ЗНАМЕНОСЕЦ НОВИЗНЫ

С творчеством Андрея Синявского молодой югославский литературовед Михайло Михайлов (сын русских родителей) познакомился в тюрьме. Выйдя на свободу (оказавшуюся кратковременной: теперь он снова в тюрьме), Михайлов написал о Синявском книгу: «Абрам Терц или бегство из реторты. О творчестве Синявского».

Синявский в концлагере, Михайлов в тюрьме! В этом есть что-то символическое: молодая творческая интеллигенция поработанных коммунизмом стран, будь то Россия или Югославия или Польша (вспомним Куроня и Модзелевского!), ломает оковы деспотии, несмотря на дорогую цену, которую приходится ей за это платить.

В Югославии труд Михайлова так и не увидел света.

В переводе на русский книга Михайлова издана в 1969 году во Франкфурте-на-Майне издательством «Посев». Перевел книгу Я. А. Трушнович.

Труд Михайлова значительно перерос поставленную было (так можно предполагать) автором первоначальную цель: дать критическое исследование творчества А. Синявского. Мы вряд ли даже ошибемся, если скажем, что творчество А. Синявского для Михайлова — лишь повод для изложения собственных взглядов на жизнь, на социализм, на науку, на христианство. Именно об этом аспекте книги Михайлова мы и будем говорить.

Многое в этой книге напрашивается на возражения. Например: «Что такое Хемингуэй в сравнении с Орвеллом? Поверхностный, бледный новеллист». Хемингуэй и Орвелл, — хочется возразить, — величины несравнимые. Сила первого — художественное слово с его знаменитым хемингуэевским «подтекстом». Сила второго — мысль. Стуженная, очищенная от всяких примесей мысль. Герои Хемингуэя — живые люди, герои Орвелла — идеи.

«...конфликт между Достоевским, Терцем, Кьеркегором, Шестовым, с одной стороны, и Спинозой, Гегелем, Марксом, Лениным, с другой, — несравнимо более заострен и неперемостим чем конфликт любого антисталинца с советским режимом». Как это понять? Во-первых, нельзя ставить в один

Михайло Михайлов. Абрам Терц или бегство из реторты. О творчестве Синявского. Франкфурт-на-Майне, изд-во «Посев». 1969. Перевод Я. А. Трушновича.

ряд идеалиста Гегеля и антиидеалиста Маркса (уже не говоря о Ленине, весьма посредственном философе-самоучке). Во-вторых, Михайлов здесь опять сравнивает несравнимые величины: конфликт между Достоевским и Спинозой (если принять мысль Михайлова) протекает совсем в другом плане, чем конфликт с советским режимом, скажем, «зэка» потьминских лагерей, ярославского колхозника, горьковского рабочего или московского студента. И мы не можем принять утверждения Михайлова, что «Ленин — последний великий человек предыдущей эпохи»: Ленин был «велик» лишь в том смысле, в каком «велик» был Гитлер. Утверждение вседозволенности ради торжества абсолютной власти — еще не критерий величия.

Спорна мысль Михайлова, что «рождается новое поколение, созданное непосредственно «научным духом» социализма, которое пошлет к дьяволу и Гегеля, и Маркса, и науку, и технику, и социализм — в том виде, в котором они себя сегодня проявляют. И это поколение рождается именно на Востоке, а не на Западе». Да, новое поколение на Востоке рождается, точнее, уже народилось. Но сомнительно, что бы оно горело желанием повторить опыт китайской культурной революции. То, что мы знаем о новом поколении в России, например, не говорит в пользу утверждения Михайлова. Маркса и марксистско-ленинский социализм оно, конечно, пошлет к дьяволу (точнее, уже послало), но не науку и не технику (пример академика Сахарова достаточно красноречив).

Михайлов в своем труде противопоставляет индивидуальную человеческую душу сознанию, науке. «Если человек должен служить науке, сознанию, и если разум, то есть $2 \times 2 = 4$, бессмертен, а человек смертен, то смерть владеет миром, смерть победила. Если же бессмертна человеческая душа, а разум, познание, наука — преходящи и смертны, то $2 \times 2 = 4$ не вечно, может быть, уже завтра будет $2 \times 2 = 20$, — тогда существует вечная жизнь». Это одна из основных мыслей книги Михайлова, перекликающаяся, как легко заметить, со знаменитым «*credo quia absurdum est*» блаженного Тертуллиана. Но не сказал ли устами одного из своих героев убежденный христианин-католик Честертон, что нападать на разум — плохая теология?

Рассказывают, что одна женщина просила совета у преподобного Серафима Саровского: отдавать ли ей сына в обучение разным наукам. «Что плохого в том, чтобы что-то знать?» — ответил ей преподобный.

Нам кажется, что Михайлов смешивает плоскую материалистическую рассудочность со «Светом Разума», наукообразие марксизма с подлинной наукой, из которой он между тем и выводит утопию марксизма-ленинизма.

«Достигнуто полное душевное спокойствие и физическое здоровье, всё автоматизировано, из жизни исключены все опасности, страдания, трагедий нет. Есть только глухое гудение планеты, которая днем и ночью работает. Совершенное движение механизма.

Мир, в котором возможно от рождения знать и вычислить каждый шаг и изгнать из жизни все неизвестное и страшное. Власть над жизнью полная. Наступил рай на земле.

Освобожденный от болезней, природных катастроф, бедности, изнуряющего труда и эксплуатации, человек может посвятить себя науке, искусству, облагораживанию жизни».

Но всё это утопия, и утопия страшная.

«...общества, — замечает Михайлов, — созданные на «научных основах», как, например, «научный социализм», должны быть полицейско-тоталитарными». Но в данном случае прилагательные «научных», «научный» Михайлов берет в кавычки, и правильно делает: ничего научного в социализме, разумеется, нет. Жаль только, что Михайлов лишь однажды, и то как бы вскользь, научность социализма берет в кавычки, чтобы затем сразу же вернуться к своей излюбленной теме: «...существование хотя бы одной творческой работы, хотя бы одной подлинной любви ставит под сомнение всю искусственно созданную научно-техническую вавилонскую башню мира... при помощи разума и науки удастся создавать только второстепенные ценности. При этом... тоталитарное общество, ради поддержания одного лишь своего существования, вынуждено преследовать все живое, свободное и подлинное».

Но Михайлов не ограничивается «развенчанием» науки. Он обобщает взгляд Достоевского на современный ему католицизм, распространяя этот взгляд на все христианские церкви вообще, и, ссылаясь на Достоевского (по нашему разумению, не имея на то оснований), утверждает, что «научный социализм» — дитя церковной традиции, и что «конфликт христианских и других церквей с социализмом и наукой — плод сплошного недоразумения», и что «научный социализм» и христианская церковь рано или поздно образуют единую организацию».

«Конечно, — оговаривается Михайлов, — мы не смеем идентифицировать общественно-историческую организацию Церкви с подлинным учением Христа. Потому что, как говорит Шпенглер, церковь образовалась тогда, «когда учение Христа превратилось в учение о Христе». То есть уже в первом поколении христиан».

Шпенглер, — как это видно из «Заката Европы», — по своему мировоззрению христианином не был и божественной природы Христа не признавал.

С кем же в конце концов Михайлов: с Достоевским, Кьеркегором, Бердяевым или со Шпенглером?

Михайлов ставит знак равенства между клерикалами и социалистами. «Какими бы на первый взгляд противоположными они ни казались, — они находятся на одинаковых позициях... И одни и другие уничтожают: жизнь вечную — те, кто отбрасывает жизнь земную; жизнь земную — не

признающие жизни вечной. Тот, кто верит, что этот мир — могила, мир мертвых, что только смерть — воскресение (историческое христианство), и тот, кто верит в существование только мира сего и в то, что смерть — безвозвратный конец (марксисты) — и одни, и другие только две стороны одной и той же медали». Смерти нет, — учит христианство, — есть жизнь вечная. «Чаю воскресения мертвых: И жизни будущего века», говорится в символе веры, Но ни Божественный Основатель Церкви, ни апостолы, ни древние и новые богословы не учили, что наш мир — могила, мир мертвых. Откуда у Михайлова столь странный взгляд на историческое христианство?

Но таков его взгляд. И та новая «третья революция, обратная, диаметрально противоположная и Великой французской, и Парижской коммуне, и Октябрьской «социалистической», и «национал-социалистической 1933 года», которую предвидит Михайлов, «сокрушит не только «дух науки», но и церковно-историческое христианство, которое и довело человечество до царства науки». Предвидение вполне в духе взгляда Михайлова на историческое христианство; предвидение, по-своему, вполне закономерное.

У Михайлова есть свой Бог. Но это не Бог праотцев наших, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и не Бог первых христиан (хотя Михайлов и утверждает противоположное).

«Мир возвращается к религии, но не к моралистической и монастырской, не к религии институций, религии воскресных школ и Армии спасения. Но к религии космической, религии жизни и борьбы, каким было христианство первых столетий. К религии огненной».

«У новой религии будет очень мало общего с современными Церквями, и я предвижу день, когда все современные Церкви, включая сюда марксову Церковь, будут совместно бороться против нового источника вечной жизни, который забьет как раз из того камня, из которого никто не ожидает воды. И я глубоко верю в то, что Запад в будущем будет помогать советскому кибернетическому обществу заглушать новый источник».

Предстоят большие события. Недалек день, когда появятся люди, которые не побоятся открыто говорить о том, что каждый неподлинный труд — недостойн уважения, как сейчас, а есть рабство и позор, что Бог, личный Бог существует и иногда вмешивается даже в такие дела, как ремонт перегоревших предохранителей».

Спорную книгу написал Михайло Михайлов. Но и ценную. Книга Михайлова — больше, чем вклад в понимание творчества Синявского. (Читатель, несомненно, заметил, что этого аспекта книги мы не касались.) Книга югославского литературоведа раскрывает нам мировоззрение самого Михайлова, мировоззрение сложное, но характерное для духовных поисков поколения, выросшего уже при коммунистическом режиме. Не случайно даже в «либеральной» Югославии книга Михайлова не могла быть опубликована.

Михайло Михайлов, отметили мы, находится в тюрьме.

В середине апреля 1967 г. Михайлов был приговорен к 4 1/2 годам каторжных работ за попытку издавать легальный оппозиционный журнал демократического и социалистического направления (что формально югославскими законами не возбраняется: запрещены к издательству лишь «антисоциалистические» органы печати).

«Друзья и знакомые М. Михайлова, а также многие на Западе, — пишет в предисловии к книге Я. Трушнович, — считали, что после чехословацких событий власть воспользуется возможностью, чтобы, «не теряя лица», освободить М. Михайлова и сделает это осенью 1968 года, когда будет объявлена амнистия по поводу 25-летия основания социалистической Югославии. Ожидания эти не оправдались».

Михайлов опасен для «либеральной» коммунистической власти Югославии уже одним тем, что его мировоззрение — это успешное преодоление марксистско-ленинской догмы. Мысли Михайлова временами спорны. Но в основном он прав: «на Востоке» выходит на историческую сцену новое поколение, чуждое старым шаблонам. Михайлов — знаменосец новизны.

А. Неймирок

МЫСЛИ НА ВОЛЕ

Бывают писатели, критики, историки, одаренные особым живым чутьем к скрытой реальности вещей. Они могут дотронуться до любой темы — современной или из прошлого, и предмет оживает от их прикосновения. Их мысль реет на свободе. Они не стеснены преградами вызубренных теорий или предрассудками косной догматики. Они дают волю своему уму и волю мысли читателя. Это прирожденный дар, вскормленный на жизненном опыте.

«Лицо России» Георгия Петровича Федотова — сборник таких полных жизни статей на всевозможные темы, опубликованных в разных эмигрантских органах печати и в разные времена, но по большей части уже сорокалетней давности. Некоторые из этих статей утратили актуальность, но не интерес, другие остаются злободневными, иные, наконец, потому интересны, что, хотя взятые из злобы дня ушедших времен, они вдруг светятся магическим светом под пером талантливого писателя.

Казалось бы, такая статья, как «Мысли по поводу Брестского мира», напечатанная в 1919 году, сегодня уже не может заинтересовать. Но прочтите ее — и увидите, что тут, на четырех страницах показано (что уже

не ново, но сказано по-новому), как и почему русский народ не понял смысла Первой мировой войны, и Россия ее проиграла. Мысль Федотова проста и понятна: реформы Петра Великого привели русский народ к разрыву своего внутреннего единства, и этот разрыв сделал возможным и военное поражение и Брест-Литовский мир. А именно: славянский перевод Священного Писания влил дух христианства глубже в душу русского народа, чем на Западе, где латинский текст стал на века преградой между народами и учением Христа. Так Россия усвоила его глубже, чем Запад, но обособилась от философской мысли древности и в умственном развитии отстала от Запада. Она погналась за этим ей недостающим знанием лишь со времени Петра Великого, но новое знание, основанное им, осталось недоступным народу и не увлекло его за собой. Тут можно добавить классическую формулировку Ключевского: Православная Церковь не охватывала всего знания человечества, но охватывала весь народ, а порожденная Петром культура охватывала все возможное знание, но не весь народ. Федотов делает из этого прямой вывод, что именно эта отсталость народных масс, и потому всей России, была коренной причиной поражения и Брестского мира.

Свою талантливость в исторических экскурсах автор проявляет, например, и в оригинальной статье о Вергилии, написанной в 1930 году по поводу двухтысячелетия со дня рождения поэта Энеиды. Проследить влияние Вергилия в двух веках русской поэзии — нелегкая задача. Но вопрос не пустой: кем навеяны классические образы в русской поэзии? Кто вдохновил оды Державина, вакхические песни и оды Пушкина? Как создавалась органическая связь русских классиков с духом греческой и римской древности? Чтобы ответить на этот вопрос, нужны не только знание русской поэзии, но и глубокая эрудиция. А кто у нас еще свободно читает по-латински и гречески?

В таких изысканиях легко и ошибиться. Трудно расщепить влияния Вергилия, либо Горация или Овидия и Катулла. Их воздействие было и отдельное и совместное. «Кажется, Вергилий, — пишет Федотов, — был всегда чужд русской душе». Но он оговаривается: «если русская культура была не узко национальной, а вселенской, если она развивалась в противоречиях необычайного размаха, то в ней должно найтись место для Вергилия». И Федотов находит струи, идущие от Вергилия, в Батюшкове, Дельвиге, Пушкине, и дальше в Брюсове и Вячеславе Иванове. «Тень Вергилия, — пишет он, — может быть, незримо стояла над Русской Империей. В холодных и пышных залах Эрмитажа, в помпейских фресках на стенах Николаевских дворцов, в мерной тяжести Истории Государства Российского — звучит вергилиевская медь... Весь юный круг Александровского классицизма был в плену у Августовской эротики... Но голос Вергилия начинал звучать всякий раз, когда сентиментальный или романтический поэт подходил к теме Империи».

Верно и замечание, что Парни, Вольтер и Байрон не объясняют стиха Пушкина и что «сам Пушкин, конечно, более обязан Овидию и Катуллу, нежели Вергилию». Но тут следует сделать оговорку. Федотов забыл Андрея Шенье, наиболее связанного с древней Грецией французского поэта, и его сильное влияние на Пушкина.

Это — не избитая тема, но еще более оригинальна другая мысль автора. «Еще раньше русской музы, — пишет он, — в школу Вергилия пошла русская церковь. В долгие годы киевского 'засилия' латинская школа, от Вергилия до Фомы, воспитала русское духовенство. Лишь в 1820-ых годах русский язык заменил в семинариях латынь... Мыслим ли без Вергилия чеканный гром Филаретового слова? Гибель латинской духовной школы почти совпадает с угасанием дворянского галлицизма». В поддержку этого тезиса следует прибавить, как глубоко проникнуты были латинским классицизмом языческой эпохи такие столпы молодого христианства и Отцы Православной Церкви, как Блаженный Августин, св. Амвросий Медиоланский и, может быть, больше всех св. Иероним.

Я привел статью о Вергилии именно как пример глубокой вдумчивости и эрудиции Федотова.

Однако центральная статья в этой книге — «Трагедия интеллигенции», разумеется, русской. Федотов берется за эту тему с позиций истории, т. е. с тем условным критерием хода времен, который рассматривает путь русской интеллигенции в десятилетиях от декабристов до конца прошлого века. Получается отрывочная картина тридцатых, сороковых годов и прочих десятилетий. Картина давно знакомая, хотя в сжатой передаче автора особенно живая. Но редко исследователи трагического пути русской интеллигенции отходят от условности хронологического изображения и вскрывают, так сказать, метафизическую сущность этого явления, остающуюся неизменной во всех идейных превращениях поколений. Федотов это делает.

«Говоря простым русским языком, — пишет он, — русская интеллигенция 'идейна' и 'беспочвенна'. Это ее исчерпывающее определение. Оно не вымышлено, а взято из языка жизни: первое, положительное, подслушано у друзей, второе, отрицательное, у врагов (Страхов). Постараемся раскрыть их смысл. Идейность есть особый вид рационализма, этически окрашенный... Этот рационализм весьма далек от подлинной философской 'ratio'. К чистому познанию он предъявляет поистине минимальное требование... Такая система обыкновенно неспособна развиваться. Она гибнет насильственно, вытесняемая новой системой догм, и этой гибели обыкновенно соответствует не метафизическая, а буквальная гибель целого поколения». И дальше: «Только беспочвенность как идея (отрицательная) объясняет, почему из истории русской интеллигенции справедливо исключены такие, по-своему тоже 'идейные' (но не в рационалистическом смысле) и во всяком случае прогрессивные люди («либералы»), как Самарин, Островский, Писемский,

Лесков, Забелин, Ключевский и многие другие. Все они почвенники — слишком коренятся в русском народном быте или в исторической традиции». И размежевав так людей на «почвенных» и «беспочвенных», автор делает еще одно характерное замечание: «В Пантеон русской интеллигенции скорей примут Мережковского, чем Розанова, Владимира Соловьева, чем Федорова. Толстой и Достоевский, конечно, не умещаются в русской интеллигенции».

Читатель может быть благодарен автору за такие уяснения. Они, может быть, не совсем новы, но выражены ясно и непоколебимо.

Стоит прочитать всю книгу. В каждой главе найдется крепкая, отстоявшаяся мысль.

Александр Больто

« О З Н О Б »

Да, права составительница этого сборника, Н. Тарасова, что Белла Ахмадулина, молодая советская поэтесса, представительница четвертого поколения советских поэтов, достойна называться наследницей Ахматовой (вернее, Цветаевой!) и Пастернака. Эта книга — первая попытка собрать воедино стихи Ахмадулиной разных лет.

Но как ни талантлива молодая поэтесса, все же нельзя не пожалеть, что учителями ее были именно Пастернак и Марина Цветаева. Она сама признается, что «воровала» у Цветаевой:

...брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты — чужое, ты — нельзя...

Я нисколько не желаю умалить достоинство этих двух больших поэтов, но надо сознаться, что как учителя Пастернак и Марина Цветаева — опасны для молодых восторженных почитателей и подражателей!

Конечно, изобилие бедных рифм, которыми они пользуются, дает больший простор выражению мыслей и чувств, но зато вносит некую дребезжащую музыку, а из-за многословия разбавляет крепкое вино ненужной болтливой «влагой»... Обилие же метафор часто обедняет самую суть стихотворения. Этим грешат очень многие современные советские писатели, а также негармоничным нарушением ритма в таких режущих слух строчках: «...и бродит, видит белый свет, но тело мое опустело» («Прощание»). При чтении, естественно, ставишь ударение на *мое* и недоумеваешь, — что

Белла А х м а д у л и н а. Озноб. Избранные произведения. Изд-во «Посев». Франкфурт-на-Майне. 1968.

это значит? Из молодых советских поэтов, пожалуй, заслуживает название мастера только Иосиф Бродский — ученик (?) Анны Ахматовой. Ему она посвятила такие чудесные строчки — «Мне с Морозовой класть поклоны» (Последняя роза).

Однако, несмотря на все грехи против русской речи и русского стихосложения молодой советской поэзии, думаю, что права была Ахматова, сказавшая в свой последний приезд на Запад парижским друзьям, что за Серебряным веком, к которому сама она принадлежит, следует новый Золотой век русской поэзии. О приближении этой «прекрасной зари» уже поют многие строки Ахмадулиной и Евтушенко. Конечно, еще далеко до Золотого века! — но признаки оздоровления все больше и больше дают себя знать: есть бесстрашие молодости, жертвенность, без которых невозможна «победа моя над судьбой»! Ни у Ахмадулиной, ни у Евтушенко нет трагического отчаяния — предвестника скорой гибели, хотя и есть естественная горечь и грусть, присущие всякому настоящему поэту. Есть вера в свой народ, в будущее России. Всякая же слишком утонченная культура несет в себе отраву. О грехах этой элиты красноречиво говорит Анна Ахматова в своей «Поэме без героя».

Что же касается самой Ахмадулиной, можно с уверенностью сказать, что она будет расти и совершенствоваться, ибо, кроме наличия таланта, есть у нее и скромность, и смирение, и какая-то трогательная тоска по прошлому — ко всему, что было у нас прекрасного в старой России, есть у нее большая любовь и понимание Пушкина и Лермонтова — тяготение к совершенству, к «горным вершинам». Все эти свойства, мы надеемся, выведут ее на широкий путь, не дадут увязнуть в провинциальных захолустьях, неизбежно царящих как последствие всякой революции.

И поспешит твое перо
К той грамоте витиеватой,
Разумной и замысловатой,
И ляжет на душу добро.
.
И нежный вкус родимой речи
Так чисто губы холодит.

Творческая щедрость сквозит в каждой строчке Беллы Ахмадулиной. Любовь к жизни, жажда жить и творить, вбирая в себя все бытие до последней капельки, сильнее горечи и страха, что родилась она в такой жестокий век, сильнее печали, что личная ее жизнь была подчас тяжелой. О личном говорит она всегда вскользь, и то лишь в ранние годы творчества.

Считают, что женщина-поэт не так говорит о любви, как мужчина. Это верно. Но мне кажется, Ахмадулина в этом отношении стоит в стороне.

В каком-то смысле, она — родная сестра Марины Цветаевой, но куда скупее в выражении своих чувств! и сколько человечности в строках:

Ну, предали. Ну, предали. Потом
забудется. Виновна я сама.
Поверженным я сознаю умом,
что я с ума схожу, схожу с ума.

.

Если отцы забвенью предают
своих детей и для других затей —
мне кажется — меня там предают,
меня там предают, а не детей.

Значения тому не придают,
лукавят, лгут, слова передают...

И сколько благородства!

Пусть будет счастлив и богат.

.

не ведая, как наугад
я билась головою о землю,
молясь о нем — среди неудач,
мне отведенных в эту осень.

Нет у поэтессы мелочности — душа ее не «мелководная», и причина этого кроется в вечном ее устремлении вверх, вширь! Прекрасное стихотворение «Человек в чисто поле выходит» говорит о ненасытной жажде красоты, простора.

Человечеству сроду пристало
делать дерзкое дело свое.

В нем согласие беды и таланта
и готовность опять и опять
эти древние муки Танта
на большие плеча принимать.

.

...жажда вечная — неба коснуться...

.

Посреди именин, новоселий
нет удачи желанней, чем та
не уставшая от невезений,
воссиявшая правота.

Очень хороша поэма «Моя родословная», в которой со всей страстью выражена любовь к жизни, к творческому своему делу. «Сравнится ль, — говорит она, — бледный холодок актрис,

трепещущих, что славы не добьются,
с моим волненьем среди тех кулис,
в потемках, за минуту до дебюта!

т. е. до рождения, до появления на свет! Она думает, что каждый «толый, золотой Ребенок» возмещает земле своим добром «всех сыновей ее, в ней погребенных».

Ахмадулина строга к себе, для удовольствия не будет лгать:

Не дай мне Бог бесстыдства пред листом
бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечью, —

ибо «за лукавство слова наказывает немота».

Лучшие ее стихи, мне кажется, о поэтах, самых любимых. Эта любовь заставляет ее «переростать себя», когда она говорит о Пушкине, о Лермонтове, о грузинских поэтах, которых она, кстати, замечательно перевела.

Хороша «Тоска по Лермонтову». где сказано о «высокой муке превосходства» автора «Мцыри» и «Ангела».

«Приключение в антикварном магазине» — о фантастической встрече с «потомком Ганнибала».

Туземным мраком горячо дыша,
он прыгнул в дверь. Всё вмиг переместилось.
Прислуга, как в грозу, перекрестилась.
И обмерла тогда моя душа.

.

Повеяло паленым и простудой.
Свеча погасла. Гость присел к столу.

.

...он, всем опасным африканским рабством,
потупился, как укрощенный конь.

Как ярко сказано! словно на фоне колеблющихся ночных теней вдруг вспышкой магния осветили силуэт того, кого мы зовем «нашей первой любовью». И когда старый антиквар, ставший бессмертным «от любви и горя», говорит, что соперник его убит на дуэли, автор поэмы с негодованием восклицает:

Он не убит, а вы мне надоели...

Но как тяжело живым пережить кончину гения!

Две бессмыслицы — мертв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
переделкинских рощиц деревья.

И усилием двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

И она завидует Цветаевой, не пережившей своих любимцев — Ахматову и Пастернака.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

Я считаю прозу Ахмадулиной совершеннее ее стихов. Очерк «Пушкин. Лермонтов...» хорош и мыслями, и великолепными находками словесными, и самый язык ее чист, как родниковая вода.

О. Можайская

ПИСЬМА В ГОЛЛИВУД

Недавно вышедшая в Калифорнии книга К. Аренского под заглавием «Письма в Голливуд» содержит главным образом письма Владимира Ивановича Немировича-Данченко — одного из главных основателей и руководителей Московского Художественного театра.

Письма эти адресованы Сергею Львовичу Бертенсону, человеку, которого он очень ценил и которому доверял беспредельно. Есть также несколько писем Ольги Леонардовны Книппер-Чеховой. Всех троих нет больше в живых, и это как бы снимает печать запрета с сугубо личного и доверительного. (Вопрос, который невольно всегда возникает в подобных случаях.)

Для истории русского театра публикация этих писем ценна тем, что она обличает ложь и восстанавливает правду. Это неопровержимый документ, уличающий некоторых услужливых советских театроведов в фаль-

К. Аренский. Письма в Голливуд. По материалам архива С. Л. Бертенсона. 1968. Publisher: K. Arensbarger, Monterey, Calif. USA.

сификации и перекраивании творческой и личной биографии Немировича-Данченко. Все письма и выдержки из дневника Бертенсона взяты из его обширного архива.

Надо отдать должное составителю этой книги, что весь подбор писем и выдержек из дневника Бертенсона сделаны не только с большим тактом, но и с чувством большой ответственности перед их авторами.

В 1918 году Сергей Львович Бертенсон был приглашен Станиславским и Немировичем-Данченко в Художественный театр, где он и проработал в качестве заведующего труппой и репертуаром и одновременно заместителем директора Музыкальной студии этого театра до самого своего отъезда за границу — летом 1928 года.

В Берлине, перед отплытием в Америку, Бертенсон два вечера провел с Немировичем-Данченко, которого вместе с женой выпустили тогда в Карлсбад подлечиться, и они на несколько дней задержались в германской столице.

Именно с этой встречи и начинают строиться самые реальные планы о переезде Владимира Ивановича в Голливуд.

«Мы так истосковались по покою и жизненным удобствам, — говорит он Бертенсону, — что хочется все послать к чёрту и только мечтать о физических удобствах жизни».

Но не только жажда покоя и материального благополучия движет помыслами Немировича-Данченко. В последующих письмах из Москвы, хотя и озираясь с опаской на всевидящее око цензуры, он не скрывает своей тревоги за любимый театр и своей неудовлетворенности. Наиболее откровенен он в письмах из-за границы, куда его с женой ежегодно выпускают на лечение.

В письме из Карлсбада от 8 июля 1929 г. есть такие строки:

«...Да что я буду ставить в опере? Ведь все, что есть хорошего — отсюда, из Европы, а это все буржуазно. Правда, это только и делает в Москве сборы. Но, во-первых, противное, как клопы и комары, «идеологическое» испытание. А во-вторых, смогу ли я ставить? Чтобы платить авторские, надо купить нотный материал, значит, валюта. А ее нет! В русских новейших композиторов, включая сюда и Книппера, я в опере что-то не очень верю. Т. е. и в опере, и в оперетке, вообще в театральной композиции». И дальше в этом же письме:

«...Но разве Вам не ясно, что мне приходится «зажимать» в душе! И как часто! И, Вы думаете, редко я спрашиваю себя: «Хорошо поступил, что уехал из Америки?» И только упорное напряжение мысли: все было в свое время крепко обдуманно и взвешено, стало быть, нечего и останавливаться на этом, — только это утешает приступы какой-то щемящей неудовлетворенности. Сегодня в кабинете доктора развернул какой-то журнал и

наткнулся на снимок домов в Голливуде в «старо-испанском стиле» и так хорошо-хорошо знакомые, и «защемило», и захотелось этого постоянного лета, и этой какой-то свободы, несмотря на зависимость... И так как я вешал на чашках весов Америку и Россию, уезжая, было 48 и 52, а не 20 и 80, то вот и подумашь, вспомнишь или рассудишь, и быстро становится 51 и 49, 52 и 48...»

Это уже перевес Америки. И это в те годы, когда в Москве нуждались в его непосредственном руководстве два театра: созданный им, вместе со Станиславским, Художественный театр и Музыкальный театр, названный его именем.

И всё же желание вырваться из Советского Союза в Голливуд всё настойчивее овладевает Владимиром Ивановичем. Почти в каждом своем письме к Бертенсону он просит его помочь ему в этом и дает целый ряд советов, как лучше это сделать.

В письме из Женевы, от 22 июля тридцатого года, Немирович пишет: «Я хотел, чтобы мое предложение вернуться не было бы ни на чем основанным. Боюсь, что в данном случае мои желания не совсем дошли. Увлечь Толберга — вот в чем задача. В то же время я внимательно продумаю, что я могу. Я вовсе не хочу надуть, сорвать, как выйдет — так выйдет. Я хочу «всерьез и надолго».

И всё же переговоры с возглавителями голливудской кинематографии, несмотря на все старания Бертенсона, ни к чему реальному не привели. Но кто знает, если бы из Голливуда был ответ положительный, где бы тогда «всерьез и надолго» оказался Немирович-Данченко?

Советское правительство в какой-то мере, конечно, было осведомлено о переговорах Немировича-Данченко с Голливудом и о его настроениях, и приложило немало усилий, чтобы перетянуть его на свою сторону. Посыпались награды, почести и всевозможные материальные блага. Музыкальный театр был назван его именем, для него была отстроена новая квартира, за которую было заплачено пятьдесят тысяч рублей. Два автомобиля было предоставлено в его полное распоряжение — в МХАТе и в Музыкальном театре. Ему с женой беспрепятственно выдавались визы на поездки для лечения за границу, они щедро снабжались валютой.

И внешне во взглядах Немировича-Данченко происходит явный перелом. У читателя может создаться впечатление, что такой ценой были куплены лояльность и даже дружелюбие к советскому правительству и коммунистической партии. Но это будет слишком поспешное и поверхностное суждение.

Нельзя забывать, что Немирович вел два доверенных ему театра — Художественный и Музыкальный — через необычайно сложные и трудные течения и острые подводные рифы. В последние годы Станиславский

все больше отходил от какого-либо административного вмешательства в дела театра, а после его смерти, в 1938 году, на плечи Владимира Ивановича легла еще бóльшая ответственность. Но кроме этого, душевная усталость Владимира Ивановича, его преклонный возраст также невольно толкали его на некоторые компромиссы. Главным же образом все это были тактика и дипломатия человека-художника большого таланта во имя спасения и утверждения дорогого для него театра.

Конечно, тот факт, когда он в Париже, в 1937 году, во время гастролей Художественного театра, не узнавал своих старых друзей, не делает ему чести, но можно себе представить, каким тщательным контролем были окружены все артисты и в первую очередь сам Немирович-Данченко.

Горькое чувство вызывает его долгая размолвка с Константином Сергеевичем Станиславским и слишком резкие отзывы о нем в письмах к Бертенсону. Безусловно, что люди, близко стоявшие к Художественному театру, были осведомлены о разногласиях, происходящих между Станиславским и Немировичем, но и они не представляли такой порой глубокой нетерпимости, когда оба они годами не встречались друг с другом. И все же уверенность в глубинной нерушимости их взаимоотношений — как творческих, так и человеческих — заставляет думать, что скорее правы были те, которые верили в непоколебимую стойкость их содружества.

Это и подтвердилось в словах Немировича-Данченко, сказанных им в день похорон Станиславского:

«На коротком протяжении времени — меньше полугода — я потерял двух самых близких мне людей: жену, которая пятьдесят лет была для меня самым близким человеком, и Станиславского. Несмотря на рознь в художественных воззрениях, всем достаточно известную и хорошо известную самому Станиславскому, причем он даже находил, что эта рознь, эти два течения — богатство театра, — это был для меня самый близкий человек во всем мире после жены. С ним меня связывали самые лучшие дела моей жизни. Эта связь охватывала не только деловую сторону, а деловая сторона была настолько богата внутренним содержанием, что она заливала и самую личную жизнь».

Приоткрывает книга «Письма в Голливуд» еще одну сторону из жизни Художественного театра. Порой непереносимо тягостную закулисную атмосферу, созданную в первую очередь своевластием «красного директора» Егорова, и те трудности, которые испытывал театр на пути административно-организационной перестройки.

«Сейчас у нас в театре очень смутное настроение, — пишет в тридцать третьем году в своем письме Бертенсону секретарь дирекции Бокшанская. — Дело в том, что пьеса Афиногенова «Ложь», которая репетировалась в ударном порядке, даже без выходных дней, и которую рассчитывали вы-

пустить в конце декабря, по условиям художественно-идеологическим с работ театра снята. Одновременно театр, со своей стороны, изъял из репертуарного плана этого года «Бег» Булгакова».

В тридцать пятом году Ольга Леонардовна Книппер-Чехова пишет Бертенсону: «...В театре странно и не очень приятно. «Враги» — что-то ужасное и невезучее — играть пьесу, трепанную по другим театрам, пьесу плохую — невероятно противно. Какое-то страдание... Мне скучно невыразимо в театре. Не знаешь, за что взяться...»

В этом же году из Карлсбада Немирович пишет Бертенсону:

«...Тем временем в театре в полутьме (у Толстого замечательное выражение: за кулисой в дневной темноте)... в нашей дневной темноте, среди трупы, администрации нарастают интриги, искательства и всякая дрянь... И атмосфера плохая...»

Есть в выдержках из дневника Бертенсона хотя и скудные, но меткие зарисовки подлинной, далеко не радостной атмосферы Голливуда.

Строки о смерти Анны Павловой и об испытаниях, выпавших на долю известного русского балетмейстера Михаила Фокина, производят глубокое впечатление.

Но, конечно, самое ценное в книге, выпущенной К. Аренским, это правда о Немировиче-Данченко, правда, которую рано или поздно смогут узнать в Советском Союзе, и не только люди театра, но и широкий читатель.

Михаил Балмашев

СПИСОК КНИГ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ

Алданов, М. А. Повесть о смерти. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1969. Стр. 410 + 4.

Аренский, К. Письма в Голливуд. По материалам архива С. Л. Бертенсона. 1968. Publisher: K. Arensbürger, Monterey, Calif. U. S. A.

Балакан, Борис. Суд идет. Париж 1969. Стр. 315.

Вощинин, И. Солидаризм. Рождение идеи. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1969. Стр. 80.

Галич, Александр. Песни. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1969. Стр. 132.

Нарциссов, Борис. Подъем. Четвертая книга стихов. (A. Rosseels Printing Co, Louvain, Belgium) 1969. Стр. 48.

Борис Леонидович Пастернак. 1890-1960. Библиография произведений Б. Пастернака и литературы о нем на русском языке. Составитель Н. А. Троицкий, русский библиограф Корнельского университета. Изд. Корнельского университета, Итака, Нью-Йорк 1969. Стр. 148.

Троицкий, Н. А. (Б. Л. Пастернак. Библиография). См. предыд. книгу.

Ульянов, Н. Замолчанный Маркс. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1969. Стр. 43.

Филиппов, Борис. Ветер свежее. Стихи и проза. Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1969. Стр. 48.

Чиннов, Игорь. Метафоры. Изд. «Нового Журнала», Нью-Йорк, 1968. Стр. 51 + 5 нен.

Blumer, Giovanni. Die chinesische Kulturrevolution, 1965/67. Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt/M. 1968. SS. 399 + 5.

Djilas, Milovan. Die unvollkommene Gesellschaft. Jenseits der „Neuen Klasse“. Verlag Fritz Molden, Wien 1969. SS. 256.

Korné, Mihai. Gréativité. Editions du Temps Présent, Paris 1969. Pp. 112.

Mehnert, Klaus. Peking und die neue Linke in China und im Ausland. Analyse und Dokumente. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1969. SS. 152.

Page, Bruce; Leitch, David; Knightley, Phillip. Philby. Der Spion, der seine Generation verriet. Rowolt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1968. SS. 308 + 8 Bl. Fotos.

Portisch, Hugo. So sah ich Sibirien. Verlag Kremayr und Scheriau, Wien 1967. SS. 343 + 8 + 113 Schwarzweiß- und 45 Farbbilder vom Verfasser.

Rights and Wrongs. Some Essays on Human Rights. Edited for Amnesty International by Christopher R. Hill. Penguin Books, London 1969. Pp. 188 + 4.

Schickel, Joachim. Große Mauer, Große Methode. Annäherung an China. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1968. SS. 356.

Sovietica, rivista trimestrale. Anno V, Aprile 1969. Edizione Scientifiche Italiane, Napoli. Pp. 114 + 4.

Sovietica. Aprile 1969. 100 anni dalla nascita di Lenin. Napoli 1969. Pp. 116 + 6.

Trotzki, Leo. Der junge Lenin. Verlag Fritz Molden, Wien 1969. SS. 272.

Редактирует Редакционная Коллегия

Главный редактор Н. Б. Тарасова

Ответственный секретарь Г. Т. Напиваненко

Адрес редакции журнала «Грани»:

Grani c/o Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M.-Sossenheim, Flurscheideweg 15

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek KG, Frankfurt am Main

СОДЕРЖАНИЕ №№ 52 - 74 ЖУРНАЛА «Г Р А Н И»

№ 52

(Декабрь 1962 г.)

(РАСПРОДАН)

Валерий Тарсис — Сказание о синей мухе (передано из России); «Феникс» — подпольный журнал московской молодежи; Н. Тарасова — Век крушения вер...; В. Бунина — Муромцева — Беседы с памятью (продолжение).

№ 53

(Май 1963 г.)

Алла Кторова — Юрин переулоч (повесть); Лидия Алексеева, Игорь Качуровский, Борис Нарциссов, София Прегель, Аглаида Шиманская — Стихи; Борис Филиппов — Памяти Ариадны Владимировны Тырковой; В. Бунина — Муромцева — Беседы с памятью (окончание); Вера Налон — Углич; Борис Пастернак о себе и о читателях, с комментарием Г. П. Струве; Екатерина Таубер — Неукротимая совесть (О поэзии Анны Ахматовой); Георгий Мейер — Сон и его воплощение (Опыт медленного чтения); Д. Бург — Моральное банкротство советских конформистов (О повести В. Некрасова «Кира Георгиевна»); Николай Еленев — «Мир искусства» и его круг (Пути русского эстетического индивидуализма); Глеб Рар — Очаг православия в Хакодате; Карл Ясперс — Философская автобиография (продолжение); Карл Густав Юнг — Современность и будущее (окончание); Николай Реймерс — Понятие «a priori» у Канта и Шопенгауэра; С. Сокольников — Несколько изданий сочинений Бориса Пастернака; А. Марков — Несостоятельность теории трудовой стоимости Карла Маркса; Хронология важнейших событий — январь-июнь 1962 г.

№ 54

(Ноябрь 1963 г.)

Валерий Тарсис — Веселенькая жизнь (роман передан из России); Алексей Бердников — Портрет (поэма), из цикла «двадцать нереалистических стихотворений» (из сборника произведений московского поэта); Клавдия Пестрово — Стихи; Михаил Волин — Стихи, «Гробница Наполеона» (рассказ); Андрей Кривицкий — Кэру (рассказ); Маргарита Дьяконова — Стихи; Д. Бург — Партия и писатели; Вячеслав Завалишин — Повесть о «мертвых домах» и советском крестьянстве (Об «Одном дне Ивана Денисовича» А. Солженицына); Николай Еленев — Пути русского эстетического индивидуализма (Накануне смены поколений); Карл Ясперс — Философская автобиография (продолжение); Сергей Левицкий — Силуэты русских мыслителей; М. А. Бакунин, Лев Шестов; Библиография. Хронология важнейших событий (июнь-декабрь 1962 г.).

№ 55

(Июнь 1964 г.)

Валерий Тарсис — Веселенькая жизнь (окончание); Алла Кторова — Вертоград моей сестры (рассказ); Игорь Чиннов, Лидия Алексеева, Борис Нарциссов, Ираида Легкая, Александр Неймирок, Миртала Кардиналовская — Стихи; И. Буркин — Догоревшие свечи; А. Чемесова — Певец «переходного» поколения (Евгений Евтушенко в зеркале своей «Автобиографии рано созревшего человека»); Эммануил Райс — Заметки о поэтах «четвертого поколения»; Александр Неймирок — Белла Ахмадулина; Карл Ясперс — Философская автобиография (окончание); Прот. Д. Константинов — Антираeligioзная пропаганда в СССР; Свящ. К. Фотиев — Иерархия благоговения (заметки о творчестве Вячеслава Иванова); Екатерина Таубер — «Матренин двор» А. Солженицына и «Живые мощи» И. Тургенева; Д. Бург — Апельсиновая капитуляция; Хронология важнейших событий (январь-июнь 1963 г.)

№ 56

(Октябрь 1964 г.)

А. Солженицын — Этюды и крохотные рассказы; Анна Ахматовой — семьдесят пять лет (портрет писательницы); Н. Тарасова — Живая совесть; Анна Ахматова — Реквием (цикл стихотворений); Алла Кторова — Лицо Жар-Птицы (роман); Иосиф Бродский — Конь вороной. Этюд. Рождественский романс. Памятник Пушкину. Рыбы зимой (стихи); Н. Селихов — Светило. Прогулка арестанта. Вера битника (стихи); П. Антокольский — «Мы все, лауреаты премии...» (стхотворение); Булат Окуджава — Из неопубликованного: Берегите нас, поэтов, берегите нас... О войне. Черный кот. «Эх ты, шарик голубой...». «Вся земля, вся планета...». «Всю ночь кричали петухи...». Песенка о дураках. «Возьму шинель и вещмешок и каску...». Песня о барабанщике (стихи); Б. Бондаренко

Содержание предыдущих номеров см. «Грани» № 52.

Ред.

— Века и десятилетия (Евгений Замятин и Джордж Орвелл — два путешественника во мрак будущего и будущий мрак); Д. Бург — В борьбе за Пастернака; Мировая пресса о «Фениксе»; В. Кунгурцев — Сельское хозяйство после Сталина; Хронология важнейших событий (июнь-декабрь 1963 г.)

№ 57

(Январь 1965 г.)

*** — Мы шли этапом. И не раз...» (стихи из России); Биография В. Я. Тарсиса; Валерий Тарсис — Палата № 7 (повесть); Л. Д. — Писатель В. Я. Тарсис и мировая пресса; Дмитрий Кленовский, Анна Запольная, Борис Филиппов, Михаил Дараганов, Ираида Легкая, Борис Нарциссов, Тамара Величковская — стихи; Георгий Мейер — Фаталист (к 150-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова); Герман Ермолаев — Партийное решение (Резолюция ЦК РКП(б) от 1925 г.); А. Полюйко — «Хирургия Жулио Хуренито»; Сергей Левицкий — В. П. Вышеславцев (1877-1954); Александра Мазурова — Трагедия науки; С. Кучеров — Собственность в Советском Союзе; Б. Сергеев — Длинный путь (автобиография Питирима Сорокина); Э. Райс — Люди культурной миссии; Л. Дувинг — Ожившая старина; С. Левицкий — О религиозно-философском Ренессансе; О. К. — Первая боевая организация большевиков; В. Цветков — Новое о Жанне д'Арк; Хронология важнейших событий (январь-июль 1964 г.)

№ 58

(Июнь 1965 г.)

Рената Швейцер — Дружба с Борисом Пастернаком (переписка); «Синтаксис» №№ 1, 2, 3 — подпольный литературный журнал московской и ленинградской молодежи; Александр Неймирок — Человек за бортом (о журнале «Синтаксис»); Николай Ирколи — «Почему ночью темно?» (проблемы космологии); Иван Курганов — Переселение крестьян в России; Арк. Слизской — Писатель одной книги; О. Можайская — Голова Горгоны; А. Неймирок — «Прозрачный след»; Сергей Муромцев — Поэзия ожидания; С. Кирсанов — Анализ социалистической системы сельского хозяйства; Обращение издательства «Посев»

№ 59

(Декабрь 1965 г.)

От «Феникса» к «Сфинксам»; «Сфинксы» № 1 — литературный российский журнал; Алла Кторова — Скоморошки (глум); Аркадий Михайлов — Два стихотворения; Борис Домогацкий — Рассказы об одиночестве; Сергей Левицкий — Гениальный неудачник (Об Андрее Белом); Эммануил Райс — Ленинградский Тамтел (О стихах И. Бродского); Епископ Нафанаил — Манассия — царь Иудейский; Д. Ушинин — Достоверный и Кант (О книге И. Голосовкера); Николай Ирколи — «Почему ночью темно?» (Проблемы космологии). Окончание; Хронология важнейших событий (июль-декабрь 1964 г.); Обращение издательства «Посев».

№ 60

(Июнь 1966 г.)

Александр Урусов — «Крик далеких муравьев». Рассказ; Из зарубежной русской поэзии: Сергей Рафальский — Последний вечер. Поэма; Юрий Кротков — Пастернаки; Борис Филиппов — Природа и тюрьма. О творчестве Абрама Терца и Николая Аржака; Суд над А. Д. Синявским и Ю. М. Даниэлем. Запись заседаний суда и последних слов подсудимых; Н. Еленев — Замыслы и труды. Пути русского эстетического индивидуализма; Д. Ушинин — Новые веяния в атеистической пропаганде в СССР; свящ. К. Фотиев. Философия иконописи; Э. Райс. Новые издания О. Мандельштама и Н. Заболоцкого; С. Кирсанов. Освальд фон Нелль-Бройнинг — немецкий солидарист; Сергей Левицкий. История русской политической мысли; Обращение издательства «Посев».

№ 61

(Октябрь 1966 г.)

Владимир Батшев сослан; Владимир Батшев — Стихи; Смог; Стихи из сборников СМОГа: Леонид Губанов, Владимир Алейников, Юрий Кублановский, Сергей Морозов, Юлия Вишневская, Макар Славков, Владимир Батшев; Валерий Тарсис — Ничего достоверного. Рассказ; Иван Сума — разрушитель мира. Рассказ; Аркадий Михайлов — Три стихотворения. Смерть студента (поэма); Виктор Ростопчин — Скрудость. Рассказ; † А. Светланин — Февраль (Из воспоминаний); Н. Тарасова — Андрей Васильевич Светланин; Эммануил Райс — Модернизм и молодая русская литература (Об авторах СМОГа и о поэте А. Михайлове); Речь Василия Быкова на съезде Союза писателей Белоруссии; Открытые письма священников Николая Эшлимана и Глеба Якунина Патриарху Алексее и Епископам Русской Церкви; Заявление председателя Президиума ВС СССР Н. В. Подгорному от граждан СССР Эшлимана Н. И. и Якунина Г. П.; Николай Еленев — Замыслы и труды; Вячеслав Сорокин — К проблеме движения; «Переписка с друзьями журнала «Грани»; Отклики советских писателей на «Переписку с друзьями».

№ 62

(Ноябрь 1966 г.)

Российские документы по делу А. Синявского и Ю. Даниэля: Письмо старому другу; Документы следственного периода — Призыв к митингу гласности 5. 12. 1965 года, Призыв группы «Сопротивление»; Письма жены Ю. Даниэля — Первому секретарю ЦК КПСС, Генеральному прокурору СССР; Письма жены А. Синявского — Л. Брежневу, Генеральному прокурору СССР, Председателю Верховного суда СССР; Письма А. Гинзбурга, В. И. Левина, Ю. Герчука, Н. Роднянской, В. Д. Меникера, В. В. Иванова, И. Голомштока, А. Якобсона — А. Н. Косыгину, в редакцию газеты «Известия», в Президиум Верховного Совета СССР, в Верховный суд РСФСР, в Московский суд. Дополнительные документы по судебному процессу — Допрос свидетелей обвинения; Очная ставка Даниэля с Азбелем; Допрос свидетеля защиты по делу А. Синявского; Речи представителей обвинения и защиты. Документы, отражающие настроения после процесса — Письмо 5 граждан Л. И. Брежневу; Письмо 62 писателей в Президиум XXIII съезда КПСС и в президиумы Верховных Советов СССР и РСФСР; Телеграмма ученых и писателей в президиум XXIII съезда КПСС; Открытое письмо писательницы Л. Чуковской М. Шолохову. Письмо Ю. Даниэля из концлагеря в редакцию газеты «Известия». Сообщение, переданное редакцией журнала «Грани» пресе. Обращение издательства «Посев».

№ 63

(Март 1967 г.)

«Феникс 1966»; Сообщение журнала «Грани» в Париже; Можете начинать; За что сослан Батшев?; Владимир Батшев — Стихи; О. Мандельштам — Четвертая проза, Письма О. Мандельштама; Н. Карагузин — два рассказа — Сталинская улыбка, Сталинское обаяние; Ю. Стефанов — Стихи; В. Горюшкин — рассказы — Петруша, До восхода солнца; Юрий Кротков — Пастернаки; Вадим Шавров — Весенние мысли и воспоминания; Лев Копелев — У гроба Анны Ахматовой; Андрей Синявский — В защиту пирамиды; Темира Пахмус — Сергеев-Ценский в критике З. Гиппиус; Николай Еленев — Замыслы и труды; И. А. Курганов — Коммунистическая революция в России; Эрнст Генри — Открытое письмо писателю И. Эренбургу; Велая Книга о деле Синявского и Даниэля; Из переписки с Россией; О статье В. Сорокина; Дорогой читатель!; Обращение издательства «Посев».

№ 64

(Июнь 1967 г.)

*** — Дворник Лашков, Повесть; Валерий Тарсис — Из книги Ночь разводится со днем, Искатели жемчуга. Баллада; Евгения Гинзбург — Крутой маршрут; Поэты из журнала «Феникс 1966»: Аида Ясколка, В. Алейников, В. Ковшин; Д. Благоев — А. Солженицын и духовная миссия писателя; Г. Померанц — Квадрилон; Ю. Галансков — Организационные проблемы движения за полное и всеобщее разоружение и мир во всем мире; И. Курганов — Коммунистические методы перестройки общества; А. Добровольский — Взаимоотношение знания и веры, Апологетический опыт Алексея Добровольского; В. Поремский — Советская социология глазами западных ученых; Мировая печать о «Финиксе 1966» и арестах молодых литераторов в Москве; Из переписки с Россией; Дорогой читатель!; Обращение издательства «Посев».

№ 65

(Сентябрь 1967 г.)

Герман Плисецкий — Труба. Поэма; Владимир Буковский — Рассказы: Аквариум. Звезды. Деревенька. Человечек. Один бестолковый вопрос доктору. Звонарь; Булат Окуджава — Мастер Гриша. Стихотворение; Леонид Владимир — Карусель. Рассказ; Эйхенвальд — Поэма о моей любви; Евгения Гинзбург — Крутой маршрут; Д. Благоев — А. Солженицын и духовная миссия писателя. Конспект Обсуждения макета 3-го тома Истории КПСС в Институте марксизма-ленинизма при ЦК КПСС с участием старых большевиков; А. Краснов-Левитин — Анализ антирелигиозности; Д. Орленин — Марк Шагал. «Живой театр». «Эксперимента II». На театральных фестивалях Цюриха и Вены. Гейсенбиоттель и его тексты; Александр Вольто — Лев Шестов и экзистенциализм. О. Можайская — Надтреснутая плита; Из переписки с Россией; «Переписка с друзьями журнала «Грани»; Дорогой читатель!; Обращение издательства «Посев».

№ 66

(Декабрь 1967 г.)

«РУССКОЕ СЛОВО» — литературный и общественный журнал. Москва 1966 г. Николай Заболоцкий — Деревья. Поэма; Евгения Гинзбург — Крутой маршрут (конец первой части); Вадим Делоне — «Вечер — ветреный корнет...» Стихотворение; Леонид Сергеев — «Белее стаи лебединой...» Стихотворение; Письма-протесты М. Булгакова, А. Солженицына и А. Вознесенского; Е. Р.

Кнорринг-Миркович, А. Н. Неймирок — Литературная встреча в Вене; А. Краснов-Левитин — Анализ антирелигиозности. Окончание; Д. Орленин — Бертран Рассел. Васни Джеймса Тэрбера. Новая пьеса Арабаля. Генрих Бёль разговаривает с литературным критиком. «Блоу ап». Александр Колдер и его мобиле. «Синяя картина»; Суд над В. Буковским, Е. Кушевым и В. Делонэ; Свящ. К. Фотиев — Последняя бездна; Александр Больто — Гимн цельному христианству; Список книг, поступивших в редакцию; Из переписки с Россией; Обращение издательства «Посев».

№ 67

(Март 1968 г.)

От редакции — по поводу «суда» над четырьмя представителями молодой русской интеллигенции; Александр Солженицын — Раковый корпус (отдельные главы); Наталия Горбаневская — «В сумасшедшем доме...»; Алла Которова — Снежный человек (повесть); Евгения Гинзбург — Крутой маршрут. Часть вторая; И. Курский — Долгие крики (о поэме «Братская ГЭС» Е. Евтушенко); Ю. Галансков — Открытое письмо делегату XXIII съезда КПСС М. Шолохову; Г. Померанц — О роли нравственного облика личности в жизни исторического коллектива; В. Флеров — Парапсихология и четвертое измерение; Д. Орленин — «Современная трагедия». Христианство и Марксизм (первая попытка откровенного диалога); О. Можайская — По лунной дороге; Александр Неймирок — Цветными карандашами; Глеб Рар — «Обиход 1909 года»; А. Б. — «Советика»; Ив. Сергеев — «Современная русская литература»; Ив. С. — Сборник «Из Глубины»; И. Качуровский — Новая книга Чехова в Аргентине; Список книг, поступивших в редакцию; О. Можайская — Ответ французской интеллигенции на призыв Ларисы Даниэль и Павла Литвинова; Л. Донатов — «Министрам, вождям и газетам — не верить!» Гинтер. Цем — Протокол из Москвы; Из переписки с Россией; Писатели в борьбе за свободу.

№ 68

(Июль 1968 г.)

Из Российской поэзии: Герман Плисецкий, Иосиф Бродский, Александр Галич; Евгения Гинзбург — Крутой маршрут (окончание второй части); Юрий Галансков — Справедливости окровавленные уста. Поэма; Иосиф Шейн — Последние дни Соломона Михоэлса; В. Курпич — Об особенностях поэзии Аполлона Григорьева, Валерий Перелешин — «Соловьиный сад» Александра Влока; Е. Варга — Российский путь перехода к социализму и его результаты; Иван Русланов — Молодежь в русской истории; Д. Орленин — Ленгстон Хьюз — поэт черной Америки. «Хэппенинг» — продолжение «тотального» театра; Александр Больто — Бердяев и Россия; Арк. Слизской — «Диптих»; Л. Д. — Память сердца; Александр Больто — Анна Ахматова в итальянском издании; Ив. Сергеев — Заметки о книгах; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение издательства «Посев».

№ 69

(Ноябрь 1968 г.)

А. Солженицын — Правая кисть. Рассказ; М. Булгаков — Собачье сердце. Повесть; Наталия Горбаневская — «Как андерсовской армии солдат...», «Любовь, любовь! Какая дичь...», «Стрелок из лука, стрелок из лука...». «Наревешься наплачешься вволю...», «В моем родном двадцатом веке...». Стихи; Иван Чай — Рукопожатие начальника. Рассказ; Антон Ульяновский — Мохнатый пиджачок. Рассказ; Леонид Губанов — «Петербург». Стихотворение; А. Половцев — Модернизм — духовная революция; Е. Варга — Российский путь перехода к социализму и его результаты. Окончание; В. Поремский — Странный опыт странного человека; С. Кирсанов — О правах человека; Глеб Рар — Крест над Суругайским холмом; А. Русак — Философия живописи; Александр Больто — Новая книга о Горьком; В. Перелешин — Литературный Петербург в годы революции; Арк. Слизской — Берег «Нет Человека»; Ив. Сергеев — Заметки о книгах; И. Качуровский — «Слово о полку Игореве» в испанском переводе; Список книг, поступивших в редакцию.

№ 70

(Февраль 1969 г.)

Андрей Платонов — Котлован. Повесть; Из российской поэзии. Аркадий Михайлов, А. Холин, Иосиф Бродский, Наталия Горбаневская, Александр Галич, Владимир Ватшев, Юлия Вишневецкая, Сергей Морозов, Ю. Айхенвальд, В. Хромов, Макар Славков, Н. Устинова; Ив. Сергеев — Путь подлости и преступлений (КПСС и биология); Ж. Д. Медведев — Биологическая наука и культ личности; О. Можайская — Певец Гватемалы; В. Поремский — На острие ножа; М. Богоявленский — О некоторых произведениях В. Тарсиса; В. Перелешин — О двух книгах Родиона Березова; Список книг, поступивших в редакцию; Иозеф Бен-Мейр — Открытое письмо Евгения Гинзбург; Из переписки с Россией; От редакции.

№ 71

(Май 1969 г.)

А. Солженицын — Пасхальный крестный ход; Из российской поэзии: Вл. Батшев — «Волков переулоч», «Я еду на товарном...»; Игорь Михайлов — «Убийцы нашего столетия...», «Ты шел за людьми, как конвойный...». *** — «Он был в такой глубокой тьме...» *** — «Кладбище в Риге»; А. Солженицын — Свеча на ветру. Пьеса; Ж. Д. Медведев — Биологическая наука и культ личности. Окончание; А. Краснов — Христос и мастер. О посмертном романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; А. Шик — Дело Тухачевского; А. Больто — Разум и безумие; Е. Таубер — Ветер жизни; О. Можайская — Свирель луны; Б. Нарцисов — Солнечный голос в синем море; Ив. Сергеев — Из глубины веков; Список книг, поступивших в редакцию; С. Крымов — В редакцию журнала «Грани»; Из переписки с Россией.

№ 72

(Июль 1969 г.)

Владимир Войнович — Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина. Роман-анекдот в пяти частях. Часть первая; Иосиф Бродский — Анне Андреевне Ахматовой. Останок в пустыне; К. Паустовский — Писатель Ульяновский; Антон Ульяновский — Кривым путем; А. Краснов — Христос и мастер. О посмертном романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Продолжение; В. Поремский — Дискуссия по меморандуму академика А. Д. Сахарова в иностранном мире; М. Залевский — Доля советской женщины; О. Можайская — Голоса оттуда; Валерий Перелешин — Людям нужны и свечи и слезы. «Харбинские Коммерческие Училища КВЖД»; Список книг, поступивших в редакцию; Из переписки с Россией; От редакции.

№ 73

(Октябрь 1969 г.)

А. Солженицын — Олень и шалашовка. Пьеса; Валерий Тарсис — Игрок. Внеочередное признание Стихи; Булат Окуджава — Фотограф Жора (маленький роман); Чарльз Мозер — У Анны Ахматовой; А. Краснов — Христос и мастер. О посмертном романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита». Окончание; Богдан Суходольский — Мозг и личность; Валерий Перелешин — Живое творчество распада. Дурная мистика; О. Можайская — Отмена смерти; А. Слизской — Луцкий прорыв; Список книг, поступивших в редакцию; Обращение издательства «Посев».

№ 74

(Январь 1970 г.)

Б. Ахмадулина — Новые стихи; Фридрих Горенштейн — Старушки. Рассказ; Виктор Некрасов — О вулканах, отшельниках и прочем; Олег Соханевич — Только невозможное; Владимир Самарин — Памяти выдающегося человека. Памяти Сергея Максимова; Д. Иванова — Мир Геннадия Айги — тишина; Геннадий Айги — стихи; Н. А. Лагорио — Была ли революция неизбежной?; Д. Орленин — Маршалл Мак-Луан — исследователь электронной среды; А. Неймирок — Знаменосец новизны; А. Больто — Мысли на воле; О. Можайская — «Озноб»; М. Валмашев — Письма в Голливуд; Список книг, поступивших в редакцию; Содержание №№ 52-74 журнала «Грани».

ОБРАЩЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ПОСЕВ»
К ЛИТЕРАТУРНОЙ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНЧЕСТВУ,
К ПИСАТЕЛЯМ, ПОЭТАМ, ЛИТЕРАТУРНЫМ КРИТИКАМ,
К ДЕЯТЕЛЯМ ИСКУССТВА, НАУКИ И ТЕХНИКИ
— КО ВСЕЙ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Русское издательство «Посев», находящееся в настоящее время за рубежом, во Франкфурте-на-Майне, предоставляет Вам возможность публиковать те Ваши произведения, которые по условиям цензуры не могут быть изданы на Родине.

Эти произведения могут быть напечатаны в журнале «Грани», в ежемесячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. Возможно также публикация этих произведений на иностранных языках в некоммунистических странах.

Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, так и псевдонимом. В последнем случае издательство принимает необходимые меры для того, чтобы исключить возможность установления личности автора, и гарантирует, что оригинал рукописи не попадет в чужие руки.

Авторские гонорары в размере, соответствующем установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в издательстве до того времени, пока автор найдет возможным их получить.

Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно как через своих граждан, едущих за границу в некоммунистические страны, так и через иностранцев, посещающих СССР.

Приехавший за границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в случае необходимости — опустить в почтовый ящик и без марок. На пакете с рукописью необходимо указать следующий адрес:

Possev-Verlag, 623 Frankfurt am Main, 80, Flurscheideweg 15.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

На российскую интеллигенцию, в особенности на молодежь, возлагается историей ответственная задача — в свободном творчестве правдиво изображать жизнь и стремления нашего народа, воспроизводить его духовный облик. За свободное творчество! За свободную Россию!

С дружеским приветом

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСЕВ»

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ

Г Р А Н И

Подписная плата на 4 номера журнала «Грани»,
включая пересылку, следующая:

В США и Канаде

При подписке непосредственно из издательства — дол. 7.00.

При подписке через представителей и книжные магазины —
дол. 10.00.

В Германии и во всех других странах

При подписке непосредственно из издательства — НМ 26.00.

При подписке через представителей и книжные магазины —
НМ 30.00.

Цена в розничной продаже с 1 января 1968 г.

Цена отдельного номера в США и Канаде — дол. 2.50.

Цена отдельного номера в Германии и во всех других странах —
НМ 7.50 или эквивалент в местной валюте.

Подписную плату следует посылать:

почтовым заграничным переводом или личным чеком в письме по
адресу:

**Possev-Verlag, 623 Frankfurt/M 80, Flurscheideweg 15,
а также банковским переводом:**

Dresdner Bank, Frankfurt/M. Konto № 215 640.

**Из Германии подписную плату можно переводить и на
Konto № 33 461, Postscheckamt Frankfurt/Main.**

Отдельные номера журнала можно выписывать из издательства по
указанному выше адресу, а также через книжные магазины.

**КАТАЛОГ НОМЕРОВ ЖУРНАЛА ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ
ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВАНИЮ.**